



Бельские просторы

Учредитель
Правительство
Республики
Башкортостан

Соучредитель
Союз писателей
Республики
Башкортостан

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с декабря 1998

В номере

№ 5 (114) Май, 2008 г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Овчинникова. ДЕВУШКИ 41-го 3

ПРОЗА

Николай Евдокимов. ХОЛОДНО. *Рассказ* 12

Анатолий Генатулин. ЧТО ТАМ ЗА ХОЛМОМ? *Исповедь неудачника. (Окончание)* ... 38

Р. Нариманов. «СТИНГЕР» ИЛИ ГРАНАТОМЕТ? *Рассказ* 78

Гайса Хусаинов. БАШКОРТ-ХАН. *Рассказ* 86

ПОЭЗИЯ

Сергей Янаки. «ПРЕД ЛИЦОМ БОГОРОДСКОЙ ТРАВЫ...» 6

Мадриль Гафуров. ПИСЬМА ИЗ БУРЗЯНА 33

Алексей Смирнов. В НЕПОКОШЕННОЙ ОСОКЕ..... 73

Аркадий Аршинов. ЗАБЫТЫЙ ВОЛК 81

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Гиният Кунафин. ЭНЦИКЛОПЕДИСТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 90

ДНЕВНИК

Сагит Агиш. «ЭТИ СТРАНИЦЫ ТАК МАНЯТ...» 98

КУЛЬТУРА

Елена Шарова. «СУНДУК СО ЗНАНИЯМИ» МЕНЯ НЕ УСЛЫШИТ.

Интервью с Еленой Камбуровой 109

Евгений Литючий. ИЗ ИСТОРИИ ДЖАЗА В БАШКОРТОСТАНЕ 114

Хамид Алгар. ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ 128

КРАЕВЕДЕНИЕ

Илья Баранов. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 138

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий Чечуха. КОМАНДИР КРАСНОЙ АРМИИ ГРАФ ТОЛСТОЙ 147

Иштван Вермуш. «МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ» 150

Виталий Чемляков. «БУДЕМ СТОЯТЬ, ПОКА ЖИВЫ!» 163

Яна Сотникова. ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 167

ЭКОЛОГИЯ

Юрий Косоуров. МОЙ ЛЕС 171

КРУГ ЧТЕНИЯ

Светлана Чураева. ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ 185

ДЕТЕКТИВ. ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Денис Лапицкий. ВСТРЕЧА. *Рассказ* 187

ЮМОР

Сагит Шафиков. РОЛЬ КУРИЦЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. *Рассказ* 191

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

На конкурс «Мир, в котором ты живешь». Рассказ, стихи 195

НАШ ДАЙДЖЕСТ

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИМЕНА 204

Праздничные и памятные даты Республики Башкортостан на 2008 год 207

Главный редактор
Горюхин Ю. А.

Редакционная коллегия:

Баимов Р. Н., Бикбаев Р. Т., Евсеева С. В., Карпунин И. Е., Паль Р. В., Сулейманов А. М., Фенин А. Л., Филиппов А. П., Фролов И. А., Хрулев В. И., Чарковский В. В., Чураева С. Р., Шафиков Г. Г., Якупова М. М.

Редакция

Приемная

Иванова Н. Н. (347) 277-79-76 (факс)

Главный бухгалтер

Давлетшина М. А. (347) 277-79-76

Заместители главного редактора

Чарковский В. В. (347) 223-64-01

Чураева С. Р. (347) 223-64-01

Ответственный секретарь

Фролов И. А. (347) 223-91-69

Отдел поэзии

Грахов Н. Л. (347) 223-91-69

Отдел прозы

Фаттахутдинова М. С. (347) 223-91-69

Отдел публицистики

Чечуха А. Л. (347) 292-77-61

Семенюк Т. В. (347) 292-77-61

Технический редактор

Иргалина Р. С. (347) 223-91-69

Корректоры

Казимова Т. А.

Тимофеева Н. А. (347) 277-79-76

Выпускающий редактор Семенюк Т. В.

Подписной индекс 50751.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 792, выданное

Министерством печати и массовой информации РБ 26 декабря 1998 года.

Подписано в печать 30.04.08 г.

Формат бумаги 70x100/16. Бумага офсетная.

Гарнитуры «FreeSet», «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.

Уч.-изд. л. 19,49. Тираж 2740 экз.

Заказ № 2.0095.08 Цена договорная.

Адрес редакции:

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

E-mail: bp2002@inbox.ru

<http://www.hrono.ru/proekty/belsk/>

Отпечатано с готовых файлов на ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат».

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

Телефон (347) 223-97-00

*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются, принимаются
только в напечатанном виде.*

Электронная версия ускорит обработку рукописи.

*Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения
того или иного автора.*

При перепечатывании материалов

ссылка на «Бельские просторы» обязательна.

Девушки 41-го

Живое свидетельство начала войны

1941 год. 22 июня, солнечный теплый день, воскресенье, в районном центре Ермолаево Куюргазинского района — праздник, открытие парка, такой праздник ежегодно летом проводился.

В красивом старинном сосновом парке массовое гуляние, выступления, спортивные соревнования, игры, музыка. Было интересно, весело, в парке работали киоски, буфеты.

Днем 22 июня по радио объявили начало войны. Кончилось наше мирное время. Настроение сразу у всех упало. Руководители района, которые принимали участие в открытии парка, были все отозваны на свои рабочие места.

Осенью в Ермолаево открылись шестимесячные курсы военных медсестер, без отрыва от производства, занимались вечерами.

С нашей школы-десятилетки на курсы пошли четыре девчонки: Петрова Рита, Каленова Лида, Савина Аня и я, Прочуханова Лена. Днем учились в школе, вечером на курсах. Нам, школьницам, было по шестнадцать лет. Раньше в школу принимали с восьми лет.

Остальные, кроме нас, школьниц, все были работающие, и были старше нас. Программа была большая, было много предметов — по медицине, военному делу, упражнялись в верховой езде на лошади.

Пока мы учились на курсах, девушки заводили тетради-альбомы, в которых писали друг другу пожелания, любимые песни, стихи.

А в школе, где мы учились, учителя запрещали заводить такие альбомы. Преподаватели говорили: «Девушкам нужно учиться, а не думать о любви». Воспитывали скромность, наверно, это правильно.

А на курсах мы были самостоятельными. У меня сохранились в тетради записи за 1941 год, когда учились на курсах. Из этих записей можно понять, какой был большой патриотизм среди молодежи, не только среди парней, но и среди девушек.

Галушко Саша — отчаянная девушка, она была старше нас, школьниц, работала в совхозе. В начале стихи, а затем ее слова такие. Пишу дословно из тетради:

«Лена, вспомнишь 1941 год. Как проклятые изверги напали на нашу счастливую родину, вероломно издеваются над нашими сестрами, братьями, отцами, матерями. Но Лена! Придет этим баранам-извергам час расплаты. Не будет этой черной гадины на нашей земле. Лена, вспомни наши курсы, как мы шли на них: охотно и организованно. Лена, придет наш час, когда и мы пойдем мстить проклятому врагу за нашу Родину и помогать Красной Армии. Потребуют нас, мы готовы в любую минуту защищать нашу дорогую Родину!

Да здравствует наша доблестная Красная Армия!

Да здравствует наш вождь товарищ Сталин!

Да здравствуют наши медицинские курсы!

Лена, будем долго помнить 1941 год. Конец. Можно еще много написать, так как сердце наполнено гневом. Писала Галушко С. любимому другу Лене Прочухановой».

Каленова Лида:

«Лена, ты наверно никогда не забудешь 1941 год. Как мы учились в школе и на курсах медсестер. Этот суровый будничный год, год войны, Отечественной войны. Когда Гитлер напал на нашу Родину. Он найдет себе могилу.

Наше дело правое — мы победим!»

Коннова Клара:

«Лена, никогда нам не забыть 1941, год войны с Германским фашизмом. На всю жизнь останется в памяти воспоминание тех дней. Помни, Лена, как мы учились 6 месяцев на курсах военных медсестер, чтобы после пойти на фронт, в госпитале, помогать нашей славной Красной Армии, крушить кровожадных гитлеровских псов головорезов.

Наши комсомольские сердца наполнены гневом и ненавистью к людоеду Гитлеру.

Справедливый гнев кипит в нас. Враг разрушил нашу счастливую жизнь. Молодость наша превратилась в грозное оружие против коричневой чумы. Нам всего 16—17 лет, но мы сумеем помочь и победить!»

Окончили курсы двенадцать человек, в том числе и мы, четыре школьницы, сдали экзамены, получили документы, нас взяли на учет в военкомате, и стали ждать, когда нас призовут. Ждем, нас не призывают, с девчонками пошли в военкомат с просьбой, чтобы нас отправили на фронт, но нет, не берут. Видно, не было разнарядки. Написали в Башвоенкомат с просьбой — тоже нет ответа.

В район прибыли эвакуированные дети — 300 человек от трех до пятнадцати лет. Были женщины с грудными детьми. Детей разместили в Ировском детском доме недалеко от Ермолаево, деревня Ировка. Часть детей жители района взяли в свои семьи на воспитание. Были и взрослые, эвакуированные из Ленинграда. У нас жила женщина из Ленинграда.

В парке в двухэтажном большом старинном доме, где находился сельскохозяйственный техникум, часть этого здания заняли под госпиталь. В госпитале тяжелобольных не было, были с легкими ранениями, лечили, поправились и снова на фронт. Раненых часто навещали, школьники и взрослые, в том числе и мы для них устраивали концерты.

Наконец стали призывать девушек-медсестер. Первыми отправили Галушко Сашу, Петрову Риту, Коннову Клару. Рита Петрова окончила офицерскую школу, работала в военкомате. А Саша и Клара попали на фронт. Саша Галушко погибла, Клара Коннова осталась жива.

Нас, медсестер, военкомат не оставляет в покое, вместе с допризывниками зимой и летом, с санитарными сумками принимаем участие в ученье. В районе появилась страшная болезнь тиф. В школьные летние каникулы я работала немного в тифозном бараке медсестрой. Но как-то не распространилась эта болезнь, заглушили. В тифозном бараке были больные с септической ангиной, эта тоже очень страшная болезнь. Люди заражались от перезимовавшего зерна в поле. Некоторые весной собирали зерно: заставлял голод. Врачам не удавалось спасти этих больных — умирали, истекали кровью, кровь шла из гортани. Второй набор, призвали моих школьниц: Каленкову Лиду, Савину Аню. Обе попали на фронт. Лида всю войну прошла, осталась жива. Осталась я одна из школьниц, жду, когда меня призовут.

Рядом с нами жил военком Склярв, у них была дочь Капитолина, мы ее звали Капой, мы были подруги, обе были мечтательные, Капа училась в школе, почти моя ровесница. Капа часто у нас была, я — у них.

Родители ее добрые. Отец Скляров иногда с нами беседовал, рассказывал, служил в Чапаевской дивизии. Однажды, когда я была у них, отец Капы мне говорит: «И не жалко тебе оставлять маму и своих меньших братишек?»

Военком знал, что я рвусь на фронт, папа добровольцем ушел, хотя у него была бронь. Внезапно заболела и умирает дочь военкома Капитолина, от септической ангины. Как это случилось, неизвестно. Как она могла заболеть этой страшной болезнью? Возможно, кто-нибудь ее «угостил»!

Родители Капы сильно переживали, и я: мы были близкие подруги, я ей посвятила несколько строк.

*Мы вместе недавно мечтали
С тобою, Капа, вдвоем,
Мечтали о том, кем станем,
Когда школу окончим порой.
Мы сидели с тобою под вечер,
Я играла, ты пела тогда,
Ты любила гитару и песни
И твердила одно:
Ну сыграй, ну сыграй.
Ну сыграй еще грустную, что ли,
Иль веселую, ну поскорей.
И лились эти песни и звуки гитары
Долго-долго в ночной тишине.*

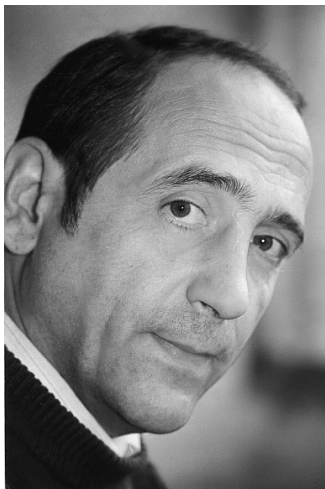
Итак, почему меня не призывают? Было несколько раз: получу повестку, przygotowлюсь к отправке, а потом оставляют меня, говорят, не требуется. Я переживаю, мне обидно, почему со мной так поступают. После у меня были такие мысли: возможно, Скляров, военкомат виноват в этом.

После смерти дочери родители сильно переживали, они меня уважали, любили, относились ко мне как к дочке, я им напоминала дочку Капу, они меня приглашали к себе, я их успокаивала.

Скляров дал мне фотографию Капы. В общем, не судьба было мне попасть на фронт, несмотря на то, что я стремилась и рвалась на фронт. Молодежь в те годы не только на фронте героически сражалась, защищала свою Родину, но и в тылу трудились, работали, там где требовалось, не жалели сил, ни здоровья, ни времени, все делали для победы, помогали во всем чем могли.

Сергей Янаки

«Пред лицом богородской травы...»



КИНОХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ

Запальчив норов твой, о век!
Суши твои пороховницы.
Смертелен взгляд распухших век —
Сквозь опаленные ресницы.

Суши снега и воздух сух.
И пересохло русло Леты.
И снова распяют дух
Сухие кадры киноленты.

Горят колосья и мосты.
И в пузыри кровавой каши
Плашмя обрушены кресты
Крестовой властью патронташей.

Горячку порет пулемет
Прожорливый: «Тащи патроны!»
И кто его переорет
Луженой глоткой? Чей черед? —
(Он интерес блюдет — свой, кровный)...

Какой страдальческой слезой,
Каким пророческим Глаголом —
Сгущенной сывороткой той
Унять его звериный голод?..

О мой народ!.. Я не могу..
Я не хочу уже быть зрячим,
Когда ты корчишься в снегу,
Голимым порохом разящим.

Пальба, пальба, из года в год —
За храмы новые и троны..
И перекошен криком рот:
«Когда же кончатся патроны?»...

ПОЭТ И ВОРОН

Черный ворон замшелое веко прикрыл.
И от шороха хрустнула ветка.
«Что, поэт, говоришь, человека любил?..
Вот и я — возлюбил человека.

О двух глаз, о двух крыл — я три века следил
Из-за туч за летучей стрелой.
Не зеленой травой птенцов я кормил.
И поил не сырою водою.

Иль уже цепки когти у них не черны?..
Востры клювы — не крашены кровью?..
Не курганы ли их да кромешные рвы
Приучили поститься скоромью?..

Понапрасну среди разоренных могил,
Там, где Прядва и Дикое поле,
Ты, поэт, семь рубах на плечах износил ...
Что ты знаешь о Правде и Воле?

Не дано тебе ведать о том, человек.
Век твой минет в напрасных надсадах ...
Это предки мои, поминая ковчег,
На твоих разговелись останках!

Лебеда тебе любя да хлебная сныть ...
Ты хлебнул молочайного млека,
Чтоб в три горла своих о любви голосить,
Чтоб грехов накопить — на три века.

Видишь, вон за горой полыхает заря,
Хоть далеко еще до заката.
Эти сытые клики ты слышишь не зря, —
То пируют мои воронята!

Знать, и мне на крыло опереться пора, —
Не выходит у нас разговора...»
Отломилась от ветхого дуба кора,
И перо обронил черный ворон.

И присела на корточки склизлая мгла.
И на ощупь связала коренья.
И не стало на свете такого угла,
Где б не прятались падшие тени ...

«Ну, поэт, говори, отвечай, коль не трус,
Что ты пальцы сжимаешь до хрусту?
Иль в коленках ослаб, иль карман — словом пуст,
Или речи мои не по вкусу?»

«Знаю, ворон, я Правду. И Волю познал.
Там, где Дикого поля бурьяны,
Я пред тем предстоял, кто тебя посылал
На разверстые, свежие раны.

Как метал он в ночи за разрядом разряд!
Как он бился услышать мой ропот!..
Как я выдержать смог сатанинский тот взгляд,
Тот зловещий с присвистами шепот?..

Чьи ты песни поешь — даром горло дерешь?
Не смешать тебе, ворон, вовеки
Прядвы чистые воды и смрадную ложь, —
Крови — праведной быть в человеке!

Для того ли хоругви и древко креста
Возносили славянские души,
Чтобы ныне поганить святые места,
Чтобы звонниц не слышали уши?

Чтобы видеть в дыму, как колосья горят,
Снова сея кровавые споры?..
Для того ль на востоке восходит заря?..
Есть другая заря, черный ворон.

Что ей тьмущая рать и твой дерзостный взмах
Рваных крыл, завидующая зависть?..
Мрак рассеется в прах, от нее впопыхах
Тени скопом бегут, спотыкаясь.

Иль забыл ты того, кто построил ковчег,
Что носился впотьмах легче пуха?
Иль — Того, про Которого: «Се, Человек»...
Нет, ты плоти вкусил, но не Духа ...

Я не твой, черный ворон кружащий, не твой! —
Мне товаркою — белая птица.
Вот ее-то пером я и правой рукой
Берестовой касаюсь страницы.

ПОСИДЕЛКИ

Опершись на закат, на заборе,
Клюв по ветру, сидят индюки.
У крылечка — не в споре, а в горе —
Не на шутку сошлись старики.

Пошуршали газеткой желтушной,
Погляделись в синюшный экран...

«Правды всей-то — махорки понюшка,
Кривды — ей-то сивушный стакан.

Запад.. в дышло их.. в корень ядреный!..
В западно будто в рай норвят..
Невтерпеж, что ль, на бабу Матрену
Да заморский напялить наряд»...

А Семеныч, в фуфайке, как сажа,
Обернется у самых ворот:
«Ишь, и эти, расселись, туда же...» —
И клюкой индюков шуганет.

ПОЭТАМ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

*Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.*

И. Бродский

Посредине страны, посредине зимы,
Средь снегов с ледяною коростой,
Неужели, — твержу, — не хватает земли
Сыновьям на родимых погостах?..

Их в часовне на Сен-Женевьев-де-Буа
На безлюдье в обносках отпели..
Если б совесть смогли распалить добела
Голубые канадские ели...

Неужели, — себя вопрошаю опять, —
Им харбинские сопки роднее?..
Неужель было легче им там умирать —
На матрацах стамбульских борделей?..

Сколько раз петушок огненным гребешком
Полыхал от станиц до столицы!
Сколько раз заставлял нас раскатистый гром
Заскорузлой щепотью креститься!

Заставлял — не заставил, мы были тверды,
Как в руке пролетарский булыжник.
Круговую порукой кремлевской горды,
Мы далекими сделали ближних.

До сих пор голоса их тревожно кричат
Над крестами притихших погостов.

До сих пор с васильковой грустью глядят
Их глаза на Васильевский остров.

О Россия, я верю в твой Спас на Крови,
В наше лучшее страшное право
Предстоять пред лицом богородской травы
Сыновьями великой Державы.

ЛЫКО В СТРОКУ

Надо липку обломать да ободрать,
Узел лыковый крест-накрест завязать,
Чтоб тем лаптем щи заморские хлебать —
Из пришельца саморуба-топора,
Под которым соком брызнула кора.
А когда взойдет мудреная заря,
Черный ворон острым глазом поведет,
Тяжкий комель от сырой земли встряхнет,
Ни гнезда, ни вороненка не найдет.

МАЛЬЧИК С РАЗОБРАННОЙ ХЛЕБНОЙ МАШИНОКой

А тайна пахла коркой —
Поджаристой, ржаной.
Да обернулась горькой,
Горелой немотой.

Ну что, мой грустный мальчик,
Последний мост сожжен?
Открыт заветный ларчик
Сноровистым ножом.

Колосья налитые
И надпись «Хлеб»... Не верь ...
Потемки жестяные,
Малеванная дверь.

Надежды одуванчик
Смущенно облетел.
Крепись, ее зачечек
Неисчислим предел...

От жаркого дыханья
Вспотела мутью сталь ...
Еще одним познаьем
Умножена печаль.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Памяти С. Шалухина

За поэта выпьем стоя.
Всю... до дна... глоток — судьба.
Чтоб целебного настоя
Миг запекся на губах.

Вековой разлив полынный,
Сбор медовый спелых рос ...
По последней, по единой
Пьем, как жил он — в полный рост.

За любовь — причастье наше,
Свежий памяти затес,
Нерасплесканную чашу,
Что до капли все ж — донес.

За звезду его ночную
И ромашковый венец,
И за грешную, святую
Землю эту, наконец...

Верхним «до» распевной гаммы
В зазеркалье он взлетел,
И царапнул амальгаму
Звонкой выделки прострел.

Подорожная с повинной...
Милость в горсти у Судьи:
Смерть Поэта — не кончина —
Продолжение судьбы.

Холодно

Рассказ

I



Почетный попечитель школы, бывший учитель математики, бывший директор школы всеми уважаемый Гельмут Иоганн Краузе внезапно умер в своем доме, собираясь на утреннюю прогулку. Он умер, не дожив до своего восьмидесятилетнего юбилея всего четыре дня. Его торжественно похоронили многочисленные ученики на городском кладбище рядом с давно ушедшей из этого мира женой и умершей во младенчестве дочерью.

На белом надгробном мраморном камне было высечено: «Гельмут Иоганн Краузе — 1918—1998. Прими, Господи, бессмертную его душу».

Завещание, которое оставил Гельмут Краузе, было неожиданным и многих привело в растерянное недоумение. Действительно, непонятное завещание: большую часть своего состояния он завещал какому-то поселку Сосновка в России на восстановление церкви Рождества Богородицы, а не родному

городу, как было бы логично при его одиночестве.

Родственников у него не было, и потому никто не оспорил эту странную его последнюю волю. Его знали и уважали как рассудительного, спокойного, открытого человека, не имеющего тайн, и этот поступок вызвал многие толки в городе, где Гельмут Краузе вырос и прожил свою долгую жизнь, заслужив почет и уважение местных жителей.

Несмотря на его доброжелательность, открытость, значит, была у него тайна, которую он почему-то не доверил никому и унес с собой навсегда.

II

Второго мая тысяча девятьсот сорок второго года советские войска оставили поселок Сосновка, небольшой, ничем не примечательный населенный пункт на русской равнине, с доской почета на рыночной площади, со старой, разрушенной еще в двадцатые годы церковью, на куполе которой рядом с покосившимся крестом рос тоненький тополек, покорный всем ветрам, и с единственным, принадлежавшим когда-то местному купцу кирпичным домом, где размещался кинотеатр, носивший иностранное имя «Эльдорадо».

Евдокимов Николай Семенович родился 26 февраля 1922 года в местечке Бобр Купрянского района Минской губернии. Автор повестей и романов: «Грешница», «У памяти свои законы», «Необходимый человек» и др. Многие его произведения были экранизированы. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей.

В кинотеатре специально к майским праздникам демонстрировался фильм «Ленин в Октябре», о чем возвещала красочная афиша, изображавшая взятие Зимнего дворца.

Советские войска оставили поселок тихо, ночью. Жители мирно спали, а проснувшись, еще не знали, что произошло, потому что радио, как всегда, передавало сводку «от советского Информбюро», на домах трепыхались красные флаги, и по стене кинотеатра по-прежнему толпы солдат и рабочих рвались к Зимнему. В полдень в поселок вступили немецкие части. Радио играло марши из Москвы, а по улицам под советскую музыку шли и шли чужие солдаты, веселые, сытые парни, смеясь, гогоча, болтая что-то на своем языке. Пыль от их сапог висела в воздухе. Ошеломленные жители таились в запертых домах, хотя какие-то перепуганные старушки и старички стояли у своих ворот и кланялись в пояс и осеняли крестным знамением пришельцев.

На крышу кинотеатра взобрался Вася Шаламов, Василий Егорович, молодой учитель, поэт, опубликовавший в районной газете первомайские стихи. Размахивая красным флагом, он неистово кричал:

— Да здравствует Сталин! Гитлер капут! Смерть немецким оккупантам!

Он стоял на крыше, на фоне голубого неба, освещаемый солнцем, и кричал охрипшим голосом свои отважные слова, но на него никто не обращал внимания. Мать его бегала внизу, причитая:

— Васенька, сыночек, что ж ты делаешь!

Он кричал, а вражеские солдаты шли и шли, кто-то указывал на него пальцем, кто-то смеялся, и всё. Наконец он спрыгнул на землю, подвернул ногу и то ли от боли, то ли от отчаяния заплакал, отталкивая мать.

Все это видела молодая учительница Рита Крюкова, стоя на крыльце школы, где дежурила после праздничного первомайского вечера.

«Ах, какой молодец, — думала она, — и я, я тоже должна что-то сделать!»

Но что сделать, она не знала и только испуганно смотрела на проходящих солдат.

Полдня через поселок шли солдаты, ехали орудия, полевые кухни. А потом улица опустела, и стало тихо, войска ушли вперед, не задержавшись в поселке, где на домах по-прежнему трепыхались красные флаги, на кинотеатре революционные солдаты и рабочие брали Зимний, а радио вещало из Москвы последние новости.

Однако к вечеру к кинотеатру, и к школе лихо подкатили две машины с солдатами, которые ловко сбили афишу, а потом долго вносили и в кинотеатр и в школу какие-то ящики, столы, тяжелые сейфы.

А еще часа через два Рита, запершаяся у себя в избе, где жила с бабушкой Зиной, услышала неистовый лай собаки Альмы во дворе и увидела: у ворот стояли двое — немецкий офицер и Иван Петрович, директор школы. Иван Петрович стучал палкой в калитку и что-то кричал. Поколебавшись, Рита вышла на крыльцо, превозмогая страх.

— Привяжи собаку, Крюкова, — сказал Иван Петрович каким-то странным, хриплым голосом, словно у него болело горло и он с трудом выдавливал из себя слова: — Господин офицер будет жить у вас...

Офицер был молод, высок, он улыбнулся Рите и сказал:

— Гутен морген, фрейлен, бите...

— Еще чего! — крикнула Рита. — Пусть убирается!

— Не надо, Крюкова, пожалуйста, — совсем уж тихо сказал Иван Петрович. — Привяжи собаку...

— Нет, Иван Петрович, не пущу фрица в дом, убью я его... Немец понял и засмеялся:

— Нет убить, некарашо убить...

— Не смейся, фашист, — крикнула Рита, сбежала с крыльца, схватила топор, лежащий у поленницы, и, подняв его над головой, пошла к калитке: — Пусть убирается, Иван Петрович, я не побоюсь, я трахну его топором.

— Не глупи, — сказал Иван Петрович, — с ними шутки плохи...

— Какие шутки? Убью! А вы... почему вы с ними? Иван Петрович ответил почти печально, почти виновато:

— Я единственный, кто знает немецкий, у меня малые дети... — И вдруг закричал, голос сразу прорезался, визгливо, истерично: — Убери собаку! Ну!

— Никогда! — сказала Рита, дрожа от страха, и снова взмахнула топором: — Уходите... Я и вас не пожалею...

Она дрожала от страха и в то же время как бы видела себя со стороны и будто бы даже гордилась собой — отважная комсомолка перед врагом.

А враг смотрел на нее скорее смущенно, чем враждебно. Из дома выбежала баба Зина, обхватила Риту, стараясь вырвать у нее топор, вырвала, отбросила в сторону, загнала собаку в конуру и открыла калитку.

— Что ты делаешь? — в отчаянии крикнула Рита и заплакала. Ей и страшно было, и стыдно своих слез, хотела их сдержать, но не могла, опустила на ступеньки крыльца, повторяя беспомощно: — Фриц, фашист, сволочь...

— Не унижайся, Рита, перестань, — сказал Иван Петрович.

— Нет плакать, плохо плакать, — ломая слова, идя вслед за Иваном Петровичем и бабой Зиной в избу, сказал немец.

Рита ненавидела себя, потому что прав, наверно, был Иван Петрович: она только унизила себя своим бессмысленным бунтом, своими слезами, вызвав в ответ не страх у немца, а нечто похожее на сожаление. И в то же время она знала, что вела себя так, как и должна была вести себя, должна была показать, что не боится ничего, что поступила как настоящая комсомолка, и пусть не добилась своего, даже не испугала немца, она все же преодолела страх, так же, как Вася Шаламов, всегда робкий, всегда тихий, застенчивый учитель географии.

Она уже успокоилась, когда Иван Петрович, немец и баба Зина вышли из избы.

— Это плохо, — сказал немец, — зер шлехт, — повторил он по-немецки, указывая на красный флаг над крыльцом.

— Да, праздник кончился, — устало проговорил Иван Петрович, — надо бы снять, Крюкова. — И потому, что Рита сидела не двигаясь, опустив голову, торопливо добавил: — Не глупи, не выступай, сними.

Рита не пошевелилась, но от сарая баба Зина уже волокла лестницу.

— О, найн, найн, — воскликнул немец, перехватил у нее лестницу, приставил к крыльцу и полез за флагом. Снял его, закрутил полотнище на древко и отдал бабе Зине.

— Ишь, вежливый какой, скотина, — сказала Рита.

Так Гельмут Краузе, двадцатичетырехлетний лейтенант вермахта, выходец из земли Шлезвиг-Гольштейн, поселился в доме Риты Крюковой и ее бабушки Зинаиды Марковны, доживающей свой семьдесят четвертый год.

Советские войска ушли далеко на восток, и уже через неделю поселок оказался в глубоком немецком тылу. Гарнизон, обосновавшийся здесь, оборудовал на бывшем колхозном поле взлетную полосу. Там на аэродроме и служил Краузе. Каждое утро за ним приезжал солдат на мотоцикле, терпеливо ждал на дороге, когда Краузе выйдет, разговоривал с Альмой, которая не лаяла на него, а сидела у калитки, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Из аккуратного пестрого пакета солдат вынимал куски хлеба или мяса, бросал ей и рассказывал что-то, как малому ребенку. Альма внимательно слушала, виляя хвостом, иногда нетерпеливо прерывая солдатскую речь просящим лаем, вымаливая подачку.

Рите не нравилось это, она выбегала из дома, отгоняла собаку, грозила солдату кулаком. Он смеялся, направлял на Риту автомат, кричал:

— Пах-пах, капут...

— Испугал! Кикимора фашистская, — говорила Рита, показывая ему язык, чем еще больше смешила солдата.

... Дни бежали за днями, жизнь в поселке входила в обычную колею, все как всегда, как многие годы, — на реке женщины полоскали белье, мальчишки играли в индейцев и в советских солдат, по вечерам туда-сюда бродили толпой девчата и пели озорные частушки, дразня солдат, которые волочились за ними.

Рита не то чтобы привыкла, но покорила тому, что в доме, рядом с ней живет немец, враг, которого она должна ненавидеть, но почему-то ненависти к нему у нее уже не было. Когда он возвращался с аэродрома, снимал мундир и переодевался в цивильную одежду, в помятые брюки, в старые спортивные туфли, то превращался словно бы в другого человека, в обыкновенного поселкового парня, такого же, как недавние Ритины односельчане, ушедшие на фронт. Переодевшись, он брал самодельную удочку и шел на речку, где мог сидеть до глубокой темноты. Он был удачливым ловцом, приносил домой полное ведро рыбы, баба Зина жарила и вместе с ним ела ее. Рита отказывалась садиться с немцем за стол и притрагиваться к его еде. Он хмурился, смотрел на Риту скорее печально, чем сердито, и просяще говорил:

— Битте, фрейлен, битте.

Но Рита после этих слов, под его жалобным взглядом вдруг ощущала словно свое превосходство и, хотя ей страсть как хотелось полакомиться свежей рыбкой, гордо отворачивалась и уходила из комнаты.

Иногда Краузе, когда Рита сидела на крыльце, брал топор и пытался колоть дрова. Но делал это неумело, топор опускался мимо полена или застревал в нем, Рита смеялась, и оттого, что она смеялась, он веселел и уже нарочно неуклюже играл топором. Рита отстраняла его, ловко раскалывала несколько поленьев и, снова сунув ему топор, говорила:

— Труд сделал из обезьяны человека. Может, из фашиста тоже сделает. Работай, немец-перец!

Краузе понимал, что она говорит, однако не обижался и, вместе с ней смеясь, колотил поленья, аккуратно складывал их у сарая. Останавливался, уставая, курил длинную сигарету, смотрел на Риту странным взглядом, словно изучал ее лицо. Она краснела и уходила в избу, ей неприятен был этот взгляд, и в то же время было в глазах Краузе что-то такое, что смущало, волновало ее. Он часто сидел в саду под яблоней и играл на губной гармошке, сначала Риту раздражал металлический звук гармошки, но со временем, затаившись, она прислушивалась к чужой музыке, улавливая в ней своеобразную красоту и печаль. Краузе хорошо и долго играл, но играл всегда что-то грустное, тоскливое. Альма уползала в конуру и жалостливо взвизгивала, словно подпевала ему. В такие минуты Рите было не то чтобы жалко его, но она как бы смягчалась и не таясь разглядывала его. У него были печальные глаза, большой лоб, русые мягкие волосы, которые легко шевелил теплый ветер. Хорошее, открытое лицо. Ямочка на подбородке, длинные ресницы, широкие брови, слегка вздернутый нос и живые губы, быстро скользящие по гармошке.

Иногда, кончив играть, Краузе садился рядом с ней на крыльце, она отодвигалась чуть-чуть, но не уходила, и так друг возле друга они долго сидели молча, глядя перед собой в далекое пространство. Рита как бы цепенела, ощущая его близость, но и он будто деревенел, напряженно отвернув от нее голову. Долго сидеть так было невыносимо, все тело тяжелело, сухо становилось во рту, в глазах стоял туман, Рита с трудом поднималась, шла в избу на усталых ногах. Она уходила, а Краузе еще долго сидел с напряженным лицом. Но в избе было душно, тесно, неудобно, Рита пыталась помогать бабе Зине чистить картошку, но картошка не чистилась. Краузе проходил

мимо, шел на свою половину, к себе в комнату, Рита слышала, как он ходил там из угла в угол, ходил и ходил, размеренно, не останавливаясь, скрипя половицами. Рита бросала нож, брала ведра, шла за водой к колодцу, а возвращаясь, видела Краузе, который смотрел на нее из-за занавески. Встретившись с ней взглядом, он почти испуганно отходил от окна. Риту сместило это его движение.

— Фашист недорезанный, — говорила она, ловя себя на мысли, что ей приятно выражение его лица, его глаз, с которым он глядел на нее из-за занавески. Что-то робкое, необычное, тайное было в этом взгляде, успокаивающее и тревожащее одновременно.

В старой разрушенной церкви Рождества Богородицы, где была колхозная кузница, немцы ремонтировали моторы подбитых самолетов, в огромных ящиках держали запасные части. Краузе входил сюда не без внутреннего трепета. Сверху, с купола, глядел размытый временем Господь, и казалось, был недобр, суров. Здесь было шумно, грязно, холодно; сырые стены покрыты белесой плесенью, которую не тронула даже сажа. Кое-где угадывались остатки росписи. Если постоять здесь в тишине, то можно услышать, как что-то шуршит, что-то будто стонет, вздыхает: песок сыпался, краска сыпалась, кирпич крошился. Разрушенные русские церкви, которых уже немало повидал лейтенант Краузе, вселяли странный мистический страх, они не были мертвы, даже если оставались от них одни стены, они дышали, дыхание их было слышно — мертвые, они жили.

Фронт был далеко, где-то шла большая и жестокая война, а в поселке войны не чувствовалось, если не считать гудения самолетов на аэродроме. Но к их шуму скоро все привыкли и почти не замечали, только один раз в конце сентября появились советские бомбардировщики, сбросили на аэродром свой груз и больше уже не прилетали. В кинотеатре показывали немецкие кинофильмы о любви, о женской верности, о мужестве солдат вермахта, сражающихся с коварным русским врагом, о трудовых подвигах немецких рабочих, куящих победу в тылу на заводах и фабриках. В кинотеатр, как и в прежние времена, набивалось до отказа зрителей, было тесно, жарко, солдаты шуршали шоколадной фольгой, угощая девушек, те лузгали семечки и в свою очередь угощали ими солдат.

Кончилось лето, и осень быстро кончилась. Уже с середины октября пал снег, ударили морозы. Краузе возвращался с аэродрома дрожа от холода, долго прыгал на крыльце, сбивая снег с сапог, согреваясь, потом растирал замерзшие ноги перед печкой. Баба Зина достала с чердака старые дедовы валенки, отдала ему.

Ноябрь был холодный, туманный, деревья в саду потрескивали от мороза, ветер выл во всех щелях избы, гонял по улице поземку, собирая сугробы и тут же сдувая их. По ночам Краузе надрывно кашлял на своей половине, болел, хотя каждое утро, косолапя в дедовых валенках, разгребал засыпанную снегом дорожку к калитке, где ждал его мотоциклист, и уезжал на аэродром. Иногда он пригонял оттуда грузовой автомобиль, чтобы увезти с церковного склада ящики с запчастями, а иногда сгружал для ремонта мотор с подбитого самолета.

Вечером Краузе любил сидеть у печки, подбрасывать поленья, смотреть на огонь или просто греться, закрыв глаза. Пламя освещало его лицо. Рита старалась не смотреть на него, но искоса поглядывала: отблеск огня играл на его щеках, тени колыхались на рубашке, на тонкой загорелой шее, виднеющейся из-под воротника.

Как-то Рита проснулась среди ночи то ли от чьего зова, то ли от внезапного сердцебиения и замерла от таинственного ощущения нереальности происходящего. Изба была залита лунным дымом, сказочным светом, наполненным ее ощущением радости. Она оделась, вышла на крыльцо и долго стояла там, дыша морозным воздухом, слушая шуршание голубого снега, тишину поселка, вглядываясь в высокое, осво-

бодившееся от туч звездное небо, на котором висела и светилась полная луна, как огромный осколок льда... Господи, разве никогда она не видела всего этого? Этой лунной декорации, сказочно преобразующей мир? Видела множество раз, но, наверно, еще никогда не чувствовала такого захватывающего дух волнения и радости жизни. Сердце билось, а вся душа была наполнена восторгом от ощущения красоты и слияния, единения с этим живым миром.

Она знала — почему, как предчувствовала это? — знала, что Краузе тоже сейчас не спит, что он тоже охвачен лунным туманом и обязательно должен выйти к ней на крыльцо. И он вышел, в валенках, накинув на плечи китель, и не удивился, увидев Риту. Остановился, глядя и не глядя на ее освещенное луной белое лицо.

— Простудишься, чудо-юдо, — тихо сказала она, ей жарко стало от его взгляда. Он наклонился и осторожно, робко поцеловал ее холодными губами в щеку и отпрянул в сторону, словно испугался того, что сделал.

— Не надо, ой, нельзя, — беспомощно сказала Рита, заплакала и ушла в избе.

Она лежала на своей кровати и плакала тихими слезами, слезами радости, потому что ощущала в душе не смятение, не стыд, не сожаление, а тихую радость, чувствуя на щеке нежность и тепло неостывающего поцелуя. Свершилось то, что давно уже свершилось, только не было произнесено заветное слово, но вот и оно произнесено этим морозным поцелуем.

Она не спала остаток ночи, Краузе не спал, курил, запах сигареты расплылся по избе, и Рита с волнением вдыхала его, думая о том, как ей жить дальше... До этого мгновения она избегала, таилась Краузе, понимая, но все еще не осознавая, что любит его. А теперь, когда все сказано, что ей теперь делать? Чувство, которое она испытывала нынче и которое пыталась так долго скрывать от самой себя, обманывая себя, это чувство было ново и не изведено ею: в свои неполных двадцать два года она никогда не ощущала ничего подобного. Что называется счастьем, если не эта тихая радость от самой жизни, наполненной звоном, светом, предощущением открытия некоей тайны? Это чувство было сильнее сознания, что любовь ее преступна, ибо полюбила она чужого человека, врага, пришедшего на ее землю не с добром, а по велению зла. Она не должна была его любить, не имела права его любить, должна была ненавидеть, но она любила его. Любовь ее грешна, преступна. Какой закон она переступила — закон нравственности или закон природы?

Краузе тоже одолевали такие же или почти такие же мысли. Он знал женщин, а в школьные годы пережил несчастливую, без взаимности, юношескую пылкую любовь к девочке Эмме, закончившуюся спокойной привязанностью к кузине Анна-Аннете, писавшей ему нежные сентиментальные письма, которые он почти каждую неделю получал здесь, вдали от родного дома и родной земли. Он аккуратно отвечал на эти письма и на неизменный вопрос кузины, по-прежнему ли он помнит ее, ту, что ждет его возвращения домой с победой, так же неизменно и постоянно отвечал, что «помнит, конечно».

Но Анна-Аннета и Эмма, они были из другой, далекой, прошлой жизни, которая была словно и не его жизнью, потому что так не похожа на его бытие здесь, в чужой стране, в заснеженной России. Враждебная Россия внезапно принесла ему новые, неизвестные до этого ощущения. Казалось, что ничто не может быть сильнее, чище, возвышеннее, чем юношеское пылкое чувство к маленькой Эмме, испытанное им в прежней жизни, потому что потом, когда он выздоровел от этой первой любви, все было по-другому — свидания с женщинами не приносили ему душевного покоя и радости, с ними было буднично, просто, но и встреча с Анной-Аннетой, всколыхнувшая на короткое время его сердце, быстро вылилась в спокойное, доброе расположение к этой сентиментальной, нежной девушке, с которой он был

помолвлен полтора года назад и которая должна была стать его женой, родить ему детей и составить его семейное счастье. Да, казалось, что ничего не может быть сильнее, возвышеннее того, что испытал он к Эмме, не одарившей его благосклонностью, но то, что чувствовал он ныне, было несравнимо ни с чем, такого он не переживал никогда. В этой русской деревне, затерянной в бесконечном, далеком от родины земном пространстве, куда закинула его судьба, он неожиданно ощутил себя так, словно наконец-то нашел свое пристанище. Все стало второстепенным, даже тоска по отцовскому дому, ныне он жил со смятенной душой, так, будто страшная война была затеяна только для того, чтобы он, Гельмут Краузе, пришел сюда и встретил бы здесь русскую девушку Риту. Он знает, он помнит, когда она вошла в его сердце: в то самое мгновение, когда подняла топор и направилась к калитке, нет, даже не в это мгновение, а чуть раньше, когда вышла на крыльцо с горящим лицом, на котором так ясно видны были и страх, и отвага, смятение и непреклонность. Вся она была не грозна, а прекрасна в своей решимости, и он, глядя на нее, смутился тогда и, пытаясь улыбнуться, сказал: «Гутен морген, фрейлен», испытал странное чувство, вдруг охватившее его, — удивления, восхищения, но никак не враждебности.

С тех пор, живя рядом с ней, в одном доме, он постоянно, изо дня в день, ощущал ее присутствие, душа его была полна смятением и страхом, что все внезапно может кончиться, придет приказ, и чья-то недобрая воля увлечет его дальше в глубь России. Война для него кончилась, он боялся потерять то, что приобрел. И в то же время понимал, что между ним и этой девушкой лежит пропасть: они из разных миров, они враждебны друг другу. Но если бы не война, он никогда не нашел бы ее и не открыл бы в себе нового Гельмута, так непохожего на того, который остался в далекой Германии. Тот Гельмут еще не знал, как огромен мир и что люди, населяющие его, — все — не враги, а создания Бога, призывающего к любви, не к вражде. На пряжке его ремня было выбито: «Гот мит унс» — «С нами Бог», но и в этой избе, в красном углу, горела лампадка перед иконой Спасителя. Его и русскую девушку разделяли не незнание языка, не различие веры, а злая воля людей, придумавших эту войну. Он, полюбивший русскую девушку, для нее — олицетворение зла. Он понимал это и потому боялся чем-либо обидеть ее.

Он стал другим человеком, стал старше своих двадцати четырех лет, зрелее, умнее, еще год назад он рвался на Восточный фронт, мечтая о подвигах, готовый погибнуть ради величия родной великой Германии и ее фюрера, а ныне жил с иными мыслями и иными чувствами, ощущая красоту жизни и мудрость всего живого, сотворенного Всевышним. Ему хотелось жить, он страшился, что война может его убить или разлучить с девушкой, которая так внезапно вошла в его сердце, перевернув все его существо. Думая так, он вынужден был скрывать эти свои мысли, потому что не должен был так думать и так чувствовать, это мысли отступника, дезертира. Но какой же он отступник, какой дезертир, если по-прежнему верит в великое предназначение своей Родины и в ее фюрера? Как все это соединить, как успокоить душевные сомнения, как разрешить неразрешимые противоречия, в которые поставила его жизнь?

...Ночной поцелуй не сблизил их, а будто бы даже отдалил.

Уже утром, на дневном свете, ощущение радости и душевного покоя покинуло Риту, ей стало стыдно, страшно от тревожного чувства вины.

— Нет, нет, ничего не произошло, — сказала она себе, — ничего не было.

И в то же время на щеке, как рана, горел греховный поцелуй, напоминая, что все было, что все произошло. Отныне она избегала Гельмута, боясь встречаться с ним даже взглядом. Наверно, он сразу понял ее чувства и тоже как бы сторонился ее, таясь на своей половине избы.

Но вот однажды в такую же светлую лунную ночь прилетели советские самолеты и забросали аэродром и поселок бомбами. Земля дрожала, изба шаталась, словно приседала от испуга, небо стало розовым, где-то что-то горело. Бомбы падали совсем рядом, словно рвались вокруг дома, баба Зина бросилась к сараю спасать козу. Рита металась по избе в одной рубашке, что-то крича от страха, впрочем, ей только казалось, что она кричит, на самом деле только беззвучно открывала онемевший рот.

Еще один снаряд взорвался почти у самого крыльца, выбив стекла в окнах, с петель сорвалась дверь, со своей половины выскочил полуодетый Краузе, бросился к Рите, новый взрыв сбил их с ног.

Они лежали на полу, оглушенные уже не бомбежкой, а близостью своих полуобнаженных тел. С улицы с воем ветер задувал снег.

— Мне страшно, я боюсь, — твердила она, невольно прижимаясь к нему.

— Нет страшно, нет боюсь, — говорил он, обняв ее, прикрывая от новых возможных взрывов, но взрывов больше не было, самолеты давно улетели, небо горело от близкого пожара, освещая лицо Краузе. Оно было совсем рядом от Ритино лица. Дрожа от страха, или уже не от страха, а от его близости, она обняла испуганно Краузе, а он прижался горячими губами к ее губам. И с этого мгновения для них уже ничего не было, только они двое, слившиеся в одно целое. Рита, пронзенная болью, стонала от этой боли, несущей в себе и наслаждение, и ощущение небытия.

В эту ночь советские бомбардировщики уничтожили аэродром.

Через два дня бомбежка повторилась.

Рита несла крынку козьего молока в комендатуру. Майор Шульц, с детства болеющий желудком, лечился козьим молоком, которое, по его мнению, восстанавливало в его организме нездоровые клетки. Однако он считал, что русское молоко в отличие от немецкого было невкусно, не столь полезно, и потому он покупал его у Риты почти задаром. Расплатившись, перелив молоко в большую литровую кружку, майор неизменно пытался похлопать Риту по мягкому месту и весело смеялся, говоря: «Гут, гут».

Выходя из комендатуры, Рита услышала гул летящих самолетов. Казалось, они летели прямо над головой за темными, тяжелыми тучами. Она добежала до бывшей церкви, когда первая бомба упала на окраине поселка. Вторая бомба упала уже недалеко от церкви, взрывная волна бросила Риту на землю, но неожиданно откуда-то появился Краузе, поднял ее и потащил в жуткую, сырую темноту церкви. Все гремело, ухало вокруг, дрожала земля, неожиданно разверзся купол, открыв серое, озаренное огненными всполохами небо. Гельмут оттолкнул Риту в сторону, к стене, а сам не успел отпрыгнуть, и на него сверху обрушилась кровля, придавив его.

Рита, охваченная страхом не за себя, а за него, бросилась к нему, помогая ему выбраться. Она разгребала эту кучу обломков досок, щебня, кирпича. Он выполз оттуда, схватил Ритины руки, потянул к себе. Она упала к нему, он обнял ее и целовал, целовал, целовал.

— Господи, как я испугалась, — говорила она, все еще дрожа от страха.

Самолеты улетели так же внезапно, как и прилетели...

А через день немцами был получен приказ оставить поселок и уйти на запад, чтобы не попасть в окружение стремительно наступающей Советской армии.

— Я люблю тебя, — прощаясь с Ритой, сказал Краузе.

— Их либе дих, — сказала Рита, вдруг ощутив себя одинокой, несчастной, поняв, что рядом с Краузе за эти месяцы прожила самые незабываемые, может быть, самые яркие дни своей жизни.

Краузе обхватил ее лицо ладонями, долго вглядывался в ее глаза, в которых дрожали слезы, и что-то быстро, ласково говорил, она смотрела на него и шептала:

«Как же мне жить, как жить?», а он говорил и говорил, торопливо, почти в отчаянии обцеловывая ее лицо, и сам чуть не плакал. Затем решительно отвернулся, сказал бабе Зине: «Спасибо» — и пошел через двор к дороге.

Рита не вышла за ним, она в изнеможении опустилась на кровать, прислушиваясь к его шагам, — снег хрустел под дедовыми валенками — и, когда скрипнула калитка, заплакала, уткнувшись в подушки.

Немцы ушли. Через поселок, догоняя их, два дня двигались советские войска, не задерживаясь, не останавливаясь. А когда наступила тишина, когда над поселковым советом взвился красный флаг, на фасаде кинотеатра появилась старая, каким-то чудом уцелевшая афиша, на которой революционные солдаты и рабочие штурмовали Зимний дворец. Снова демонстрировался фильм «Ленин в Октябре».

...Прошло не так уж много времени, и Рита поняла, что в ней развивается новая жизнь. Она сказала бабе Зине:

— Бабушка, что мне делать? У меня будет ребенок. Как мне теперь жить?

— Как все живут, так и ты будешь, — сказала баба Зина, — дитя дано Господом. Помолись. Господь милосердный, он вразумит тебя.

Рита встала на колени перед образами, перекрестилась, сказала: «Господь милосердный, прости, вразуми меня» — и почувствовала, что нет в ней искренности, нет веры в то, что молитва принесет душевное согласие — не существует никакого Бога, увы, это все стариковские сказки... А во что она верит ныне? После встречи с Краузе, после всего того, что она пережила, почувствовала рядом с ним, она уже не знает, где правда, где ложь, где ненависть и где любовь... Он, Гельмут Краузе, немецкий офицер, был ей ближе и дороже всех людей на свете, и хотя, наверно, она должна была бы ощущать себя преступницей, предательницей, полюбившей врага, она не чувствовала себя так и не испытывала стыда от того, что в ее теле живет, развивается его дитя.

Никто ей не судья: ни люди, ни Бог. Ей не у кого искать прощения, ни у людей, ни у Бога. Все сосредоточено в ней — и прощение, и осуждение, и если на самом деле есть Бог и все свершается по его воле, по его предопределению, то тем более ей незачем просить у него милосердия.

Думая так, она все же крестилась, произносила покаянные слова, обманывая себя самоё и Господа милосердного, потому что не верила, не могла верить, не научилась верить в его существование, в его всепрощение...

Она встала с колен, измученная от своей неискренней молитвы, и на вопрос бабы Зины: «Полегчало тебе?» — ответила: «Да, полегчало», не глядя в бабушкины любящие, добрые глаза.

— Да, полегчало, — повторила она и ушла к себе, на ту половину избы, где жил еще недавно Гельмут и где еще пахло его табаком. Голова у нее раскалывалась от боли. Она легла на кровать, на ту кровать, на которой спал он, Краузе.

— Господи, что я наделала? — твердила она, закрыв ладонями лицо.

...Через поселок гнали пленных. Был мороз. Дрожа от холода, закутанные кто во что — в женские платки, в одеяла, они брели, звеня котелками, привязанными у пояса к ремням, с трудом передвигая будто деревянные, негнущиеся ноги, обутые в старые валенки, в ботинки, обмотанные или тряпками, или соломой. Жители поселка высыпали на дорогу, чтобы поглядеть на них. Рита стояла у калитки со смешанным чувством: вся эта жалкая, унылая серая толпа грязных, серых, покорных людей не вызывала ни жалости, ни сочувствия, а скорее брезгливость и даже презрение. Сначала она вглядывалась в их лица со смутной надеждой, нет ли среди них Гельмута, но потом поняла, что он не может быть тут, в этом стаде потерявших человеческий облик солдат. Он, Гельмут, не мог превратиться в такое чучело. Рита не

чувствовала к ним ни сострадания, ни жалости, потому что это брели враги, фашисты, а ее Гельмут был не враг, он не из их, он из другого мира.

Сердобольные старушки совали им куски хлеба. Баба Зина, увидев это, побежала в избу, принесла несколько вареных яиц, но Рита, почти с ожесточением, отстояла ее:

— Нет, убери! Убери, говорю! Обойдутся, — крикнула она, испугав своим окриком бабу Зину, но и сама испугалась: откуда у нее вдруг такая злость к этим поверженным, усталым и несчастным людям. А может, потому, что для них война кончилась, они живы, обречены дальше жить, а где Гельмут, что с ним, может быть, он уже нашел смерть и лежит в холодной зимней земле. Мимо нее шли чужие люди, пришельцы из иного злого мира, в котором если и есть добро, то оно сосредоточено в Гельмуте Краузе, в человеке, случайно родившемся в том, другом пространстве, чтобы случайно залететь на короткое мгновение сюда, к Рите.

Потом, много дней еще, она вспоминала эту бредущую мимо ее дома унылую толпу и каждый раз испытывала одно и то же неизменное чувство враждебности.

Она жила в смятении, не в ладу с собой, то сознавая свою греховность, не находя места от одиночества, страха перед будущим, то с радостным томлением прислушиваясь к тому, что происходит в ее теле.

В школе начались занятия. Рита снова пришла в свой первый «Б» класс и вдруг посередине урока онемела, замерла в страхе от истошного крика, донесшегося с улицы. Кричали сразу несколько человек, мужчины и женщины. В окно было видно: по улице бежала полуодетая женщина, без пальто, без платка, бежала, падая, поднимаясь и снова падая на скользкой дороге, а за нею гналась целая толпа мужиков и баб, с ненавистью орущих беспощадные слова. Это была Вика, веселая, озорная телефонистка с почты.

— Шлюха! Фашистская подстилка! — кричали люди ей вслед. Рита уже не могла произнести ни слова. Не свое ли будущее увидела она в школьное окно, вот она, расплата, она близка, она неминуема. Лицо ее горело, всю ее трясло как в лихорадке, она в изнеможении опустила на стул, не слыша ни шума в классе, ни криков на улице, ничего, кроме биения собственного сердца. У нее не было сил продолжать урок, она молча поднялась и, не сказав ни слова — губы ее одеревенели, во рту пересохло, — пошла домой. Шла по улице, шатаясь, а в голове звучал страшный крик толпы:

— Шлюха! Фашистская подстилка...

Она с трудом дотащилась до дому, не раздеваясь упала на кровать и лежала, смотря в потолок невидящими глазами, не чувствуя уже ни головной боли, ни сердцебиения, ничего, кроме страха, холодом охватившего все ее существо.

Вечером баба Зина принесла страшную вест: телефонистка Вика повесилась у себя в сарае.

От людей ничего не скроется, пока еще Рита может хранить свою тайну, но скоро все увидят округлившийся ее живот и поймут, какое дитя она носит в своем теле. Конечно, можно вытравить ребенка, сейчас еще можно сделать это, потом будет поздно, ведь пока он только начал развиваться, только начал жить, и сейчас самое время сделать так, чтобы он не появился на Божий свет. Это единственный шанс сохранить свою тайну, скрыть от людей свой позор... Позор? Нет, она не чувствует себя опозоренной, она страшится не осуждения людей, а их злобы. Но убить в себе ребенка, самой же остаться жить — разве это не преступление, не позор, на который она навечно обречет себя? Она хочет ребенка, и он будет жить, какие бы страдания ей ни пришлось перенести. Есть еще один выход: уехать из поселка, навсегда оставить эти места, где знают ее. Но куда уехать? У нее нет нигде родных или близких

людей, которые могли бы ее приютить. Да и как уедешь, если, чтобы сдвинуться с места, нужно множество документов: вызов оттуда, куда едешь, пропуск, отметка в паспорте. Некуда ей было ехать, некуда бежать из родных мест. Значит, надо все перенести, все перетерпеть, все, что готовит ей жизнь.

Однажды утром, еще не отойдя ото сна, еще в полусне, в полузабытьи, Рита вдруг почувствовала, как осторожно, нежно шевельнулось в ней дитя. Она охнула от неожиданности, приложила ладони к животу, и ребенок ткнулся в ее ладони, а она заплакала и засмеялась от захватившего дух осознания себя дарующей, творящей новую жизнь.

Она еще не отошла от этого чувства, еще лежала, улыбаясь, сложив ладони на животе, как услышала во дворе лай Альмы, увидела в окне Ивана Петровича и торопливо стала одеваться, испуганно думая, что этот визит едва ли сулит ей что-либо хорошее.

— Рано? Извини, — сказал он, отдышавшись, — но здесь нет посторонних ушей... А разговор непростой...

Он помялся, сел на стул, проговорил мягко:

— Я стар, Рита, я прожил долгую, печальную жизнь, мне кажется, научился понимать людей, и потому не буду тебя осуждать. Но и ты не осуди меня. Я не могу поступить по-другому... Ты ждешь ребенка...

Она вскинула на него глаза, краснея, испуганно спросила:

— Заметно?

— Еще нет... Но скоро... Не спрашиваю, чей это ребенок. Сожалею... Могу ли разрешить и дальше заниматься тебе с детьми? Меня не погладят по головке... У меня своих неприятностей хватает... Доносы, доносы вокруг, без конца доносы... Но ты... бедный человек, как же ты могла? Где были твои честь, достоинство... Война идет, а ты... с немцем...

— Нет, — не поднимая головы, беспомощно прошептала Рита, — нет, не его ребенок, нет...

Она сказала так и заплакала уже от мысли, что с такой легкостью отрекается от Гельмута, от своей любви.

— Не надо, — почти скорбно проговорил Иван Петрович, — чей же это ребенок, если не его...

— Не его, нет, — растирая по лицу слезы, повторила она. С другой половины избы из-за занавески вышла баба Зина.

— Не мучай девочку, пожалуйста, — спокойно сказала она, — не позорь, не от немца она понесла, не он отец...

«Он, он», — дрожа от страха, в отчаянии твердила про себя Рита.

— Он не он, все равно, но людей не обманешь, — сказал Иван Петрович. — Мне жаль, но мой долг сказать тебе то, что я сказал...

Он пошел к двери, но остановился и, обернувшись, печально, устало проговорил:

— Извини, но даже если ты вздумаеть избавиться от ребенка, в школе тебе все равно не работать. Ты бы уехала куда-нибудь, что ли... Пойми меня, есть нравственный закон...

— Один есть закон, — сказала баба Зина, — Божий...

Он скорбно покачал головой, ничего не ответил и ушел.

А днем, когда Рита полола сорняк в огороде, у калитки остановился мотоцикл. Услышав его стук, она невольно напряглась вся: так же тархтел мотоцикл, приезжавший каждое утро за Гельмутом.

— Здесь живет Крюкова? — крикнул мотоциклист.

— Я, — сказала Рита.

Он открыл калитку и, не обращая внимания на Альму, рвущуюся на цепи, прошел во двор, вынул из нагрудного кармана кожаной куртки красную книжечку и, раскрыв ее, показал Рите. Она ничего не увидела, туман стоял перед глазами.

— Надо в город съездить, поговорить.

Рита покорно пошла к мотоциклу, села в коляску и всю дорогу до города, долгую, тряскую, длинную дорогу, ехала как во сне, не ощущая ничего, кроме страха и головокружения.

— Чтой-то ты затосковала, — сказал мотоциклист. — Давай споем. Я люблю песни. Ну давай, не тоскуй, подтягивай... «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» — запел он, голос у него был высокий, мальчишеский, да и сам он был еще юн, ненамного старше Риты. Он пел, она молчала, борясь с тошнотой, глотая горькую слюну. Но не удержалась, ее вырвало. Он остановил мотоцикл, сказал с досадой:

— С чего это тебя эдак? Коляску облевала, песню испортила, дура... Ну блуй, блуй... Или все, что ли?

Ее снова вырвало, и сразу стало легче.

— Держись крепче, сейчас с ветерком прокачу, — сказал он и, действительно, помчался по ухабистой дороге так быстро, что все вокруг стремительно мелькало мимо, уносилось прочь. Риту мотало в узкой коляске из стороны в сторону, снова закружилась голова, снова тошнота подступила к горлу. А он только кричал, радуясь своей лихости:

— Эх, хорошо, эх, здорово!

В городе подъехали к трехэтажному дому, у входа стоял часовой, и мотоциклист сразу словно преобразился, посерьезнел, повзрослел, он показал часовому красную книжечку, «она со мной», и часовой, косо глянув на Риту, пропустил их, сказав:

— Отгоните в сторону мотоцикл, товарищ лейтенант.

— Отгону, — пробормотал лейтенант, оставил Риту в длинном коридоре, пошел отгонять мотоцикл.

Сквозь пыльное окно она видела, как он вышел на улицу, и вдруг почувствовала, что ребенок шевельнулся в ней. Однако сейчас от этого ощущения она испытала не радость, а боль, словно что-то острое пронзило ее изнутри. Она охнула от неожиданной, нестерпимой боли, опустилась на стул и не видела, не слышала, когда подошел лейтенант.

— Возьмите себя в руки, — сухо, казенным голосом сказал он, — идите за мной.

В комнате, куда он ее привел, было тесно, душно. Лейтенант сел за стол, сказал:

— На мои вопросы отвечайте четко, ясно, правдиво. И держите себя в руках, тут не госпиталь, ничем помочь не могу, тут каждый сам себе врач...

Он спрашивал и записывал ее фамилию, имя, отчество, год рождения, спрашивал о родителях (мать умерла при родах, отца убили в тридцатом году кулаки, родственников, кроме бабушки, нет), спросил, кто привел на постой к ней в дом немецкого офицера.

— Не помню...

— Вспомните.

— Не помню.

— Какая девичья память. Забыли? Могу напомнить. Не директор ли школы?

— Не помню.

— Что ж, так и запишем: «Не припоминаю...» Потом долго расспрашивал про Гельмута: что делал, с кем из жителей поселка общался.

— Ни с кем.

— Ни с кем? А с вами? Какие были отношения у него с вами?

— Никаких...

— Неправда...

Она ждала, когда же он спросит ее о ребенке, но он не спрашивал, и только тогда, когда она совсем обессилела, устала, когда готова была упасть, он наконец-то спросил, кто отец будущего ребенка. Немец?

— Нет, нет, — сказала она. Он засмеялся:

— Ну не он, так не он, чего пугаться. Однако я просил говорить только правду, лгать-то тоже надо уметь... Смотри на меня! Глаза-то у тебя бесстыжие... Не прячь глаза! Отца кулачье убило, а ты с немцем забавлялась...

— Нет, неправда это, — прошептала она.

— Значит, нет. Ну, пишу: «В половую связь с немецким офицером не вступала...» За ложь ответишь вдвойне...

Она устала, она уже ничего не видела, не слышала, боль в животе распирала ее, она охнула и сползла со стула на пол, и ее снова вырвало слюной и желчью. Он выругался, налил ей стакан воды, почти силой заставил выпить.

— Чикайся тут с тобой... Распишись на протоколе. Через неделю придеешь, одумаешься и правду скажешь, если хочешь добра себе... Еще здесь распишись, тут вот, тут: о нашей встрече никому ни слова. Понятно? Иди, обратно пешком потопашь, уж извини...

Она думала, что поймает попутную машину, но машин не было, однако и сил не было, она брела лесом, полем, ощущая тяжесть и боль в животе. Боль не утихала, наоборот, становилась все сильнее, невыносимее.

Идти она больше не могла и легла на землю посредине поля, заросшего высокой травой. Долго лежала, прижимая руки к животу, и, наверно, задремала, потому что, когда открыла глаза, увидела над собой синее небо, плывущие облака, играющие с солнцем, жаворонка в вышине, высвистывающего свою песню, услышала стрекот кузнечика в траве возле головы, ощутила запах травы, нагретой солнцем, и покой, удивительный покой во всем теле.

Долго лежала так, боясь пошевелиться, боясь спугнуть это чувство легкости и покоя. Боли не было, ребенок тоже успокоился в своей колыбели. Рита осторожно погладила живот. Все хорошо, все замечательно, солнышко светит, жаворонки поют, все плохое пройдет, у нее родится доченька Машенька, она уверена, она хочет, чтобы родилась Машенька, потому что мужиков не надо рожать, их забирает война... Солнце грело ее, обволакивая своей лаской, своим теплом, земля дышала свежестью и покоем. Ни о чем не думалось, ничего не вспоминалось. Было легко, хорошо на душе и во всем теле.

Она встала, пошла дальше, но не сделала и десяти шагов, как вдруг страшная, нестерпимая боль пронзила ее всю, она закричала и тяжело, словно кто-то резко, с силой толкнул ее, упала на землю, и солнце, и небо, и травы — все почернело, все исчезло, дикая, раздирающая тело боль распирала ее. Она каталась по земле в луже крови, льющейся и льющейся из нее...

...Не будет у нее ребеночка, ни мальчика, ни девочки, никого не будет.

— Ой, мамочка, — кричала она, — ой, больно, ой, не могу, умираю...

III

С годами Гельмут Краузе все острее ощущал свое одиночество. Пять лет назад умерла его супруга Анна-Аннета, и все окружающее будто потеряло для него свой

смысл. С тех пор он жил машинально, по инерции. Детей у них не было. Господь не наградил его счастьем отцовства. Впрочем, нет, он прикоснулся к этому чувству, у них родилось дитя, прелестное крошечное существо, скончавшееся, не прожив и года. Они аккуратно ходили на ее могилку, на маленький холмик, усыпанный цветами. Острота этой потери с годами не утихала, детская кроватка как стояла в комнате, так и сейчас стоит, Анна до последних дней своих застилала ее новым бельем, подолгу сживала возле, мыслями уйдя в далекое отрешенное пространство.

Гельмут похоронил жену рядом с их нерасцветшей доченькой. Каждое воскресенье он приходил сюда и сидел почти до сумерек. Ему тут было хорошо, спокойно и не хотелось возвращаться домой, в квартиру, где среди привычных вещей он ощущал свою старость, свое одиночество. Он любил город, в котором жил, чистый, ухоженный, весь в зелени, любил с Анной прохаживаться по его улицам, сидеть в парке, у пруда, где плавали черные лебеди, но, оставшись в одиночестве, перестал совершать эти привычные прогулки, вызывавшие теперь только сердечную боль.

С некоторых пор Гельмут Краузе стал летать. Так было уже когда-то в детстве, и вот снова в старости. Не во сне он летал, но и не наяву, а в другом каком-то состоянии между явью и сновидением. Едва только ложился в кровать, как ощущал себя в полете, дух захватывало от легкости тела и высоты, от плавного парения между небом и землей, воскрешая те же самые чувства восторга и своего могущества, которые испытывал, когда был ребенком. Иногда Гельмут ловил себя на мысли: не являются ли такие ощущения предвестниками скорого конца? Потому что это, наверно, возможно только в самом раннем детстве и в самой поздней старости — не во сне, а будто наяву вдруг ощутить себя в полете и лететь в высоком небе подобно птице или неожиданно оказаться не здесь, в привычном пространстве, а в ином измерении, где все так же, все знакомо, и все же не так, все незнакомо. В старости это, наверно, потому происходит, что человек, как и птица перед зимним перелетом в дальние земли, готовится к уходу, к последнему полету в вековечное пристанище. А в раннем детстве потому такое возможно, что, появившись на Божий свет, ребенок еще не забыл свой полет в предыдущей жизни. В детстве — это воспоминание о прошлом, в старости — репетиция расставания.

Готовясь расстаться с жизнью, человек обзревает свое прошлое, поэтому, наверно, Гельмут стал жить не столько настоящим, сколько тем, что было с ним когда-то. Память воскрешала все, что было будто им забыто.

Вот отец, служивший хранителем архива в Ратхаузе, первая скрипка любительского оркестра, пытавшийся привить Гельмуту любовь к музыке, но своей настойчивостью вызвавший только неприязнь к ней. Школа, откуда Гельмут ушел в армию и отправился в свой первый поход на Запад, во Францию. В этой школе он после войны долгие тридцать пять лет учительствовал, вдалбливая детям азы математики. Вот Россия... Россия, настойчиво возникавшая в его памяти в течение всей жизни. Одно время он даже усердно занимался русским языком. Воспоминания о России последнее время становились все упорнее. Изба, улыбчивая старуха, собака во дворе, девушка Рита, первая тайная, неожиданная, настоящая его любовь.

Мир раскалывался на его глазах, рухнула Берлинская стена, многие годы разделявшая Германию, развалилась почти в один день могучая страна, победившая в страшной войне, — Советский Союз. И ныне побежденная Германия посылала туда, бывшему врагу, гуманитарную помощь — продукты, одежду, потому что богатая Россия стала нищей и голодной. Все перевернулось в этом мире. Не вырвешь из сердца то, что было, то, что, наверно, давно надо забыть. Но забыть невозможно, память не отпускала его. Неужели то недолгое время, которое он прожил в старой, пропахшей всеми древними запахами огня, дерева и мороза избе, где воздух был

наполнен дыханием белокурой девушки, было самым счастливым в его долгой жизни?

Был июль 1993 года. Город справлял свой местный праздник в память средневекового события, когда в городе впервые был построен единственный на всю округу пивоваренный завод. Пиво лилось рекой, город ликовал, веселился, пел, парни и девушки в старинных костюмах танцевали на улицах и площадях — милая, родная картина, напоминающая всю прелесть, все единодушие, нежность и сентиментальность Германии.

В Томаскирхе хор мальчиков самозабвенно пел «Komm, Jesu, komm» Иоганна Себастьяна Баха. Детские, прозрачные голоса звенели, наполняя сердце печалью и восторгом. Гельмут Краузе слушал, растроганно вспоминая, как сам, будучи мальчиком, так же стоял тут и пел с другими детьми те же слова, не понимая тогда всю тоску и горечь этих слов, которые ныне вызывали у него слезы. «Приди, Иисус, приди, моя плоть устала, силы все более покидают меня. Я тоскую по покою, который Ты даешь. Горький мой путь становится слишком тяжел для меня. Приди, я покорюсь Тебе...»

Вечером, усталый и одинокий, отстраненный от шума и веселья, погруженный в свои мысли, он сидел в кафе и не пиво пил, как положено в этот день, а привычно ужинал стаканом йогурта с корнфлексом, он мало ел, потому, наверно, и сохранил не по возрасту подтянутую фигуру, легкость в движениях — просматривал газету и прочел объявление о том, что туристская фирма организует индивидуальные поездки в бывший Советский Союз, по городам России.

Прочел и отложил газету, и ушел из кафе в смятенных чувствах, и долго ходил по праздничным улицам, ощущая неясную тревогу. Ночью он почти не спал, испытывая беспокойство, будто чей-то зов призывал его помчаться навстречу своей молодости.

Он принял решение и уже через две недели был в Москве.

...Те несколько дней, которые он прожил в Москве, ошеломили его ощущением неустроенности и несчастья. На улицах, в метро, в подземных переходах нищие и калеки, женщины с грудными детьми просили милостыню, люди томились возле магазинов, ужасаясь непомерно высоким ценам. И всюду, казалось в самом воздухе, висело глухое раздражение, неясный, но почти ощутимый ропот толпы. Грязь, неубранный мусор, разбитый асфальт, — и среди всей этой бедности, обреченности какая-то бесстыдная наглость бесчисленных коммерческих магазинчиков-палаток, где бросовые, дешевые на Западе товары продавались по баснословным ценам. В центре города на площадях роились люди, торгуя с рук старыми вещами, казалось, вся Москва превратилась в суетливый рынок, в огромную барахолку. Вечером же город будто вымирал: выходить на улицы было небезопасно.

Назойливое ощущение, что эта Москва чем-то похожа на послевоенный поверженный родной его город, в который он вернулся с фронта, не оставляло Краузе: та же обреченность, та же разруха, те же жалкие вещевые толкучки и магазины с непомерно вздутыми ценами. И все же, все же, бродя по Москве, испытывая сложные чувства — смятение, жалость, скорбное недоумение, — Гельмут постоянно ощущал тревожное, трепетное волнение от ожидания того, что ему придется пережить в поселке, где когда-то он прожил незабываемых несколько месяцев, оставивших след на всю его жизнь.

В поселок он добирался долго и сложно: на самолете до областного центра, затем автобусами с двумя пересадками до районного центра и уже оттуда еще одним автобусом до поселка. Дорога измучила его. На самолете надо было лететь часа три, не более, но на аэродроме пришлось ждать около двух суток, то ли не было бензина,

то ли экипажи бастовали, требуя повышения зарплаты. Гельмут томился среди усталых, ждущих вылета пассажиров, переполнивших аэродром. Но нельзя было не почувствовать, что эта терпеливая масса людей, заполнивших кресла, лежащих почти друг на друге на полу так тесно, что нужно было перешагивать через них, только внешне казалась спокойной, а на самом деле накалена раздражением, готовым вот-вот вырваться наружу. Это странное состояние людей — одновременно и покорных и ожесточенных — было всюду: и в переполненных автобусах, натруженно ползущих по разбитым дорогам, и на улицах районного центра, где он ловил попутную машину, но так и не сумел поймать, и снова в рейсовом автобусе, который и довез его наконец до цели.

В автобусах его затолкали, весь многочасовой путь он простоял на ногах, от духоты, тряски, запаха пота и перегретого бензина у него разламывалась голова, но когда он вышел в поселке из автобуса, остановившегося на площади возле кинотеатра, узнал эту площадь, этот кинотеатр, то ощутил как бы удар в сердце. Ничто не изменилось, сейчас, в августе девяносто третьего, все было как тогда, когда в мае сорок второго он впервые ступил на эту землю. Память жила в нем, он безошибочно свернул в узкую улочку и скорым шагом пошел по ней, зная, что еще за одним поворотом увидит дом, в котором прожил долгие и в то же время такие короткие десять месяцев своей столь давней молодости. Вот этот поворот, и вон этот дом. Гельмут остановился в нерешительности...

Он у цели своей длинной дороги, но зачем он здесь, почему он здесь через столько лет, через пропасть времени? И сейчас, когда он так близко от дома, к которому проделал длинный путь, у него на душе спокойно, нет ни волнения, ни трепетного ожидания встречи с той, которую он помнил всю жизнь и почти забыл, он даже лица ее не может вспомнить, есть только усталость от мучительной дороги.

Вот дом, вот забор, тот же и не тот, полусгнившие доски, облупившаяся зеленая краска, запертая калитка; стоит просунуть пальцы в щель, приподнять щеколду, и она откроется, впуская его во двор. И он просунул пальцы в щель и приподнял щеколду машинально, будто привычно: в пальцах жила память этого движения, калитка открылась, но войти во двор он не решился. Ждал, что, может быть, кто-нибудь выйдет из дома, но никто не вышел.

Он стоял, вглядываясь в будто знакомое и совсем незнакомое обветшалое пространство. Поленица дров, бочка с дождевой водой у крыльца, за огородом туалетная будка, покосившийся сарай, в котором урчала свинья, пустая заброшенная собачья конура, куры, отгороженные от сада ржавой металлической сеткой, старые яблони, чьи тяжелые ветви поддерживали многочисленные подпорки.

— Извините, кто есть? — громко спросил он и удивился вдруг охрипшему своему голосу, не дождался ответа и, решившись, вошел во двор. На двери дома висел замок, он постоял на осевшем, скрипучем крыльце и вернулся на дорогу...

...Почему, зачем он приехал сюда, что хочет найти тут? Ту девушку, лица которой почти не помнит? Однако отчего мысль — жива ли она, не уехала ли отсюда куда-нибудь в иные места необъятного пространства своей страны, — отчего такая мысль не приходила ему в голову? Он легкомысленно, с тупой настойчивостью рвался сюда, влекомый не рассудком, а каким-то неясным зовом давней молодости, капризом старости, стоящей на пороге смерти. Даже если она жива, даже если не уехала из этих мест и он, возможно, встретит ее, что принесет ему эта встреча? Всю жизнь он не отличался трезвостью, взвешенностью поступков, до старости жила в нем некоторая мальчишеская легкомысленность, превратившая его со временем в беспокойного чудака, живущего не столько рассудком, сколько внезапными душевными порывами. И в то же время зов души, заставлявший часто поступать его будто

бы вопреки здравому смыслу, почти никогда не обманывал его. Зачем он здесь? Ни за чем, и в то же время он, наверно, должен был появиться тут, чтобы соединить зыбкую временную связь между прошлым и настоящим, между молодостью, началом своей жизни, и ее концом, своей старостью. Всякая жизнь, как стихотворение, подчинена законам ритма, всякий ее отрезок должен, не может не рифмоваться с предыдущим или последующим периодом. Нет никакой логики в его нелепом, наверно, появлении здесь, и в то же время в этом поступке была строгая закономерность, не поддающаяся элементарным житейским объяснениям. Когда-то молодой, страдающий Вертер метко заметил, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь, но и взрослые совсем не лучше детей, они ощупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же часто не видят они в своих поступках определенной цели.

Гельмут усмехнулся своим мыслям и вышел со двора на дорогу. Он спустился к реке. Найти место, где любил ловить рыбу, было невозможно: прежде быстрая прозрачная река, в которой кружились мальки, отражалось небо и прибрежные кусты, обмелела, стала мутной, течение гнало белую, будто мыльную пену. На противоположном берегу, где раньше было бесконечное поле, заросшее желтыми цветками одуванчиков, быстро превращавшимися в легкий белый пух, там строилось какое-то похожее на ангар здание. Длинная шея подъемного крана зависла над грузовиком с тяжелыми бетонными блоками, тархтел мотор, кто-то невидимый что-то сердито кричал.

Почему вдруг он вспомнил так ярко то поле в золотых одуванчиках, светящихся на солнце, пушинки, кружащиеся на ветру подобно метельному снегу? А там, в Германии, если что и вспоминалось, так другой снег, настоящий, сбивающий с ног, и колющий, царапающий лицо мороз, пронизывающий до самых костей. Не было тогда большего удовольствия, чем сидеть возле горячей печки, млеть от жара и чувствовать на себе пристальный взгляд Риты. Она таилась и будто бы не смотрела в его сторону, но он всем существом ощущал ее присутствие рядом с собой, ее дыхание.

От реки Краузе снова поднялся в поселок и, попетляв по его улочкам, вышел к небольшому базару, где на торопливо сколоченных мокрых от дождей прилавках несколько женщин торговали зеленью. Это было убогое зрелище: длинные полупустые прилавки и молчаливо-угрюмые, с замкнутыми лицами женщины, смотрящие на него без всякого выражения — то ли видели, то ли нет. Вот уж что отчетливо сохранила его память, так это лица женщин в русских военных деревнях. Усталые, скорбные, замкнутые лица, все такие разные и все похожие друг на друга, объединенные одним выражением терпения и печали, словно скорбящий лик Божьей Матери на загадочных своей одухотворенностью русских иконах. Нигде и никогда он не встречал столь выразительных, столь открытых и столь же закрытых лиц, как здесь, в России. Они словно хранили древнюю тайну, вечную мудрость, готовые без ропота принять все, что начертано судьбой.

Ноги его сами привели к церкви Рождества Богородицы, еще более обветшавшей, заросшей внутри и снаружи кустами и крапивой. Стены словно обклеены были сырым зеленым хилым мхом, казалось, они до сих пор пахли копотью и машинным маслом. Валялся остов ржавого самолетного крыла, а из него каким-то чудом росла тонкая березка, добравшаяся уже почти до верху, до самого разверзшегося купола. Из голубого небесного пространства падал на нее острый солнечный луч. Он скользил по обломку фрески, на котором виднелся освещенный солнцем остаток Господней длани с вытянутым перстом. Обломок раскачивался, но не падал.

Гельмут вспомнил: тогда, в тот давний страшный день, выкарабкиваясь из-под обломков, первое, что он увидел, — этот перст Господний, указывающий в неопределенное пространство словно в вечность, словно изгоняя из храма.

Гельмут сразу все вспомнил: и свой ужас, и перекошенное лицо Риты, ее отчаянный крик, ее слезы, когда она, царапая руки, откапывала его из-под обломков, и свою радость, нежность свою при виде этих слез на любимом лице.

Рядом с березкой белым цветом цвел куст шиповника. Гельмут хотел сорвать его, но, суеверно испугавшись, не тронул. И тут же передумал, сорвал веточку, уколол пальцы о шипы, и, аккуратно расправив листья и цветок, положил в записную книжку.

Он вышел из церкви, снова побрел по поселку.

Удивительно, но казалось, что время, изменившее весь мир, будто ничего не изменило тут, будто застыло или вернуло вспять военную затаенность, ощущение горя, обреченности, нищеты и разрухи. Словно здесь война и не окончилась. Или это ее дыхание воскресло в памяти бывшего офицера Гельмута Краузе? Или на самом деле было так, и ощущение это не ложно, оно реальность, а не игра воображения?

Он снова вернулся к заветному дому. Сейчас во дворе перед крыльцом женщина стирала белье в длинном железном корыте. Движения ее были медлительны, она дышала трудно, открытым ртом, потрет пухлыми руками белье и остановится передохнуть. Она была грузна, одутловата.

— Здравствуйте, — сказал он.

Она подняла голову, посмотрела на него, пристально посмотрела, сказала: «Здравствуйте» и снова продолжала стирать.

Эта старая, болезненно полная женщина не могла быть Ритой, потому что как бы человек ни изменился с возрастом, все же должно в нем остаться что-то неповторимое, жест, голос, взгляд. В этой женщине не было ничего, что бы напомнило ему прежнюю Риту, и однако это была она, он не увидел, он почувствовал это, ощутив внезапное сердцебиение. Узнала ли она его, он не понял, потому что ничего не отразилось на ее лице.

— Извините, пожалуйста, — сказал он пересохшим ртом, ему вдруг стало трудно произносить русские слова, у него никогда не было такой картавости, такого акцента.

Не переставая стирать, она смотрела на него.

— Вы есть Рита? — спросил он. Она долго молчала, наконец ответила, не отрываясь от корыта:

— Я.

— Я есть Гельмут, — сказал он, — Гельмут Краузе. Вы узнали меня?

Господи, что случилось с ним? Язык едва ворочался, рот свело, будто он наелся чего-то кислого, вяжущего.

— Я есть немецкий господин офицер... Во время война жил в этом доме... Вы есть Рита... Я есть Гельмут. Вы помните меня?

— Помню не помню, какая разница, — спокойно, почти бесстрастно сказала она, выплеснула воду из корыта, выжала белье и, с трудом передвигая отекавшие ноги, повесила его на веревку, протянутую вдоль забора над пустующей собачьей будкой. Подошла к калитке, откинула щеколду.

— Что ж, проходите в дом, — устало и скорее неприязненно, чем любезно, сказала она.

— Danke, — проговорил он, смутился, что произнес это по-немецки, и повторил по-русски: — Спасибо.

Войдя в дом, он сразу узнал все тут, и не только потому, что на тех же местах, что и прежде, стояли стол, высокая кровать со взбитыми подушками, застеленная кружевным покрывалом, висели фотографии, целая портретная семейная галерея

на стенах, закопченные иконы в красном углу, выцветший желтый абажур под толчком, слоники на комод, треснувшее мутное зеркало на нем, цветущая герань на подоконнике и муха, отчаянно бьющаяся в оконное стекло... Бог мой, эта муха, он хорошо помнит, отчетливо помнит, так же отчаянно жужжа, билась в окно, когда он впервые вошел сюда в давнем мае сорок второго года.

Да, именно это жужжание, запах старых бревен и легкой гари, словно нерассеявшийся дым, исходящий от холодной печи, дух влажного, недавно вымытого пола, — именно это, а не вещи, стоящие на прежних местах, напомнило ему многое, даже то, что было забыто.

Здесь будто остановилось время. Он, Гельмут, стал стар, в женщине, стоящей сейчас с ним рядом, ничего не сохранилось от прежней Риты, а дом был тот же, дом берег дыхание прошлого и память о тех днях, которые прожил когда-то тут Гельмут. Он узнал его, а дом узнал Гельмута, встретив теми же звуками, запахами, тем же дыханием. Но, почувствовав это, Гельмут снова ощутил то, что, дойдя наконец до цели своей длинной дороги, испытывает неловкость и недоумение, зачем он здесь, усталый, голодный, посторонний человек.

Сегодня воскресенье, сейчас, как обычно в этот день, он должен был бы сидеть у могилы Анны. Каждое воскресенье он приходил в ее вечному пристанищу, туда, где предстояло скоро и ему найти покой. А он почти две недели слоняется по белому свету, ища неизвестно чего за тысячи километров от родного дома.

— Проходите, садитесь, — сказала старая женщина, в которой не было ничего, ну совсем ничего от той Риты, на свидание с которой он и явился сюда. Впрочем, что он собирался увидеть? Прежнюю, не тронутую временем? Гельмут вздрогнул от ее хриплого, отстраненного голоса.

«Прости меня, Анна», — подумал он сентиментально, почувствовав нечто похожее на угрызения совести. Глаза его наполнились слезами. Он присел к столу, взглянул на Риту и смущенно, почти виновато, улыбнулся, устало вздохнув. Она села напротив, подперев голову руками, пристально смотрела ему в лицо, почти без всякого внешнего выражения. Нужно было, наверно, о чем-то говорить, что-то спрашивать, но ничего не хотелось ни говорить, ни спрашивать. Чужие, случайные, старые, одинокие люди сидели друг против друга, ничто их не связывало, ничего не было между ними ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

Было тихо, неловко, напряженно. Жужжала муха, тикали часы на стене, старые знакомые «ходики» с тяжелыми гириями на длинной цепи. Она встала, принесла из-за занавески, отделявшей комнату от маленькой кухоньки, чугунок с еще теплой картошкой, сваренной в «мундире». Поставила на стол:

— Утощайтесь. Другой еды, извините, нет.

— Данке. Спасибо, — сказал он, взял одну картофелину, долго, неловко счищал с нее кожицу, съел, спросил:

— Как вы жил-поживал?

«Как жил-поживал?» — она молчала, смотря на седого человека, сидящего перед нею. У него были розовые, гладко выбритые щёки, пухлые губы; редкие, зачесанные назад белые волосы и лохматые, как две черные гусеницы, брови. Упитанный, благообразный незнакомец, в котором все — лицо, одежда, слова, произносимые на ломаном русском языке, все было чужое, нездешнее, добротное и почему-то вызывало в ней раздражение, неприязнь. Все было незнакомо, чуждо, все, кроме, может быть, выплывшего из небытия имени Гельмут Краузе, которое принадлежало другому человеку, не этому старому иностранцу. Да и был ли тот Гельмут Краузе?... Не было, никогда не было, и этот человек ошибся, она не знает его.

«Как жил-поживал?» Хорошо жил-поживал, замечательно, разве не видно, как жил-поживал? В страхе «жил-поживал» всю жизнь, страдая, храня свою тайну и страхом расплачиваясь за грех — грех ли?! — молодости. Одинокó жила, в нищете... Что ответить этому господину, неизвестно зачем пришедшему из другого мира, одаривающего нашу землю милостыней. Затем пришедшему, чтобы увидеть ее страдания, ее боль и нищету?

— Жила-поживала, — ответила она устало, глядя на него прищуренными глазами: — Стоим с удочкой у речки, ловим рыбку, а рыбка не клюет, но мы стоим, ждем, надеемся...

— Да, речка грязный, — сказал он, — ходил, видел, очень мутный речка.

Она горестно усмехнулась, помолчала, спросила:

— А как в Германии с рыбой?

Было тягостно вести этот вымученный разговор. На душе было пусто и холодно, и уже хотелось поскорее уйти отсюда, забыть этот день и все нелепое путешествие в свою молодость. Нет, на ее лице не равнодушие, не бесстрастность, а скрытые в напряженных, печальных глазах страдание и боль. Она тяготится этой встречей, она ждет, когда он уйдет. Он для нее не друг, а враг. Почему? Он поднялся из-за стола, сказал:

— Автобуз пора, — и пошел к двери. Она шла рядом с ним к калитке, тяжело передвигая опухшие ноги, переваливаясь с боку на бок, хрипло дыша. С той стороны, с дороги, к забору подошел человек в черной грязной телогрейке, и, увидев его, она на мгновение приостановилась, будто даже отступила на шаг.

— Соседушка, — крикнул этот человек, — пиво привезли, дай тридцатник!

— Где я возьму? — сказала она, метнув на Гельмута быстрый взгляд. — Уходи, не позорься перед заезжим гостем...

В лице ее, в движениях появились почти униженность, суетливость. Гельмут понял, что именно это затаенное выражение испуга, приниженности и было во всем ее облике, когда он подошел к дому и она подняла от корыта голову.

— Отдам, похмелиться надо, помру ведь, пожалей соседа...

— Нету, — беспомощно, с покорной обреченностью, виновато сказала она.

Он махнул рукой, пробормотал зло:

— Все у тебя есть, фрау-мадам...

И словно только что заметил Гельмута, сказал:

— Десять рублей одолжи, гражданин хороший.

— Оставь человека в покое, Егор, постыдись, — тихо, почти шепотом воскликнула Рита. — Уходи, слышишь, не позорься.

Она обернулась к Гельмуту, лицо ее, покрывшееся красными пятнами, выражало такое отчаяние, что Гельмут стыдливо опустил глаза от неловкости, от жалости к ней.

— Счастливой дороги, — торопливо сказала она, — всего доброго.

Повернулась, пошла к дому.

— Погоди, фрау-мадам, — крикнул Егор и побежал за ней. Гельмут не прошел и полдороги до поворота на площадь, как услышал за спиной торопливые шаги и, обернувшись, увидел человека, которого Рита называла Егором.

— Будь человеком, мужик, — сказал Егор, от него пахло вином, — одолжи десятку.

— Что есть «десятка»? — сухо спросил Гельмут, его раздражал этот человек всем своим неряшливым видом, своей развязностью, бесцеремонностью.

— Десять рублей значит, мужик, — сказал Егор. — Ты с неба свалился?

— Я Германии свалился, я есть немецкий зольдат, во время война был здесь, — раздражаясь, ответил Гельмут, достал бумажник и вынул десять рублей.

— Вот, значит, кто ты есть... А я русский зольдат, фашистов много бах-бах, — зажав деньги в кулаке, сказал Егор, — эта десятка пусть будет в благодарность, что тебя не подстрелил... Или считай это гума... тьфу, черт... гуманитарной помощью зольдату России.

Он натужно засмеялся, сплюнул и свернул к рыночной площади.

Автобус Гельмут ждал недолго. На этот раз были места, и он примостился у окна. На душе у него было горько, смутно, он чувствовал себя так, будто только что пережил какую-то неприятность, нечто тяжкое и болезненное, или заглянул в щелку туда, куда не надо, нельзя заглядывать. От усталости, от голода ли у него давило сердце, он потер грудь ладонью, такое движение обычно помогало ему, но сейчас не помогло, и он печально подумал о доме, где прошла его жизнь, об Анне-Аннете, ждущей его в могиле под тенью молодой липы, в ветвях которой гнездятся по весне крикливые птицы.

Подумав так, он с тоской, с особой остротой ощутил свое земное одиночество, свою старость, нелепость и бессмысленность всего того, что произошло с ним сегодня. Раздвоенность жила в нем. Эта раздвоенность была и в старой женщине, носящей имя Рита, в ее соседи, бывшем солдате Егоре, томящемся от желания выпить пива. Гельмуту было жалко себя, да и их тоже почему-то было жалко, все вокруг вызывало в нем жалость своей неустроенностью, зыбкостью; даже на полях, которые тянулись за окном автобуса, на перелесках и деревьях лежала печаль. Шел мелкий дождичек, окно запотело... Он понял, как сильно устал в этой стране, как охолодала его душа от здешней зыбкости, неустроенности, от здешней холодной печали. Холодно... Господи, скорей бы домой, в родное пристанище, к своему небу, чтобы отдохнуть душой, забыть этот тяжкий, беспокойный сон, принесший ему не успокоение, а еще большее ощущение одиночества. И в то же время он знал, что ЭТО забыть нельзя, невозможно забыть. Даже во время войны — вот ведь странно! — он не чувствовал такой душевной пустоты, обреченности, такого холода, как сейчас. Тогда, во время войны, все здесь, несмотря ни на что, дышало уверенностью, вечностью, все казалось навсегда и в природе и в людях. Оттого, может быть, что были мы молоды... Были... А ныне... Все будто временно, зыбко, неустойчиво, тревожно, словно дурное сновидение.

Как случился этот дурман? Куда он, Гельмут Иоганн Краузе, попал? Куда его занесло? В какое-то иное пространство, где царствует абсурд? Он хотел найти свою молодость, но только потерял ее, пронзенный здешним холодом.

...Вернувшись домой, он написал свое завещание, к которому приложил в конверте засушенный белый цветок шиповника.

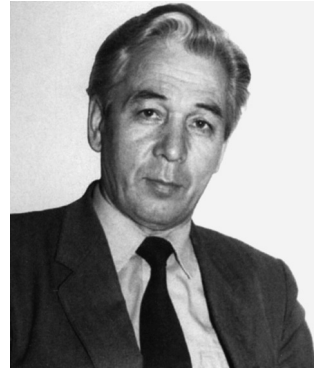
Еще пять долгих лет он ждал смерти, живя со странной, неизбывной виной — перед кем? За что? Но горькая эта вина жила в нем до последнего дня. Он ждал смерти, каждый вечер повторяя: «Komm, Jesu, komm» — «Приди, Иисус, приди, моя плоть устала...»

Письма из Бурзьяна

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

*Георгию Кацерику —
записному бурзянцу, врачу и поэту*

Замечает снегом горы,
ветер резок и упруг...
а тайга, как волчья свора,
воет исподволь вокруг.
Заковало стужей губы
и смежит ресницы льдом, —
на заимку, к лесорубам,
мы стихи читать идем.
Неизвестных три поэта,
но мечтающих, коль жить,
непрерменно хоть полсвета,
хоть полсвета покорить.
А пока, презрев усталость,
непогоде вопреки,
перевал за перевалом
отбиваем у тайги.
Уминаем снег ногами —
не выдерживает наст...
За лесами, за снегами
ждут давно ребята нас.
Отогреем чаем губы,
не напиток — благодать,
и пойдем со сцены клуба
с умным видом толковать:
о мечтах,
о вьюге зычной,
что дороги замела,
и, конечно, как обычно,
про сердечные дела ...
Будут нам ребята хлопать,
угощать нас табаком,



вместе

Гафуров Мадриль Абдрахманович родился в с. Мраково Кугарчинского района РБ. Журналист-международник, поэт. Публиковался в СМИ РБ и РФ. Лауреат премии Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры Башкортостана. Член Союза журналистов.

и про свой таежный опыт
 нам расскажут с юморком...
 И пойдем мы лесорубов,
 принимая, как удар,
 их слова,
 что суть — не в кубах,
 а в поэзии труда.

СТИХИЯ

Снега, снега ...
 Охвачен горизонт
 бушующими бешено снегами,
 но у меня в Бурзяне свой резон, —
 иду как ошалелый в снежном гаме.
 Эй, ты, ветрище,
 распояшься,
 дуй,
 одно учти:
 ты надо мной не властен —
 я вопреки тебе
 через тебя иду
 и не сойду с пути —
 бушуй, ненастье!
 Бушуй, стихия, —
 я плюю в глаза,
 в твои глаза, отлитые из мрака,
 я не сойду,
 не поверну назад
 с однажды мною выбранного тракта.
 Сквозь мглу твою,
 сквозь сатанинский снег
 я вижу свет —
 за далями все ближе ...
 Все раны,
 что сейчас наносишь мне,
 потом, как пес побитый, ты залижешь.
 Не страшен мне державный твой статут,
 ведь после бури облака редуют...
 Стихия что?
 Она — лишь образ тут,
 а у стиха — своя идея.

Бурзян. Зима 1968 года, конец «хрущевской оттепели».

P.S. Написано после заседания бюро Башкирского обкома КПСС, где меня бичевали, обвиняя в «антисоветчине», «аполитичности» и «беспринципности при оценке политически вредных стихов» членов литобъединения «Метафора», которым я руководил тогда.

ИСЦЕЛЕНИЕ

В сердце боль... Или только мне кажется —
разобраться пока не могу:
на подворье заброшенной пажити,
исцеляюсь в глухом логоу.
Словно в сказке, лесная халупа
приютилась над речкой Кужой, —
может быть, поступаю глупо,
только знаю: я здесь не чужой.
Утонуло в сугробах зимовье,
стонут волки по лунным ночам,
здесь по сердцу покой и безмолвье,
в стороне от коварных начальств ...
Ко всему мы должны быть готовыми,
много подлости в мире и зла ...
Постигаю себя здесь по-новому,
ну а ты — как в своих Иргизлах?
Сорок верст до глухой автостанции,
ни дорог, ни попутчиков нет,
изредка лишь доходит по рации
до меня чей-то дальний привет.
Нет здесь спеси пашей, ни их гонора,
а природа — она как родня,
отлучили с тобой нас от города,
но свободу у нас не отнять.
Злые люди в Уфе нас обидели,
оболгали и имя мое,
исцеляюсь я в этой обители,
исцеляю здесь сердце свое.
Здесь, конечно, не юг и не Арктика,
и халупа моя — не дворец, —
там во мне бичевали романтика,
здесь во мне утвердился борец.
Спит урман под тяжелыми тучами,
а мороз — утомительно лют,
одинок в глуши этой мучаюсь,
и страдаю, и, значит, люблю...
Я не рвусь ни в пажи,
ни в великие,
только знаю цену себе, —
пусть паша на тальянке пиликает,
мне по нраву игра на трубе.
Чтоб звучала она по округе,
призывая на труд и на бой,
чтобы пела о дружбе и друге,
и о юности нашей с тобой.
Может быть, не совсем еще понял я,
только знаю отныне, что жизнь —
не мечта о жар-птице непойманной,

надо строить ее безо лжи.
Не подвластен ничьим приказам,
и тебе, конечно, не лгу:
от пашей,
как от черной проказы,
исцеляюсь в глухом я логоу.

Бурзян. Зима 1968 года, конец «хрущевской оттепели».

КУЖА...

Женщине, которую люблю

Над черным урманом бесшумно кружат,
как белые мухи, снежинки,
а я изнываю у речки Кужа,
в чащобах бурзянской глубинки.
Отсюда к тебе мне не скоро дойти,
дороги укрыты снегами,
и кажется мне, что не версты пути,
а годы лежат между нами.
Кто знает, быть может,
я сам стал виной,
что чувств наших высохло поле,
живу, окруженный седой стариной,
как пленник по собственной воле.
Живет со мной рядом
хромой старый пес,
приблудный,
не умный, не глупый,
глухое ущелье да горный утес
мою окружают халупу.
Бывает, косою пробежит под окном,
глухарь прилетит на березу,
и снова окрестность, объятая сном,
навевает забытые грезы.
Нередко я волчий в ночи слышу вой,
и, странно, он мне симпатичен,
вот так очарованы были с тобой
когда-то концертом мы птичьим.
Живу
как под ветром поющий курай,
ни в чем, ни к кому не в обиде...
Но что же меня занесло в этот край,
в забытую Богом обитель?
Куда,
от кого,
не пойму,
я бегу —

как странник, не знающий брода,
стою
отрешась
на пустом берегу,
а воды текут словно годы.
Бушуй весной,
плавно в летние дни,
незримо, подспудно зимою,
тревоги и боли людские они
уносят, как тайну, с собою.
Быть может, сюда я попал за грехи,
беспутно блуждая по свету?
И вот на досуге кропаю стихи
о прошлом,
которого нету?
А что впереди?
Кто подскажет ответ,
где грань между тьмою и светом?
Неужто, как в прошлом,
и в будущем нет
на эти вопросы ответа?
Чего же ищу я в таежной глуши,
смыкаясь с былыми веками?
На трепетном дне изможденной души
таится твой образ...
Как камень.

Бурзян, декабрь 2005 года

Что там за холмом?

Исповедь неудачника

(Окончание. Начало в N 4)

В выходные я уходил в горы и по козьим тропкам выбредал к развалинам черкесских саклей, лакомился черешней, яблоками и даже одичавшим виноградом. И эти печальные останки давно минувшей жизни, развалившиеся стены, каменные заборы, обвитые плющом и виноградником, зарисовывал в альбом.

Однажды, спустившись в свой барак, я не застал на обычном месте старика Стефанова. Сказали, что увезли в больницу, вроде парализовало. Пошел проведать. Нянечка Валя, узнав, что я пришел к Стефанову, сказала, смачно посмеиваясь:

— Ой, такой чудной старик. Мне в любви признался, стихи читал. Иди вон в ту дверь.

Стефанов сидел на койке. Увидев меня, он заулыбался и сказал:

— Теперь я живу здесь. Валечка заботится обо мне. — Правой рукой приподнял левую, подержал, опустил, рука упала как неживая. — Кондрашка.

На голову его была накинута какая-то тряпка. Войдя в палату, я не сразу понял, что это и зачем. Присмотревшись, увидел мокрую жеваную мешковину, половую тряпку, рваные, измочаленные края которой свисали на шею, на уши, на лицо старика. Я позвал Валю. Она сняла мешковину и не очень грозно напустилась на соседей Стефанова по палате:

— Какие вы дураки, а! Вот пожалуйсь главврачу..

В ответ больные заржали. Трое молодых парней. Видно, выздоравливающих.

— Как вам не стыдно издеваться над пожилым больным человеком! — сердился я. Ответа не последовало.

— Толя, ты не ругай их. Они хорошие ребята, — сказал Стефанов улыбаясь.

Я ушел из больницы расстроенный. Никак не выходила из головы половая тряпка. На голове Стефанова, на его черепе с изношенными мозгами, набитыми лучшими творениями разума, ради которых стоит родиться и жить, — грязная половая тряпка...

Через три дня, купив килограмм яблок, я снова пришел в больницу. На вопрос, как чувствует себя старик, Валя ответила:

— Помер твой старик. Вчера похоронили.

Я пошел на кладбище. Оно было на узком пяточке над Мзымтой. Здесь хоронили только барачных жильцов поселка, строителей, погибших в авариях, пьяных драках и умерших от простуды в сырую южную зиму, — ни оградок, ни памятников, кое-где деревянные кресты или просто холмик. Немало было и свежих могил. В одной из них покоился старый человек, который во времена оны жил в Париже и был доволен своей жизнью.

С Борисом познакомился тоже там, в Красной Поляне. Он был командирован из Москвы для установки какой-то автоматики в турбинном зале строящейся ГЭС. Вместе с таким же, как и он, командированным инженером жил в финском домике по соседству с нашим баракком. По выходным молодые люди из соседних домиков,

я из барака собирались у Бориса. Умеренно пили абхазское вино, трепались пусто-порожно, а Борис, как он выражался, «охмурял» чертежницу Тамару Журавлеву, которая мне тоже нравилась. «Охмурял» он так, как потом всех своих девушек и жен, — перебирал струны гитары и пел надтреснутым голосом: «Там, в садах Азербайджана, где айва нежней шафрана, ждет меня Зулейка-ханум». Это я сейчас вспоминаю его иронично, а тогда он, москвич, инженер, казался человеком на десять голов выше меня по всем статьям. Главное, он был потрясающе начитан. Знал писателей, читал те книги, о которых я слыхом не слыхивал. Он, как и я, был настроен романтически. А как же: Кавказ, под каждым каштаном мерещится косматая папаха Казбича, по кремнистой дороге в сторону Адлера проскакал поручик Лермонтов, а тут еще и Тамара.

Лунными вечерами мы с Борисом прогуливались по дороге на Адлер над обрывом бурной Мзымты. Иногда уходили далеко. Говорили о высоких материях — вернее, говорил Борис, а я слушал и на ус мотал. Честно говоря, у меня, кроме войны, чем Борис не интересовался, ничего и не было. А он со мной, человеком, по словам Стефанова, позорно необразованным, почему-то любил прогуливаться над обрывом и болтать...

Потом, когда я встретил Зою и все свободное время тратил на то, чтобы увидеть ее хотя бы издалека, если не удастся прийти к ней домой, я уже редко заходил к Борису. Однажды, мучимый безответной любовью, выпил побольше абхазского вина «Изабелла», которое продавалось в буфете клуба, и зашел к Борису. Стал рассказывать о своей любви к Зое и заплакал.

— Толя, ты плачешь от любви к женщине! — удивился он. — Ну это же здорово — плакать от любви, когда плачет мужчина, юноша! Это же хорошо! Мне бы твои слезы, Толя!

«Охмурить» Тамару ему так и не удалось: она была местная, в Красной Поляне родилась и жила с родителями, людьми верующими и строгих нравов. Борис с гитарой и умными разговорами «причалил» к Тоне из управления, «охмурил» ее, пожил с ней как с законной женой и однажды, когда Тоня была на работе, тайком смылся в свою Москву. Когда я его провожал, он спросил:

— После окончания строительства куда собираешься ехать?

Я ответил, что, наверное, в Городец, где на Волге начиналось строительство новой ГЭС, куда уедет управление, а вместе с ним и Зоя.

— Понятно, — ответил Борис. — По дороге заезжай ко мне, вот мой адрес. Это рядом с метро Сокольники. Поживешь у меня, Москву посмотришь. Только Тоне не говори...

«Москва. Как много в этом звуке...» В детстве и отрочестве в моем сознании не было этого звука. Я знал только башкирское слово «мэскэу» — это петля из конских волос, с помощью которой мы ловили задремавших у берега щук, и название столицы на нашем языке. Потом, увидев на карте загогулины петляющей Москвыреки, в самой большой петле которой центр города, я сообразил, что, наверное, название столицы происходит из топонимии здешней местности. Город или деревня на петляющей реке или в петле реки. Но ведь слово «мэскэу» — тюркское. Не говорит ли это о том, что до прихода славянских племен здесь, по соседству с угрофинскими племенами, жили тюркоязычные народы, то есть предки современных татар и башкир? Вероятно, в том месте, где сейчас стадион, в самой петле стоял Мэскэу-аул. Не зря же современные московские татары и мишары считают себя коренными москвичами. А современное название — это всего лишь трансформация корневого «мэскэу». Мэскэу, Москов, Москово и Москва. Интересно, что в современных

иностранных языках, в немецком, английском и других, нет слова «Москва», а сохранилось древнее «Москау». Так что Борис пригласил меня заехать по дороге в город или, вернее, в большую деревню моих далеких предков — Мэскэу.

Зачем мне нужна была Москва? Жить в ней я даже не мечтал, да и кто меня пустит в город, где живут вожди, великие поэты и художники? Даже образованному человеку Стефанову дорога туда была заказана. А мне, позорно неграмотному работяге...

Советского человека прежде всего интересовали Красная площадь, Мавзолей с нетленным телом Ильича. А меня, наслушавшегося от Стефанова о московских музеях, о великих картинах, — Третьяковка. Но не было и не могло быть честолюбивой цели покорить Москву, как покоряли Париж герои Бальзака. Тем более что тогда о Бальзаке и его «Человеческой комедии» я слыхом не слыхивал.

Бориса я нашел на Малой Остроумовской улице, неподалеку от парка Сокольники. Этот район в те послевоенные годы оставался еще деревянным, ветхим. Не во всех домах был газ, не было водопровода и канализации.

На меня, хоть и провинциала, но уже повидавшего и пережившего всякое, видевшего Киев, Львов, немецкие города, Москва не произвела особо потрясающего впечатления. И люди тогда еще были более провинциальные, нежели жители теперешней столицы, которая, подкрасив фасады, повесив яркие светильники на центральных улицах, притворяется европейским городом. Красную площадь с Мавзолеем я знал по снимкам и фильмам, мимо Ильича прошел без тошнотной тоски в груди... Другое дело — Третьяковка: Суриков, Репин, Шишкин, Левитан. До многих других доберусь потом, живя в Москве и став завсегдаем музея.

Когда уже собирался уезжать, Борис неожиданно сказал:

— Толя, ну куда ты едешь в эту дыру? Я бы на твоём месте остался в Москве. Везде требуются рабочие. Устроишься на работу — дадут общежитие.

Мать Бориса Лидия Алексеевна одобрила. Недавно встретился с женой Бориса, уже покойного, Ириной Михайловной, — разговорились, вспомнили Бориса Савельевича, Лидию Алексеевну (Борис еще не был женат на Ирине) и удивились тому, что я так легко стал москвичом. И то правда. Сейчас, в наш жестокий век, кто прописал бы на своих пятнадцати квадратных метрах заезжего провинциала, когда даже родственников на порог не пускают...

...Прописавшись временно в развалюхе Бориса (в милиции спросили только: «Не алкоголик, не хулиган?»), я устроился фрезеровщиком на завод имени Маленкова, перешел в общежитие. Теперь в этом огромном городе, названном в шутку большой деревней, в городе, который не верит слезам, у меня была своя кровать. Потом я убедился, что Москва встречает заезжего провинциала как мачеха, но, увидев и поняв, что провинциал человек способный и старается жить и работать постоличному, добреет к нему как родная мать. Но годы и много сил, и физических и душевных, требуется, чтобы человеку, привычному к воздуху зеленой долины, вжиться, притереться к жизни вечно торопящегося, озабоченного, задерганного и сердитого города...

Так я благодаря Борису и, потом пойму, правильному выбору (куда — в Городец, ближе к Зое и безответной любви, или начать новую жизнь в столице?), я оказался у самого подножия горы, какой высилась моя предстоящая московская жизнь, маня своей сияющей вершиной, или у тесных врат входа в эту манящую неведомую жизнь.

О моей работе на арматурном заводе и жизни в бараке, где более десяти пьющих, курящих шаромыжников, об увольнении и прочих злключениях моих я уже

писал в двух повестях, тоже, в общем, автобиографических — «Гегемон» и «Загон». О том, как ликвидировали завод и как меня, уже не востребованного на новом предприятии в старых стенах завода, выбросили на улицу, отобрав мою кровать в общаге. И о том, как я, оставшись без работы и жилья, три месяца безрезультатно пытался восстановить московскую прописку, и о том, что мне помогло вернуть её.

А пока, вначале, у подножия или у тесных врат, нужно было выбраться из болота позорной необразованности и элементарной неграмотности. Я ведь по совету Стефанова в Красной Поляне второй раз в жизни окончил семилетку. Правда, ничего не смыслил в математике, «математическое полушарие» моего мозга было с детства запущено, и директор школы, добрая женщина, видно, пожалев бедолагу, подложила мне уже решенные примеры. И вот теперь в Москве самоуверенно сел за парту восьмого класса. Снова математика. И посложнее. В контрольных работах не решил ни одной задачи. А в сочинениях на заданную тему опять двадцать орфографических ошибок, хотя писал их уверенно, даже запятые расставлял правильно. Учительница возвращала мои сочинения с теми же словами, с какими возвращали мои изложения в Красной Поляне: «Содержание хорошее, но неграмотно». И с неизменной отметкой «двойка». Учительница мне сказала: «Вы безнадежно неграмотны, вам надо идти в пятый или в шестой класс и начинать с азов».

Нелегкая работа на фрезерном станке, часто без выходных — план горел, после работы — в школу, это когда работал в утреннюю смену, а когда в вечернюю — неделя пропущенных уроков. Просил, чтобы перевели в одну смену, — слышать не хотели, за вечернюю смену отработывал ночью, подряд две ночные смены, днем в общезимитии не поспишь, исхудал — кожа да кости, постоянно болела голова. Так промаялся до нового года. Не спрашивали, к доске не вызывали, сидел, что-то записывал в тетради, засыпал на последних уроках, а после каникул мне сказали: «Зачем ходите, вас же отчислили, идите в шестой класс». И я перестал ходить, перешел на чтение книг.

Осенью снова сунулся в восьмой класс. Просидел до нового года. Снова отчислили за неуспеваемость. Посоветовали идти в пятый или в седьмой класс. Что это такое?! Неужели у меня такая уж дубовая башка? Да, травмы войны, переутомление, рассеянность мыслей, исподволь подкрадывающаяся болезнь... Но не настолько уж я туп... Если бы учитель сел рядом со мной за стол и спокойно, толком объяснил бы, что если перед скобками меняется знак на противоположный, то и в скобках меняется. Но кому я был нужен... Или вот эта орфография. Буквы «е», «и» или, будь он не ладен, мягкий знак. Говоришь — пропадает где-то под языком, пишешь — тоже куда-то исчезает. В башкирском и татарском языках нет этого знака после буквы «л». Его звучание зависит от того, какая буква пишется или произносится перед ним. «Кил» и «кызыл». Хотя русскому народу, придумавшему этот трудный язык, виднее...

Нет худа без добра. После ликвидации завода, с трудом, после трехмесячного мытарства, восстановив прописку, вернув кровать в том же бараке, зиму проработал кочегаром в котельной своего барака. Сутки отдежурил, двое суток гуляй, рванина. Я, конечно, не гулял, а засел за учебники. Перерешил все примеры из учебника Киселева, переписал все диктанты из сборника, попросив диктовать какого-нибудь доминошника. Анашкин, сосед по бараку, токарь, сказал: «Брось ты это, не выйдет из тебя профессора. Век учись — дураком помрешь».

Весной прочитал повесть Чехова «Степь», и нахлынули воспоминания. Деревня, горы, леса, проселки за деревней. Как я подростком ездил по этим проселкам на телеге, пахнувшей дегтем и сеном, и, как и Егорушка, боялся грозы, как я любил желтоволосую девушку, которая давно уже замужем. Я еще не знал, что тоска по

родным местам называется ностальгией. И мне сиротски, болезненно захотелось вернуться туда, откуда ушел без сожаления, думая, что никогда не вернусь. Ностальгия привела меня в Измайловский парк, где, я слышал, весной на сабантуй собираются московские татары и башкиры. Увидев борьбу, слушая татарские гармоны напевы (на саратовской гармонике-двухрядке наяривала пожилая татарка) и татарскую, почти родную речь, умилился до слез, и ностальгия, как болезнь, обострилась. И утвердилась мысль о том, что если женюсь, то только на своей — башкирке или татарке. Правда, и некоторые русские девушки, с которыми встречался, были согласны связать со мной судьбу — послевоенные, скудные на мужчин годы, я не калека, непьющий, да к тому же начитан, хотя, как и все женщины в моей жизни, они меня не любили — в том смысле, как я понимал тогда любовь.

И вот в Измайловском парке на татарском сабантуе я познакомился с девушкой-татаркой. Толстая темная коса спускалась ниже пояса, в больших карих глазах — отсвет простой и чистой души. Яркий румянец на белом лице. Небольшой рост. Несмотря на темные волосы, она мне понравилась с первого взгляда. Это как будто исполнение моего желания непременно жениться на татарке. Или, может, знак судьбы... Недели две я зааживал в обувной магазин на Преображенке, где девушка работала продавцом, и, дождавшись конца работы, провожал ее куда-то на проспект Мира. Однажды она сказала:

— Не провожай меня.

На мой вопрос почему, отрубил:

— Больше не приходи ко мне.

Привыкший к тому, что женщины меня не любят, я не очень сокрушился и, бровис: «Иди ты, чухаха!», оставил девушку.

Потом узнал, почему она отвергла меня. Девушки на работе ей напели: «Кого ты нашла? Ростом метр с кепкой и рабочий. Ты со своей красотой найдешь жениха получше».

Потом девушка долго не могла понять или разузнать, что означает ругательное слово «чухаха». А я «сдул» его у Владимира Даля. Грязная, значит, замарашка.

Так вот, потерпев неудачу на стезе образования и поражение на любовном фронте, я решил посетить родные края. Кочегар летом был не нужен, я оформил бессрочный отпуск и с жалкими грошами в кармане пустился в путь-дорогу.

Деревня едва выкарабкивалась из военного разора и голода, подростковые дружки одни не вернулись, другие повзрослели и встречали не очень радушно. Шавкат пропал где-то в большом городе, Бальхий — в Тирляне, Талгат сидел в какой-то районной конторе, говорили, что пьет, Апуш подвизался лесником, Раис с покалеченной рукой сидел в пожарке, читал книжки и пьянствовал вместе с женой. А подростки уже после войны парни, готовя себя к мирной колхозной жизни, рубили новые избы.

Но вся окрестная природа была та же, моя, детская, отроческая. И как будто она даже отдохнула, пока хозяйственный мужик-потребитель защищал землю от таких же, как и он, вооруженных мужиков. На лугах травостой по пояс, леса загустели, река кишела рыбой, зверья стало так много, что зимой косули и волки зааживали в деревню. Отдохнувшая пашня и хлеба уродила в тот год на славу...

Зоотехник Карашурин повез меня на горное пастбище в семи верстах от деревни. Много лет спустя я снова ехал на телеге по луговой дороге. Место, куда мы ехали, называется Аен-таш. Что такое «аен», я не знаю, а «таш» — камень, скала. Это небольшая поляна на седловине горы Уралтау высотой около километра. На краю поляны нагромождение высоких слоистых скал, под скалами густые заросли малинника, к камням лепятся вязкие кусты брусники. А вокруг, сколько хватает глаз, — горы, скалы, леса.

До войны, еще подростком, я бывал здесь: наша вторая бригада на Аен-таше косила и убирала сено. Мы, мальчишки, тоже годились в бригадной запарке. Возили волокуши и подгребали за ними. И, чуть освободившись, или если дождь намочил укусы, объедались малиной, поднимались на скалу или заглядывали в небольшую пещеру под скалой. Несмотря на сиротскую ущербность, это были лучшие дни моего бедного детства. Быть может, только они и были настоящей жизнью.

И вот я снова был ребенком и, как будто наперекор годам и военным невзгодам, душа моя осталась прежней, почти детской, я снова был мальчиком и с восторгом открывал красоты дивного родного края и, как чеховский Егорушка, отмечал и запоминал все, словно увиденное впервые. Трясаясь на телеге по луговой дороге и потом лазая по скалам (я даже громко запел полузабытую башкирскую песню, горное эхо мне вторило), я еще не предполагал, что Аен-таш, этот маленький медвежий уголок малой родины, сыграет в моей жизни судьбоносную роль.

Вернувшись в Москву к прежней работе, я стал готовиться к учебе. Опять примеры, задачи и диктанты. Надоедал девушкам, живущим в женской половине барака, окончившим семь или восемь классов: мол, подскажите, как решается этот пример, или продиктуйте диктант. Девушки не отвечали мне, как доминошники: «Иди ты со своей учебой, век учишь — дураком помрешь», а помогали как могли. Быть может, жалели или одобряли мое упорство. Они же постоянно поправляли мое неграмотное произношение, мягко, шутливо, но без насмешек. Спасибо этим русским девушкам, где они сейчас? — старенькие, наверное.

Осенью снова пошел в вечернюю школу. В седьмой класс, уже в третий раз. И две попытки в восьмом. Не лучше ли было бы, как советовали, начать с пятого или вовсе плюнуть на школу? Стучать костяшками домино, пить водку, когда есть деньги, словом, быть нормальным рабочим человеком, быть может, более полезным, чем шибко образованные. Но нет ведь. Учусь — и баста. Зачем, какая такая высшая цель, ради которой... Какое-то ненормальное упрямство? Или попытка самоутверждения, попытка вырваться из сиротских и провинциальных комплексов? Самолюбие? А не Чехов ли тут виноват? В годы неудач с учебой я запоем читал Чехова, его рассказы и повести. Чехов спасал меня от уныния и каким-то образом или, вернее, своими гениальными художественными образами будил во мне желание жить и учиться.

В этом учебном году мне было легче. Больше свободного времени, ошибок в диктантах стало меньше — если бы их совсем не было... (Они меня до сих пор мучают.) И примеры по математике стал решать увереннее. Только вот эта проклятая классная доска. Я боялся выходить к доске. «Боялся» — не то слово. Может, стеснялся... Как стеснялся в отрочестве предстать перед насмешливыми ребятами, которые знали, что у меня под длинным маминым пальто нет штанов. Теперь я был в приличном костюме, но все равно взгляды великовозрастных учеников сковывали меня, мешали сосредоточиться. Это подкорка, из которой долго не удавалось вытравить сиротство. Математичка, мудрая пожилая женщина, видно, поняла мой комплекс и через день или каждый день стала гонять к доске. Я стал привыкать и уже во втором полугодии бойко решал примеры и задачи по математике.

Весной, незадолго до экзаменов, мы, ученики седьмого класса, гурьбой шли к метро, с нами была и учительница истории, девушка нашего же возраста, и вдруг она мне:

— Вы знаете, Генатулин, вас не хотели допускать к экзаменам.

— Как, почему?!

— Вас почему-то невзлюбила учительница русского языка (назвала фамилию): «Он же неграмотный, в диктантах делает по пятнадцать ошибок». Но математичка

стала за вас горой: «Если Генатулина не допустите к экзаменам, я не участвую в них и вообще уйду из школы!»

К сожалению я, неблагодарный, не помню имени ее, она, наверное, уже умерла...

Так вот третий раз в жизни я окончил семь классов. После экзаменов, как подобает, была у нас вечеринка с выпивкой. Я даже танцевал с невзлюбившей меня учительницей русского языка, женщиной очень привлекательной, чуть старше меня годами. И она мне сказала:

— Генатулин, я вас недооценила. Сочинение вы написали замечательное...

От девушек, которым я надоедал математикой и диктантами, узнал, что, оказываясь в Москве существуют экстернаты, где трехгодичную школьную программу можно проскочить за один год и получить аттестат зрелости. Это как раз то, что мне нужно. Только зачем? Пока не знал, зачем мне еще целый год учить эту осточертевшую алгебру с ее, будь они неладны, иксами и игреками.

Летом меня вместе с другими работягами НИИ послали помогать колхозу в Наро-Фоминский район. Урожай вырастили, лен, а убирать некому. В Москве я кое-как освоился, мог ходить ночью от центра до Преображенки пешком, не боясь заблудиться, а вот Подмосковье знал плохо, вернее совсем не знал. Меня больше всего удивило то, что в деревнях нет электричества и моются в печах. Потом, годы спустя, многие места Подмосковья я исхожу пешком и полюблю этот край как вторую малую родину...

Вернувшись из колхоза в конце августа, нашел экстернат на Самотечной и сдал вступительные экзамены. Сочинение написал на «пять». Вдруг вызвал меня директор школы и ошарашил: «Кто вам написал сочинение?» — «Как кто? Я сам написал», — опешил я. Он всматривался в меня внимательно и недоверчиво. Не верил. Считал, что я, неказистый нерусский человек, не мог написать такое сочинение, и был уверен, что написал за меня, неграмотного, кто-то другой. Что же это такое происходит?! То к экзаменам не хотели допустить, то, когда принимали в «ящик» (я хотел устроиться экспедитором в отдел снабжения), какой-то начальничек сказал: «Какой из него экспедитор, пусть идет в котельную». Словом, подножка за подножкой. Ну, насчет экзаменов — это понятно, писал с ошибками, но почему же директор экстерната, не зная меня или увидев впервые, по внешности, по роже, что ли, решил, что я не способен написать школьное сочинение? Конечно, не только внешность или малый рост. Скорее, национальность. Нерусский, а так пишет. Не может быть.

(Много лет спустя, когда у меня уже была семья, вот так же не приняли моего сына в немецкую спецшколу. Полнотелая, с лицом, похожим на засаленную розовую подушку, директриса спросила меня: «Кем вы работаете?» К тому времени я уже заочно окончил Литературный институт, печатался в журналах, но продолжал работать в котельной, мне надо было сказать, что я литератор, но, дурак, постеснялся, ведь еще не был принят в Союз писателей, и буркнул, что я рабочий. «Вот видите? Чем вы поможете вашему ребенку? — сказала директриса. — Да и вообще, детей нерусских мы не принимаем, они плохо учатся».)

«Не верите — давайте при вас напишу то же сочинение, и сверите почерк», — сказал я директору экстерната, стараясь быть спокойным.

«Ладно, ладно, — отступил он. — Бывает. У нас в прошлом году учился один кореец, писал так грамотно, как не каждый русский напишет».

В классе я сел за первую парту, ближе к учителю и доске. Со мной за одну парту села Пономарева, молодая замужняя женщина. Учился с веселым азартом, обрета постепенно уверенность в себе. Повезло с учительницей литературы. Когда она,

часто пренебрегая нормативами, рассказывала о русской литературе, я заслушивался. Порой мне казалось, что она артистка с хорошо поставленным голосом и хорошей дикцией. (Как жаль, что я, неблагодарный, забыл ее имя.) Некоторые мои сочинения она читала классу как образцовые. Но орфографические ошибки еще были. Когда я писал, она краешком глаза заглядывала в мою тетрадь и, заметив, что я ляпаю ошибку, тут же походя поправляла. А по математике я надоедал Пономаревой: не списывал, а просил, чтобы подсказывала, как решается задача. Объясняла она сердито, не очень охотно. На скучных уроках я рисовал на нее карикатуры, она же делала вид, что все это ей безразлично. Она могла пересесть за другую парту, но почему-то не уходила, терпела меня. Может, ей тоже непременно надо было сидеть за первой партой.

Прошла зима, я допер до бинорма Ньютона, сдал экзамены (на экзаменах Пономарева садилась позади меня, украдкой заглядывала в мои листы, подсказала решение задачи по математике, нашла три ошибки в моем сочинении, так что я написал на «четыре») и получил вожделенный аттестат зрелости. Созрел, так сказать.

Где ты сейчас, Пономарева, добрая душа? Ты, наверное, давно уже бабушка, помнишь ли меня? Вообще, получив аттестат зрелости, мы как-то все разбрелись по своим жизням. Договорились было, что лет эдак через десять встретимся, но почему-то не собрались. Как сложилась судьба моих одноклассников, открыл ли аттестат зрелости им двери вузов — никогда уж не узнаю.

Из всего класса известна мне судьба только Иры Варлашиной, с которой потом у нас сложились особые отношения. Как-то случайно Ира встретила нашу учительницу литературы. Поговорили. Ира спросила, мол, помните ли вы Толю Генатулина? Он учился в Литературном институте. «Я в нем была уверена», — сказала учительница. Единственный человек, поверивший в меня. А я вот не помню ее имени.

Аттестат зрелости у меня есть, я — кочегар со средним образованием. Знай наших! А дальше что? Куда мне теперь? Продолжать шуровать в котлах? Когда-то была мечта учиться на художника. Но художник-оформитель в НИИ сказал, что уже поздно, не примут. «Да ведь ты не нарисуешь даже стакан или спичечную коробку. Готовых работ у тебя нет». Может, рискнуть в Литературный институт? Не боги горшки обжигают. Вдруг...

Когда я сказал ребятам, живущим со мной в общежитии, в одной комнате или в соседних, что хочу поступить в Литературный институт, они отнеслись к моему желанию довольно насмешливо: мол, давай, давай, валяй. Только Ким Тамберг сказал серьезно: «Не лезь ты с посконным рылом в суконный ряд. Таких, как ты, туда не принимают».

У меня были написаны два рассказа, которые я считал удачными. О любви. Окультуренная девушка воспитывала своего парня, передового токаря, но не начитанного, водила по театрам и музеям. Получалось фальшиво. Второй рассказ — о деревне. Деревня и деревенские люди мне были ближе и понятнее. Ничем они особенно не отличались от людей моей родной деревни, которых я еще помнил. Тот же колхоз, те же заботы, те же лунные ночи и любовь...

В колхоз приезжают ребята с московского завода, работают в поле: вяжут и молят лён. Один из ребят влюбляется в деревенскую девушку, которая работает бригадиром. Описываются их свидания лунной ночью за деревней, как они просиживают под скирдой до третьих петухов, и прочая лирика. Но соль рассказа — это даже не любовь, а конфликт между любовью и долгом. Парень уговаривает девушку ехать с ним в Москву. «У нас, как человек женится, сразу же дают отдельную комнату». Но девушка ни в какую. Она бригадир. «Как же я брошу колхоз, свою бригаду, — говорит она. — Я крестьянка, люблю землю». И уговаривает парня, чтобы он пере-

ехал к ней в колхоз. Парень хотя тоже из деревни, недавно выбрался оттуда в московский барак, но уже совращен городом, и его обратно в деревню, как говорится, калачом не заманишь. Парень уезжает. Концовка рассказа неопределенна. Может, девушка, не в силах жить в разлуке, бросит бригаду и переедет жить в Москву, может, парень...

Конечно, все это я придумал. И понимал, хотя и не очень уверенно, что рассказ написан по готовой схеме, далекой от жизни, которую я видел, переживал. Я с удовольствием написал бы о том, как парень обманул девушку и, пожив с ней, сделав ей ребенка, смылся, о том, как я влюбился в лаборантку, о том, как меня хотели женить на сухоногий горластой бригадирше, вернее, хохмили, уверяя, что ночами я навещаю ее к ней. Но ведь это в жизни, а мало ли что в жизни случается. Писатель должен писать не о том, что бывает в жизни, а о том, что могло быть, должно быть. Правда, в такой установке я давно сомневался, не категорично, вяло, но сомневался, но ведь с рассказом, где правда жизни, где бригадиршей была другая женщина, некрасивая, грубая, безмужняя, которая, если бы ей предложили московскую жизнь, не задумываясь бросила бы колхоз и свою бригаду, — с таким рассказом меня ни за что не приняли бы в Литературный институт. Так я понимал тогда...

Тут я вспомнил чеховскую «Степь» и Егорушку, ехавшего по степи на возу с шерстью. А что если какой-нибудь башкирский мальчик едет в горы на телеге? Только вот сомнение: будут ли для кого-нибудь интересными эта телега, этот мальчик и его переживания? Другое дело — если написал Чехов. Хотя потом узнаю, что «Степь» тоже не приняли критики... А, была не была, напишу, будет подпорка первому, «правильному» рассказу. Рассказ назвал «Аю-таш» — «Медвежья скала», Аю-таш был не совсем понятен. Сел и как-то легко написал. Пытался вложить в рассказ все свое детское восприятие заново открытой мной спустя пятнадцать лет красоты родных гор, лесов, полей, лугов и весь свой восторг от поездки на седловину Уральского хребта. Ехал на телеге городской мальчик Марат, башкирский Егорушка. Да, конечно, рассказ писался под влиянием чеховской «Степи», хотя тот ученический рассказ так же был далек от «Степи», как я сам, Анатолий Генатулин, был бесконечно далек от Антона Павловича Чехова. Как и Егорушка, Марат подмечал неутомленным детским взором подробности природы, холмы, похожие на старинный башкирский малахай или на худые спины каких-то животных, скалу, падающую, когда смотришь вверх на плывущие над ней облака, и так далее. Егорушка встретился со странным мальчонкой Титом, Марат же — со странной девочкой, живущей вместе с бабушкой на кумысной ферме. Марат, как и Егорушка, пережил ночную грозу, и ему казалось, что небо треснуло и обломки его с грохотом обрушиваются на землю.

Я не сомневался, что приемной комиссии Литинститута понравится только первый рассказ, о придуманной колхозной бригадирше, что если меня вдруг примут, то только благодаря этому рассказу. А второй рассказ, о мальчике Марате, пожалуй, можно и не давать, думал я, потому что рассказ безыдейный. Ехал мальчик Марат в горы, видел там падающую скалу — ну и что? Ведь у Чехова в «Степи» и купец Иван Кузьмичов, и отец Христофор, и Варламов, и графиня Драницкая, с одной стороны, а с другой — Мойсей Мойсеич, Дымов, Степка, Пантелей, — словом, эксплуататоры и угнетенные. И скрытая в подтексте (у Чехова все в подтексте) непримиримость между ними, и очень слабое пока, глубоко запрятанное предощущение революции (где-то читал об этом). А у меня что? Горы, кумысная ферма и ночная гроза. Нет, такой рассказ нельзя было нести.

Но, оказалось, требуется два или больше рассказов. А у меня всего два. И вот, преодолевая сомнение, внутреннее сопротивление и сковывающее осознание того,

что пытаюсь прорваться куда-то в иную судьбу, подняться выше себя, и в то же время с мыслью «а, была не была, попыток не убыток» понес свои опусы машинистке, что жила на Сретенке. И впервые увидел напечатанными написанные мной слова, придуманные фразы, правда, машинописным шрифтом, но все равно ощутил холодок в сердце от предчувствия следующего, может быть, судьбоносного шага. Потом опять, преодолевая завалы комплексов в душе, я потащил себя, или что-то вело, кто-то вел меня на Тверской бульвар в дом Герцена. Как в бреду поднялся на второй этаж, вошел в какую-то комнату и предстал перед женщиной, сидящей за столом, заваленным папками. Узнав, с чем я припожаловал, женщина вежливо сказала: «Вы опоздали, мы уже набрали две тысячи абитуриентов (впервые услышал это слово), а принимаем в этом году только девяносто человек». Я сразу успокоился, не огорчился даже, потому что был готов к этому. «Придете в следующем году», — сказала женщина. Я уже шагнул было к двери со своей папкой, как вдруг услышал: «А рукопись оставьте на всякий случай, бывают дополнительные приемы, хотя, конечно, надежды мало, отбор у нас строгий».

Оставив папку с рассказами в недрах дома Герцена, я ушел, вернулся в свою обычную жизнь. Две тысячи человек на девяносто мест — значит, более двадцати человек на одно место, один счастливчик из двадцати. Разве я могу оказаться среди этих счастливчиков? Такого не бывает. Рылом не вышел. Попробовать в следующем году? Будет то же самое.

Шло время, уже середина лета, я уже почти забыл о Литинституте и о своих писаниях. Нет, не разлюбил литературу, не погасло желание писать, но пришло спокойное осознание того, что без Литинститута путь в литературу будет труден, извилист и, скорее всего, не выведет меня в писатели. А с другой стороны, не все же писатели, нет, не говорю о Чехове, он был врачом, не все наши советские классики окончили Литературный институт.

Вдруг в августе по почте получаю конверт из Литинститута. Ну конечно отказ: мол, вы не прошли по конкурсу или что-то в этом роде. Совершенно спокойно, даже без намека на надежду, распечатываю конверт и читаю машинописные строки: «Уважаемый тов. Генатулин, вы прошли отборочный конкурс в Литературный институт им. Горького. Готовьтесь к вступительным экзаменам». Сначала никакой реакции, ни малейшей ответной дрожи в сердце, как если бы держал в руке глупый розыгрыш. Читаю, перечитываю, сую в карман, достаю и опять читаю. Прошел по конкурсу! Значит, принят! Только экзамены надо сдавать. Я, Толя Генатулин, Талха Гиниятуллин, сын Сапанай, кочегар из котельной, прошел по конкурсу в Литературный институт! Наконец дошло. Руки задрожали, кровь ударила в голову. Встретил кого-то, тычу ему в нос конверт и говорю: «Прошел по конкурсу в Литинститут». Надо же воскликнуть: «Да?! Поздравляю!», а он что-то мычит в ответ и шагает дальше. Встречаю еще кого-то: «Прошел по конкурсу..!» — никто не радуется, никто не поздравляет, как если бы я врал и они не верили.

Тут что-то случилось с моей психикой, нервишки не выдержали, на крутом вираже меня выкинуло на обочину привычного мироощущения и самооценки, оглушило, и сознание мое стало путаться и двоиться. Стоял разговаривал с Лешей Захаровым, хотел что-то сказать ему, но вдруг понял, что говорю нечто другое, не имеющее никакого отношения к нашему разговору. «Говорят, в Сорочьей роще волки появились», — сказал ему, увидев себя на улице своей деревни разговаривающим с соседом моей тетки Галибом и в то же время какой-то частью сознания понимая, что стою возле своей московской хрущобы с Лешей и несу какую-то ахинею про волков. «Какие волки?» — спросил Леша, глядя на меня как на дурака. «Это я так, — поправился я, поняв свою ошибку, и добавил: — Леша, знаешь, я прошел по конкур-

су в Литературный институт». Леша, конечно, принял это за бред и, наверное, решив, что у меня «крыша поехала», повернулся и ушел.

Я догадался, что дело худо. Я испугался. Еще не хватало, чтобы я свихнулся, когда уже прошел по конкурсу. Надо было как-то прийти в себя. Отпросился на два дня, да еще выходные, работы особой не было, неспешно чистили и ремонтировали котлы, — и уехал на Истринское водохранилище, там ловил рыбу, к вечеру высадился к какому-то костру, рыболовы уху варили, угостили и меня (на природе человек добр и общителен), на другой день тоже ловил рыбу, улов был тощий, высадился на какой-то полуостров, сварил уху, тут налетела гроза, выволок лодку, опрокинул и ночь провел под ней.

Три дня пропадал на воде, в тишине лесистых берегов, возле рыбацких костров, три дня пытался не думать о том, что прошел по конкурсу, но разве возможно не думать, не помнить, если ты оказался среди девяноста счастливых? Отвлекся на какие-то минуты, уставившись на поплавок, и тут же: я прошел по конкурсу. И самое странное было в том, что не испытывал ни малейшей радости, только голое осознание случившегося и душевное напряжение в попытке сжиться со своим новым положением, мучительное переваривание этого свалившегося на меня потрясения.

Вернулся в Москву нормальным и со спокойным сознанием того, что это я, Толя Генатулин, выдержал конкурс в Литературный институт и сделал первый шаг к писательству. Теперь надо было готовиться к вступительным экзаменам. Поехал в институт, с особым чувством вошел во двор дома Герцена, с особым чувством оглядел этот дом, в котором предстояло мне учиться на писателя.

Узнал, что экзамены по русскому языку и литературе, устные и письменные, и по истории СССР. А по математике нет. Вернувшись, достал школьные учебники и стал готовиться, то есть листал, почитывал, перечитал сочинения, написанные в экстернате, и все это не очень старательно, ведь главное — конкурс, творчество.

Потом узнал, что «Аю-таш», слабый, безыдейный в моем понимании рассказ, оказался одним из лучших (я-то был уверен, что провел меня по конкурсу рассказ о колхозной бригадирше). Значит, опусы остальных, прошедших в институт, слабее моего «Аю-таша», тогда кого же они принимают? Еще подумал вот о чем. Если бы я не ездил на родину, не побывал на седловине Уральского хребта, на Аен-таше, не было бы и этого рассказа, значит, не прошел бы по конкурсу.

Потом были семинары. Творческие. Главная наша учеба. Литературная лаборатория. Каждый вторник живущие в Москве студенты собирались в аудитории на втором этаже со своими опусами или без них. Наш творческий семинар вела Валерия Анатольевна Герасимова. Кто-то мне сказал, что она первая жена Фадеева. В молодости она, вероятно, была красива, и сейчас, в ее годы, выглядела моложавой и заметной. Многие узнаю и подмечу у нее потом, а пока смотрел на нее как на первого живого писателя, увиденного мной вблизи, и к тому же как на бывшую жену классика. Придя в эти священные стены с Бойцовой улицы, из котельной, сев перед Герасимовой, я как бы приблизился или даже прикоснулся к высокому и божественному, в моем представлении, миру литературы.

На семинарах мы читали свои опусы, в основном рассказы. После прочтения каждый высказывал свое мнение. Я никогда ничьих рукописей не читал и не мог определить, особенно на слух, талантлив этот рассказ или бездарен, поэтому когда Герасимова попросила меня высказаться по поводу чьей-то писанины, я с трудом промямлил что-то невразумительное.

«Я так же, как и вы, все еще учусь, — говорила Валерия Анатольевна, — но я немного опытнее вас».

Пришла и моя очередь читать свой «Аю-таш». Читал я плохо, сбивчиво, чувствуя, как написанные мной слова, произнесенные моим же голосом, звучат плос-

ко, тускло, и ждал разгрома, позора. Когда кончил читать, минуту-две молчали. «Кто первый?» — спросила Герасимова. Первым, кажется, высказался Валентин Поздышев. «Пока этот рассказ лучшее, что читалось здесь», — сказал он. Генрих Гофман, полковник, Герой Советского Союза, покритиковал: мол, башкир не мог говорить «валяй», это чисто русское. Кто-то защитил меня: дескать, это же вольный перевод. Потом говорила Герасимова. Она хвалила рассказ, нашла очень удачным сравнение скалы с наковальней, а голую вершину горы — со спиной тощей коровы. И сказала: «Я должна признаться, товарищ Генатулин (она ко всем студентам обращалась «товарищ»), когда увидела вас на первом семинаре, подумала, как могли принять такого в Литературный институт? Вот видите, как может оказаться обманчивым первое впечатление».

Несмотря на такое признание (опять приняли меня не за того, бедная мама, зачем ты меня родила таким неказистым?!), я был доволен.

Мне, ясное дело, хотелось похвастаться своей учебой в Литинституте перед общежитскими ребятами, но они особых восторгов не выказывали, начальник из «ящика» (котельная была в ведении нашего номерного предприятия), узнав, что я поступил в Литературный институт, отрубил: «Писак нам не нужно», — это в том смысле, что им нужны технари, инженеры.

Я припожаловал к Борису Красовскому. Он еще в пятьдесят первом году привез с Украины, куда ездил в командировку, красивую жену. Я был слегка влюблен в нее. И захаживал к Борису, чтобы еще раз увидеть Ирину. Узнав, что я учусь в Литинституте, Борис сказал: «Знаешь, почему тебя приняли? Потому что ты не русский. Национальная политика. Кстати, кто ты по национальности?» — «Башкир». — «А я думал, чуваш».

Мне сделалось обидно оттого, что он унизительно думает о моей учебе (такое мне в голову не могло прийти), — значит, выходит, недостойному сделали скидку на национальность? А ведь на самом деле мне, нерусскому, было гораздо труднее.

Однажды в Литинститут из журнала «Дружба народов» пришла какая-то редакторша и обратилась к Герасимовой: нет ли у ее студентов чего-нибудь стоящего, что можно напечатать в журнале? Герасимова назвала меня. Я вручил свой «Аю-таш» редакторше и стал жить с согревающей душу надеждой на потрясающий успех. В середине зимы мне передали, что просят зайти в редакцию. Не зная, что и подумать, то ли огорчаться (вдруг скажут, что не будут печатать), то ли радоваться (впервые в жизни иду в редакцию, сами пригласили), я пришел на улицу Воровского и вошел в узкий коридор похожего на барак дома. Стоял в коридоре, робея и не зная, в какую дверь торкнуться. По коридору, почти задевая меня плечами, проходили люди. Какая-то женщина заметила меня и спросила: «Вы к кому?» Я сказал, что у меня тут рассказ, просили зайти. «Идите к Ковалевичу, вон в ту дверь». Снял шапку, постучался и вошел в маленькую комнату, до того прокуренную — хоть топор вешай. За столом сидел и курил худощавый человек с жиденькими, просвечивающимися на макушке волосами и серым нервным лицом. Узнав, что я Генатулин, сказал: «Садись, старик. Хороший рассказ. Вот твоя верстка. — Он небрежно положил перед моим носом какие-то отпечатанные типографским шрифтом листы. — Хочешь, бери домой, хочешь, читай здесь».

Я глазам своим не верил — мой рассказ, мои слова (вот оно, крупно: «Аю-таш», вот первая фраза: «Все началось с того, что получили письмо из деревни от дяди Газима») были напечатаны в типографии. Я сидел в редакции толстого журнала перед редактором и читал верстку (впервые слышал это слово). Что-то со мной происходило...

Ковалевич сказал, что можно брать домой. Но мне подумалось, что, если заберу верстку домой, вдруг обратно не примут или со мной что-нибудь случится: заболею

или машина сшибет, мало ли что. Нет, лучше уж прочту и оставлю в редакции. Я сказал, что прочту здесь.

«Только у меня одно замечание. У вас там птицы называются «сак» и «сук», как-то не по-русски, давайте сделаем через два «а» и через два «у»: «саак» и «суук». Лады?»

Читая, я понял, что типографский шрифт придает рассказу какое-то новое качество, как если это уже правильный книжный текст. Удивляло и то, что не было или почти не было исправлений в моем тексте, и казалось, что эти страницы, в которых знакомо мне каждое слово, каждая запятая, как-то чуть отделились от меня и уже не полностью принадлежат мне.

Прочитав, спросил у Ковалевича, когда напечатают. «Не знаю, старик, не знаю, — ответил он. — Тут у нас такая бодяга творится. Постой, не уходи. Пойдем к главному, он, кажется, пришел. Ты знаешь его? — говорил Ковалевич, незаметно перейдя на «ты», чем я был доволен, потому как не любил, когда говорили мне «вы». — Василий Смирнов, не классик, но хороший прозаик».

Он повел меня по коридору в глубь помещения, вошли в секретарскую, и Ковалевич, сделавшись робким, тихо спросил у секретарши: «Он один?», вошел в кабинет, через минуту вышел и кивнул мне: «Заходи». Сам он удалился, а я осторожно дернул увесистую дверь. Посреди комнаты стоял крупнотелый человек в коричневом костюме. Лицо у него было простое, деревенское, расплывчато-мягкое, но глаза цепкие, писательские. Я поздоровался. Он подошел, подержал мои холодные пальцы в мягкой теплой ладони, потом, крутя пуговицу на моем пальце, похвалил рассказ и спросил: «Ведь вы по-русски пишете?» Я кивнул. «Вот Тоголь тоже писал по-русски, — говорил Смирнов. — Но когда его читаешь, постоянно чувствуешь, что это писал украинец. Или возьмем Бабеля. Ведь его рассказы — это рассказы еврейского писателя. Пишите по-русски, но никогда не подделывайтесь под русского писателя».

Он отпустил мою пуговицу, подал мне руку, я же, выйдя из кабинета, взволнованный встречей с большим писателем да еще главным редактором журнала, как во сне прошел по длинному коридору, выскочил во двор и надел шапку.

По улице Воровского в сторону Садово-Кудринской с поднятой головой и довольной улыбкой на роже, не чуя ног под собой, шагал начинающий писатель Толя Генатулин.

Время шло, журналы выходили, я заглядывал в библиотеку, брал очередной номер «Дружбы народов», сердце екало — вот сейчас увижу свой рассказ, но моего имени в журнале и в помине не было. Уже ближе к весне получил из редакции письмо с просьбой принести фотокарточку. Решив, что если дело дошло до фотокарточки, значит, оно на мази, я опять вошел в узкий коридор редакции и постучался в комнату, где сидел Ковалевич. Там Ковалевича не было, не было и табачного дама. За столом сидел молодой человек со смазливим восточным лицом. Я назвал его, отдал ему фотокарточку. Он сказал, что рассказ читал, что легенда о сааке и сууке несомненная удача, что все это ему близко, потому что он тоже из Башкирии. Так я познакомился с Робертом Бикмухаметовым. Роберт сказал, что Ковалевич уволился, на мой вопрос, когда выйдет рассказ, ответил, что не знает, что рассказ пока в загоне (еще одно новое слово для меня). «Может, мне идти к Смирнову?» — сказал я. «К Смирнову не надо. Вы еще только начинаете, никому не известны. Так что ждите терпеливо. Потом не думайте, что вот напечатаете рассказ и тут же станете писателем. Может оказаться, что этот единственный ваш рассказ — и первая, и последняя публикация. Это случается с начинающими сплошь и рядом».

Я ушел от Бикмухаметова с плохим настроением. И потом, встречая его изредка, сталкиваясь с его странным поведением — в общем-то, человека несчастного в

личной жизни (жена ушла) и запойного пьяницы, я всегда уходил с плохим настроением.

Рассказ вышел в апрельском номере. Я узнал об этом, получив по почте бандероль с двумя экземплярами журнала. То ли я перетерпел, перегорел, устал в ожидании и душевно отупел, то ли большая радость проникает в душу постепенно — словом, увидев свою фотографию, прочитав хвалебное предисловие Герасимовой, пробежав рассказ, я не почувствовал ожидаемой бурной радости.

(Спустя семь лет, в шестьдесят восьмом, вышел в «Юности» мой второй рассказ, «Две недели». Когда узнал из телефонного звонка, что рассказ принят, у меня сильно забило сердце и затряслась рука, державшая трубку, и в горле пересохло. Потом, когда журнал вышел, я купил сразу десять экземпляров, разложил их на диване и, не зная, что делать от восторга, повалялся на них, как конь на весенней траве. Потом были звонки, поздравления знакомых — тогда «Юность» была самым читаемым журналом.)

...Так что прочитал несколько раз свой «Аю-таш», подержал журнал на тумбочке у изголовья дивана, чтобы был постоянно на виду, пережил постепенное вхождение в душу спокойной удовлетворенности — напечатался! — потом журнал стал привычен, рассказ уходил, отдалялся от меня, чтобы с годами сделаться чужим и неинтересным — как я мог написать такую слабую вещь? — со мной ничего не случилось, никто даже не поздравил меня, студенты с нашего курса знали о выходе журнала, но делали вид, что это их не трогает. Может, Бикмухаметов был прав...

Пережив первую публикацию, я продолжал прежнюю жизнь простого советского человека, кочегарил в котельной, по вторникам спешил в институт на творческие семинары, читал чьи-то опусы и на уровне своего понимания пытался обсуждать, критиковать или, как говорили у нас, «долбать». Так же «долбали» и меня.

Потом только я пойму, что учеба в Литинституте, мое запоздалое и заочное студенчество с нашими семинарами, весенними сессиями и лекциями профессоров, экзаменами и защитой диплома — были лучшими годами моей жизни. На защите диплома женщина-критик, фамилию которой я, к сожалению, забыл, вспомнила мой первый рассказ «Аю-таш», заметив, что рассказ, конечно, реминисценция чеховской «Степи», и добавила: «Но ведь надо было еще предпочесть Чехова».

После защиты у меня был разговор с проректором Таран-Зайченко. Я спросил: «Можно ли с этим дипломом устроиться куда-нибудь на литературную работу?» Он спросил: «Где вы сейчас работаете?» — «Кочегаром в котельной». — «Знаете, в редакциях и издательствах работа инфарктная. Я бы вам советовал продолжать кочегарить. Больше будет свободного времени для творчества».

И я, новоиспеченный литератор, вняв совету проректора, застрял в котельной еще на несколько лет. Но не принял это как очередную неудачу. Потому как в те благословенные годы многие поэты, прозаики, художники шуровали в котлах, подметали дворы. Некоторые из них потом стали знаменитыми и не жалели о времени, прожитом с щуровкой и метлой в руке...

Тогда же, в годы учебы в Литературном институте, произошли два события, которые я считаю знаковыми в моем трудном вхождении через узкие ворота в московскую жизнь. Ведь у меня после дымной отцовской избы и бабушкиной полуземлянки никогда не было своего гнезда. Казарма, землянка, окоп, «лисья нора» под снегом, заячье лежбище под кустом, а сверху ледяное ночное небо. И никогда не было семьи, которой не обделены даже дикие звери.

В нашем НИИ, в общагах которого жило около десятка фэзэошников, когда-то прибившихся к заводу, решили ликвидировать общагу как лишнюю заботу и рассе-

лить ребят по коммуналкам в домах, построенных на улице Бойцовая. Мне досталась маленькая комната на пятом этаже по соседству с какими-то Горячевыми, которые почему-то с первых же дней нашей коммунальной жизни меня невзлюбили. Ну и что — когда и где меня любили...

А я был счастлив. У меня еще не было ни кровати, ни стола — несколько дней я спал на полу, постелив пальто и подложив под голову кулак, лежал и в счастливом умилении оглядывал комнату: вот мой пол, он мягок и уютен, как перина, вот мой потолок, крыша над головой, и больше никто не посмеет выбросить меня отсюда на московскую улицу...

Второе событие — это подвиг, который я совершил в свои под сорок. Поступок, на который не каждый способен. Я женился...

Мы, бывшие жильцы общаги, расселившись по коммунальным углам, по старой привычке продолжали общаться, вели кухонные разговоры, травили байки, спорили и, как повелось, ругали «Лёника». Собирались у Кима Тамберга, который принял весьма скептически мое поступление в Литинститут. Приходил Изя Шик, заглядывал Изя Гурвиц, инженер. Шик и Тамберг, латыш по отцу, были дети репрессированных родителей и, как все дети «врагов народа», были с пришибленной душой и закомплексованы. Тамберг потом спился и сошел с ума, Шика я видел недавно, старого, опустившегося и пьяного. Гурвиц, обидевшись на советскую власть и на русских, уехал то ли в Израиль, то ли в Америку, и загинал там.

Заходила к Тамбергу и Люся Медведовская, маленькая и черная, как галочка, еврейка, часто меня донимала: «Толя, когда ты женишься?» — «Отстань, никогда не женюсь!» — «Ты ведь у нас сейчас писатель. Наверное, ищешь писательницу». — «Боже упаси!» — «Хочешь, я тебя с красивой татаркой познакомлю?» — «С красивой тем более не хочу». — «Почему?» — «Потому что человек ростом метр с кепкой не пара красивой». — «Пропаций ты человек. Все-таки загляни в обувной магазин на Самотеке, где я работаю, — познакомлю». — «Не обещаю». Поговорили и забыл.

На Самотеке мне делать было нечего, разве что изредка ходил в кинотеатр «Форум». Но часто бывал на Сретенке, где были книжные магазины, один букинистический. Однажды проходил по Сретенке и вдруг осенило: а ну-ка зайду в этот обувной, рядом же, любопытно все же, красивая татарка. Зашел и сразу столкнулся со знакомым женским лицом. Да ведь это та девушка, с которой, обозвав ее чухахой, я расстался лет шесть или семь лет назад. Не красавица в моем понимании, но ярко-румяное лицо, большие карие глаза в пушистых ресницах очень даже симпатичны. И в тело вошла: груди, бедра. Как и тогда, калошами торгует. Наверное, давно замужем и двое детей. Значит, есть еще другая татарка, о которой говорила Люся. Все же подошел и сказал:

— А, это ты, чухаха. — Ведь начисто забыл, как ее звать.

Она стерла с лица улыбку и обиженно ответила:

— Бродил, бродил где-то... объявился и сразу оскорблять.

Я повернулся, чтобы уйти, сделал несколько шагов и услышал:

— Ну, Толя, не уходи!

Ее голос, интонация и то, что не забыла мое имя, тронули меня. И я вернулся к ее покрасневшему от смущения лицу. И после работы проводил ее домой. И услышал по дороге новые для меня слова ласки: «Лапынька».

Вторую встречу с Алей и то, что мы оба холостые, я принял как перст судьбы, как будто судьба ткнула пальцем: женись на ней, это не будет ошибкой. Даже здесь трудно было решиться. Наконец сделал предложение; она на этот раз не дала от ворот поворот. Но когда мы на трамвае ехали в загс, мне стало казаться, что я попадаю в западню, и мне, как гоголевскому Подколесину, хотелось прыгнуть и бежать.

Потом уж пойму, что женитьба на «чупахе», которую я не любил и которую люблю с годами, была тоже судьбоносной. А маленький мальчик, пахнувший материнском молоком, которого я любил запоздалой отцовской любовью, был наградой за мой подвиг...

В дипломе у меня — «Литературный работник», но, поскольку работника из меня не получилось, я, быть может, и писатель. Но для того, чтобы считаться писателем, нужны журнальные публикации и, само собой, книга. В годы учебы мне удалось написать всего девять рассказиков и одну короткую повесть. Повесть «Атака», о тяжелом бое батальона среди валунов на Карельском перешейке, рассказ о госпитале, о солдатах, покалеченных на передовой. ...Повесть я отнес в журнал «Знамя» и получил отказ с сокрушительным отзывом, в котором рецензент обвинял меня в ремаркизме, в том, что мои герои, рефлектирующие хлюпики, постоянно боятся, что если не было героизма, то как же мы победили немцев и т. д. Видно было, что написал человек, который не нюхал порошу и не знает, как в последнюю атаку мы ходили, перешагивая через трупы солдат погибшего батальона. Такие отзывы для меня были еще непривычны и воспринимались болезненно.

«Атаку» я сократил вдвое, убрав и смягчив «ремаркизмы», и вместе с десятью рассказами отнес в издательство «Советский писатель». Отважился на это лишь потому, что Валерия Анатольевна Герасимова дала рекомендательное письмо, прося отнестись внимательно к молодому начинающему писателю. Рукопись приняли, но намекнули, что особенно надеяться не следует.

И три года ожидания, когда надежда сменялась унынием, а уныние — слабым проблемском надежды. И главная беда: это пустое и опустошающее ожидание скывало графоманскую энергию, так что за эти годы не написал ни одной стоящей вещи...

Первая книга — как первая любовь. Ожидания, сомнения, горести, а потом, после выхода, опустошенность, как после первой брачной ночи...

Первая книга... Какой графоман не мечтает о ней... (Все мы в какой-то степени графоманы.) Жил на свете некий Анатолий Генатулин (Талха Гиниятуллин) из деревни Уразово, что прилепилась к склонам холмов вдоль Яика на восточной окраине Башкирии, — колхозник, беспризорник, железнодорожник, солдат, проходчик в туннеле, рабочий на заводе, гардеробщик, вахтер на проходной НИИ, кочегар в котельной, житель барака, с горем пополам окончивший десятилетку, потом заочно Литературный институт, — и вдруг у него выходит книга. Книга!

Ну и что, скажет тот, кто прочтет это, ты же к этому стремился, всю жизнь шел к этому. Верно. Но ведь смотрю на эту книгу глазами сына Сапанай, вовсе не говорившего до пятнадцати лет по-русски, смотрю из заводского цеха, из котельной. Могли бы написать книгу рассказов, ну хотя бы один-единственный рассказ, друзья моего детства Талгат, Бальхий, Шавкат или товарищи по заводу, по общаге, Анашкин, Гаврилов, Сысоев, Ступин, Тамберг? Тот, кто прочтет эти строки, раздраженно подумает: чего ты пыжишься, хвалишься, сравнивая себя с ними? Тебе же Бог дал талант, чего не было у них. А что такое талант? Я никогда его не чувствовал в себе. Если бы я был талантлив, написал бы хоть одну книгу на уровне ну не «Тихого Дона», а хотя бы рассказов и повестей Виктора Астафьева. «Кокетничаешь», — ехидно усмехнется читатель. Что-то, конечно, во мне было. Любил же я в детстве рассказывать сказки, придумывая, фантазируя. Но ведь не всякий говорун и фантазер берет карандаш, бумагу и садится писать рассказ.

Иногда на вопрос, почему и как я стал писателем, я отвечаю так: во-первых, я не считаю себя писателем, считать себя писателем — это значит поставить себя ря-

дом с Чеховым, Толстым или, как сказал Паустовский, назвать себя писателем — значит говорить о себе, что ты хороший человек. Я стал писать не потому, что я талантлив, а от сознания того, что больше ни на что не способен. Из меня не получилось ни путного рабочего, ни колхозника, я не мог бы стать ученым, инженером или генералом. Сел за стол, положил перед собой лист бумаги и взялся за ручку. Остальное, как говорится, дело техники. Работа не пыльная, денежная.

Все же, как бы там ни было, книга — это чудо. Надо же подумать, рукопись, сочиненную тобой, с твоими словами, мыслями, где-то там, в недрах издательства, читают серьезные образованные люди. Потом набирают твою книгу наборщики, художник оформляет обложку и, печатая твою книгу, дни и ночи крутятся печатные станки, ею занимаются переплетчики, за все это они получают зарплату. Еще не известно, нужна ли, кроме тебя самого, кому-нибудь твоя книга, а уже тратятся на нее рабочие часы, электроэнергия, бумага и деньги. И наконец она на прилавках магазина. Разве не чудо?

В ожидании этого чуда я прожил три года с того дня, как Валерия Анатольевна посоветовала идти в издательство «Советский писатель». «Идите к Крючковой, скажите, что от меня». С того дня, как я со своей папкой поднялся на десятый этаж огромного дома на Горького и вошел к Крючковой, молодой литдаме с властным лицом и фальшивой приветливостью. Крючкова послала меня в отдел прозы к Родичеву. Родичев, человек с хорошим крестьянским лицом, примерно моего возраста, выслушав, что меня рекомендует Валерия Герасимова, сказал: «У нас свои рецензенты, они решат вопрос издания. Рукопись оставляйте, но обещать что-нибудь — сами знаете».

Я ушел и уже через месяц слабо помнил свое посещение солидного издательства. И редко думал о книге. Чудо казалось несбыточным. Позвонить, узнать, как там с моей рукописью, стеснялся или, скорее, боялся: вдруг скажут, что книга не выйдет? Наверное, именно так и будет, но лучше уж пусть сами позвонят.

Спустя почти год, когда угасла последняя надежда, хотя, конечно, она не угасла окончательно и ожидание чуда притаилось где-то рядом, сбоку, вернее я его сам запрятал, как во время войны прятал кусочек пайки, чтобы не съесть все сразу, и старался на время забыть о нем, спустя год телефонный звонок: «Я ваш редактор, фамилия моя Винникова, зайдите завтра к двенадцати в издательство». Екнуло, дрогнуло сердце. Неужели? Если позвонил редактор, значит... И ожидание чуда теперь стало чуть ли не главным моим чувством.

С того дня началась у меня полоса жизни, которая знакома всем, кто когда-либо ждал выхода своей книги. Ты попадаешь в какой-то особый ход времени, тебя захватывает напряжение некоего поля, исходящего от этого могущественного учреждения, издательства, и ты мечешься, крутишься в нем, не зная покоя. Не в том дело, что гоняет редактор, не в том даже, что у тебя нет окончательной надежды на выход книги, — цензура зарубит, — а в том, что ты постоянно думаешь об этой книге, ты пленен ею, еще не существующей, ты не можешь переключиться на другие мысли, на обдумывание нового рассказа, новой повести, не можешь сесть за работу. Твоя главная работа теперь — ожидание выхода книги. Ты ее писал пять лет и дописываешь еще три года. Тебе уже под сорок. Жизнь проходит...

Первая книга. Вот наконец держу ее в руке. И никакой особой радости, тем более ощущения чуда. Долго ждал, устал ждать, перегорел. Нет, не нравилась мне книга. Какая-то тощая, невзрачная, как и автор. Невнятный рисунок на обложке я отверг еще до выхода, но художник настоял на своем. Так всегда — ждешь одно, получаешь не то.

...Полгода или, может, год спустя после выхода книги я лечился в Юрмале в профсоюзном санатории. Гуляя, вошел в книжный магазин. И увидел свою книгу

на прилавке. Единственную! И очень обрадовался, встретив родное в чужом городе, чуть ли не за границей. Спросил у продавщицы, только один экземпляр, что ли, был? «Нет, было много, раскупили, — ответила она. — Эта последняя». Я купил свою книгу за восемьдесят шесть копеек. И вот столько времени спустя пришли запоздавшая радость и ощущение чуда. Моя книга в Латвии, в книжном магазине, ее раскупили, кто-то прочитал или читает. И обложка, оказывается, такая удачная, и бумага, и шрифт хороший. Как драгоценную находку я принес ее в палату, положил на тумбочку. И любовался ею. Встав утром, видел ее и радовался, ложась спать, брал в руки и листал. Моя книга!

А когда она еще только вышла, жена понесла ее родителям, чтобы похвалиться и порадовать их. Тесть мой, никогда ничего, кроме Корана, не читавший и не умеющий читать по-русски, попросил, чтобы ему почитали: мол, хочу знать, о чем он, мой зятек, пишет? Жена стала читать, тот, первый рассказ, «Аю-таш», и после двух страниц тесть оборвал ее: «Брось, пустое!» Ему, человеку бесконечно далекому от литературы, признающему только единственную, главную книгу мусульманского мира, рассказ о том, как мальчик Марат ехал в горы, что он увидел, пережил, показался не только неинтересным, но и бессмысленным. Вот на ком бы надо испытывать нам, пишущим, чего стоят наши писания.

Потом, когда я получил гонорар, около трех тысяч, тесть удивился: неужели за такую книжку платят такие деньги? Говорил, что это, наверное, дали по ошибке, что скоро хватятся и отберут. «Не тратьте, кладите на книжку». И до самой смерти был уверен, что гонорар придется вернуть.

Да ведь я и сам эти деньги принял как плату ни за что, как подарок. Я же не вкалывал за них в забое, рискуя попасть под обвал, не стоял по восемь часов у фрезерного станка, не потел возле котлов с шуровкой в руках, а сидел в теплой комнате за столом и писал, нет, не трудился, писание рассказов и повестей не считал и не считаю трудом, писать мне не трудно (кто-то из великих, кажется Пушкин, сказал: «Если трудно, не пишите»), а напротив — в охотку и в удовольствие (другое дело — что ты напишешь). Муки слова — да. Чувствуешь, видишь непостижимую сложность бытия и человеческой души, а выразить все это нет слов. И вряд ли ты их найдешь. Но надо искать, мучиться — в этом сладость.

Итак, я автор первой книги, кочегар в котельной — а что дальше? Как что? Ты теперь свободен от сковывающего ожидания — пиши, твори. Но что-то плохо пишется. Вымучил несколько рассказов. Нет сюжетов, немота. Выдохся на первой книжке? Заметили бы, что ли, вдохновили похвалой. Хотелось, чтобы напечатали хороший отзыв.

Какой графоман не хочет, чтобы его писания были замечены? Слаб человек. Желательно в «Литературной газете». В том, что мою скромную книжку кое-кто прочитал (другое дело, тронул ли я сердца читателей, была ли от моих рассказов какая-то польза роду человеческому), я убедился и в Латвии, и потом, позже, посетив московские книжные магазины: в течение года книги исчезли — неужели раскупили? Правда, в Башкирии книжку заметили. Писательница Мукарама Садыкова в небольшой рецензии, напечатанной в местной газете, похвалила книжку. Только потом я узнал, что башкиры удивились фразе: «Людей много, а башкир мало», — дескать, как это пропустила цензура?

Целых шесть лет ждал вторую книгу. И наконец держу в руках верстку. Рассказы, вымученные в котельной. Десять авторских листов. Издательство «Советская Россия».

...В то время я был тяжело болен. Невроз, психастения, депрессия, разные фобии...Фронтальные травмы, неудачи и напряжение последних лет, видно, даром не прошли. Пришлось идти к психиатру...

Я лежал в палате №7. Рядом, само собой, была палата №6. Каждый раз, проходя мимо двери этой палаты, я вспоминал рассказ Чехова, хотя, кроме номера да еще осознания того, что я ведь тоже в психушке, ничего общего не было с тем скорбным заведением: у стен не громоздилась и не гнила грязная вонючая рвань, палаты были чистые, светлые, без решеток на окнах, врачи, кроме одного мужика, все женщины, санитаров, которые поколачивали бы нас, психов, для порядка, тоже не было. Словом, как я узнал, больница санаторного типа.

Я болел неврозом. Невроз, пограничное состояние, — значит, докатился до самой границы, а за ней — безумие и распад. Странная болезнь. Ничто не болит, не саднит, не ноет, не гноится, а жить тошно. По ночам рваный потливый сон, а утром, открыв глаза, снова видишь эти жесткие углы, унылые изгибы освещенного мертвым светом пространства, и первая мысль: зачем проснулся, зачем нужно снова ставить свое тело вертикально, чувствуя, как тебя постоянно тянет вниз, к земле, которая все равно тебя проглотит и переварит в своей глине, зачем вообще продолжать жизнь? Хотелось закрыть глаза и снова забыться. Но встаешь и начинаешь двигаться в пустоте, имитируя какое-то подобие жизни. Весь день тоска и невыносимое чувство безысходности, ощущения красок, звуков, голосов притушены, сквозь время сознание продирается с мучительным ощущением вязкой инородности каждой минуты, и каждая следующая минута кажется краем, тупиком, концом. И страхи. Страх оставаться в своей комнате в одиночестве. Как раз, когда ты один, ни с того ни с сего начинает трепыхаться сердце. Тебе говорят: у тебя сердце спортсмена, а ты не веришь, боишься инфаркта и носишь в кармане валидол. И не дай бог, уходя на улицу, забыть дома патрончик с валидолом, обнаружится его отсутствие в кармане — запаникуешь и умрешь от страха. Боишься ходить по улицам, ездить на трамвае — уносит незнамо куда, как вернуться назад? Дикий страх охватывает, когда спускаешься в подземелье метро: кажется, вот сейчас забьется сердце, станет плохо, упадешь и будешь валяться в ничтожестве под ногами равнодушной толпы. Ну, упадешь, ну, бывает, помогут же, вызовут «неотложку», сделают укол, или, если даже умрешь, зачем бояться смерти, когда жить тошно? Но здравый смысл (ничего со мной не случится, сердце спортсмена) ослаблен, заглушен болезненными предрассудками. Или даже не сердца боишься, не смерти, — это лишь поверхностное, доступное осмыслению, а тот глубинный страх, та непонятная жуть не имеет очертаний, не дается объяснению. Иногда кажется, что просто боишься своего страха.

Но самое мучительное — тоска. Беспричинная, необъяснимая. Тоска как жжение в груди, как нестерпимая боль. Принимай любые позы, пытайся усилием воли отвлечься на краски, звуки, движения жизни, когда-то волновавшие тебя, или цепляйся за простые житейские удовольствия — не получится. Попытайся читать, но книжная страница внушает отвращение, как пыльный заплесанный асфальт, и не воспринимается. Остается только веревка, — но это напоследок, когда иссякнет надежда, что время все же избавит меня от мучений...

В палате нас было шестеро невротиков. Два старика, остальные примерно в моем возрасте, за тридцать, под сорок. Налево от входа, у противоположной стены, лежали крупнотельный белесый старик и двое молодых: тщедушный бледный очкарик с обильными вьющимися волосами, которые были как бы не к лицу болезненной худобе, и его сосед возле окна, с сильно поношенным то ли от изнурительного труда, то ли от алкоголя лицом простого работяги. Моя кровать стояла с краю, у окна, моим соседом был Виктор, самый молодой среди нас, рослый парень с хорошим лицом в отросшей желтоватой щетине (видно, решил отпустить бороду). За ним у стены второй пожилой невротик, которого звали Михаил Пафнутьевич. Отчество его я слышал впервые и сразу никак не мог запомнить.

Поначалу, в первые дни в больничной палате, все эти люди казались мне очень странными, потом понял, что они и есть странные. Они, живя в одной палате, почти не общались друг с другом. Никаких разговоров, споров, даже ссор, какие случаются в обычных больницах между больными. Как если бы не доверяли друг другу — насторожены и подозрительны. Глаза у них были как-то пригашены, взгляд тупой или мягкий, без блеска здоровой жизненной энергии. На лицах, угрюмых, замкнутых, ни намека на улыбку. Я как-то обратился к белесому старику с голым до затылка черепом с каким-то пустяшным вопросом, но он взглянул на меня как бы в ужасе и, что-то пробурчав, отвернулся. Я даже не знал, как зовут этих троих у противоположной стены. Проход между нашими кроватями был полосой отчуждения.

Имена моих соседей я узнал случайно. Михаила Пафнутьевича назвал по имени и отчеству врач. Михаил Пафнутьевич обратился к моему соседу — «Виктор». А как звать меня — никто и не спросил.

В первый же день из-за Виктора, послушавшись его совета, я пережил небольшую неприятность. Дежурная сестра раздала нам какие-то таблетки, положила и на мою тумбочку таблетку, на тумбочке у моего желтобородого соседа таблеток было несколько: большие чечевицеобразные, поменьше — беленькие, желтенькие. Когда сестра ушла, Виктор сгрел всю эту химию в ладонь, выбросил в форточку и, ткнув в мою таблетку, посоветовал:

- Это тезерцин. Не принимайте.
- Почему?

— Отупеете от него. И будете спать и спать. Но поскольку днем ложиться в постель не разрешается, будете спать на ходу. Потом привыкнете, трудно будет отвыкать.

Я и без того был туп, вял, безразличен к окружающему, не хотелось лишиться окончательно остатка той малой, зыбкой чувственной связи с тенями и миражами жизни. Так что я взял эту чечевицеобразную большую белую таблетку и выбросил в форточку.

Назавтра меня вызвали к врачу.

Врач, молодой человек лет, наверное, тридцати, тоже показался мне странным. Странным было, пожалуй, его лицо, бледное, тонкогубое. На этой бледности и в сочетании с белизной халата глаза его и брови казались неправдоподобно черными. Особенно глаза. Зрачки как будто были крупнее обычного, и на какой-то миг мне почудилось, что это шары, отлитые из черного металла и бешено вращающиеся. Он глянул на меня в упор этими зрачками, как бы пронзил насквозь, тревожа и смущая мою душу, и сказал, что он мой лечащий врач, что зовут его Игорь Александрович. И вдруг спросил:

- Почему лекарство выбрасываете в окно?

Я понял, что попался, и потупленно молчал. Этот странный человек в белом халате, казалось, видит своими черными шарами сквозь стены.

— Это хорошее лекарство, снимает депрессию, успокаивает, а вы — в окно. Раз пришли лечиться, будьте добры, лечитесь. Не хотите — вольному воля.

Я помалкивал. Врач пошуршал бумагой, что-то записал и спросил уже мягче:

- На что сейчас жалуетесь?

Жаловаться можно на головную боль, но говорить даже врачу о своих невротических ощущениях, переживаниях, о том, как тебя, мужика, гложет тоска или как ты боишься ездить в метро, не то что неловко, а как-то противоестественно. Но куда деваться — приходится.

- Тоска. Какие-то страхи. Бессонница, — промямлил я.
- Гипнозом когда-нибудь лечились?

— Нет.

Он поднялся из-за стола.

— Встаньте ближе ко мне.

Я покорно вытянулся перед ним.

— Смотрите прямо мне в глаза.

Он впился в мои глаза черными шарами и, поманивая пальцем перед моим носом, стал пятиться. И я, влекомый силой его взгляда, как кролик перед удавом, начал подаваться к нему. Может быть, здоровый человек остался бы стоять на месте или послал бы врача подальше, а меня черные шары притягивали, и я падал на них. Он поддержал меня, чтобы я не упал, и сказал:

— Хорошо, — сел за стол и что-то написал в истории болезни. — Можете идти. Лекарство больше не выбрасывайте.

Я вышел в коридор. Длинный сумрачный проход в дальние недра больницы. Грязно-желтые стены, тошнотворно-зеленый линолеум. По коридору тусклыми тенями туда-сюда бродили больные. Некоторые были одеты в домашние спортивные костюмы, в основном синие, на ногах тапочки, но большинство щеголяло в светло-коричневых, застиранных больничных куртках и мешковатых штанах. Среди пожилых, доведенных мерзостями и унижениями долгой жизни до грани безумия, встречались ребята совсем молоденькие. Что с ними?

Окна больничного коридора выходили в парк. Я подошел к окну. За окном стояли деревья, ближе к корпусу, перед фасадом, — дубы, липа, черные, голые, поодаль за ними белел частый березняк. Серое и сырое апрельское небо тоскливо нависало над ними. Заболев, я как бы ослеп или, вернее, перестал воспринимать чувствами краски жизни и сделался глух к сладостным напевам, посылаемым в мою душу деревьями, ландшафтом и небом. Но время от времени случались со мной странные, мучительные приступы, как бы с треском разрывалась мутная пелена, опустившаяся между мной и миром, и я видел окружающее в пронзительном противоестественном свете, а чувства, испытываемые при этом, — то ли печаль прощальная, то ли умильная радость от красоты мира, то ли непереносимая любовь к жизни, то ли жалость ко всему и к себе, — это не выразить, не передать словами. Вот я глянул в окно, жарко колыхнулось в груди, ударило в глаза, и я, как бы прозрев внезапно, увидел почерневший от апрельских сырых ветров дуб выпукло приближенным, как в бинокле, я видел каждую извилистую трещинку на его бугристой шершавой коре, каждую веточку, беззащитно тонкую, далеко отросшую от матери-ствола, и это старое дерево показалось мне таким невыносимо прекрасным, что я, как бы прощаясь с ним, пока оно не ушло за плоскую невротическую пелену, заплакал. Потом перевел слезящийся взгляд в коридор и увидел больных, похаживающих туда-сюда. Как я любил и жалел их... Как раз наступало у меня такое состояние, когда я мог каждому из них доверительно рассказать о своих страданиях и сочувственно выслушать их жалобы. Тут я углядел среди гуляющих своего соседа Виктора. Любя, жалея его и радуясь ему, я шагнул навстречу.

— Как узнал Игорь Александрович, что я выбросил таблетку в форточку? — спросил я, подойдя.

Он приостановился, взглянул на меня искоса, настороженно, помолчал и глухо проговорил:

— Отойдем к окну. — Мы отошли. — Михаил Пафнутьевич — старший по палате и по совместительству стукач. Ваши слова, ваше поведение в палате — все передается врачу. Такой тут порядок.

Он вдруг оборвал разговор, словно спохватившись, отвернулся и побрел по коридору. Как и все, он был странный. Я понимал, что, несмотря на молодость, на

его здоровый мужественный вид и, наверное, внутреннюю добротность, он очень страдает, в его пригасших невротических глазах угадывались тяжело пережитая душевная драма, обида, срыв и, как и у меня, безнадега.

Приступ кончился внезапно, как и начался. Опустилась пелена, окружающее сделалось пустым, мертвым и как бы контурным. Снова ударила тоска и оглушила безысходностью.

Слова Виктора о том, что Михаил Пафнутьевич — стукач, не задержались и не закрепились в моем сознании. Только вскользь подумалось: ну, старший по палате, знает, должен следить за порядком и поведением больных, сообщать обо всем врачу — ведь мы все же психи и должны быть под постоянным наблюдением. А с таблеткой надо будет впредь поосторожней: сделаю вид, что проглотил, потом украдкой выброшу.

Все же после разговора с Виктором я стал приглядываться к Михаилу Пафнутьевичу. Небольшого роста, некрупное лицо в чисто выбритых складках, волосы, серые, еще густы, взгляд синих глаз мягок и влажен, словно вот-вот заплачет, губы сложены в постоянную, чуть ироническую усмешку, одет в домашние брюки и серосиний свитер, запах одеколona, опрятность, ухоженность. Такой уютный и даже как будто женственный старичок. Чем он болен, или, вернее, в чем проявляется его чокнутость, я не знал, спросишь — не ответит.

К нему по воскресениям приходила жена, хорошо одетая благополучная женщина с увядающим, но все еще заметным лицом. Михаил Пафнутьевич надевал куртку с меховой пристежкой, вязаную шапку с козырьком, и они, по-молодому держась за руки, долго гуляли в парке.

Жена приносила ему целый ворох газет: «Правду», «Комсомолку», «Труд», «Московскую правду», «Вечерку» и даже «Спорт». Присев к столу возле окна, надев очки, он вшивался в газетные страницы, то усмехался, то угрюмел, то возмущенно или удивленно крутил головой, но ни с кем не делился прочитанным. Газет этих я никогда не читал, моей газетой была «Литературка», которую до болезни я покупал в киоске, а когда заболел, газетная бумага и мелкая рябь мертвенно пахнущих букв наводили на меня тоску. Не заглядывали в газеты и остальные обитатели палаты.

Болезнь Михаила Пафнутьевича однажды все-таки проявилась. Случился приступ или, как здесь говорили, большой опозорился. Вечером, сидя на кровати, он долго шуршал газетой, потом погасили свет, затихли, хотя, конечно, никто не спал: одни заглянули в черную пустоту бессонницы, другие ждали действия снотворного. Вдруг истошный крик: «А-а-а!». И Михаил Пафнутьевич вскочил как подкинутый. Прибежала дежурная сестра, включили свет. Михаил Пафнутьевич, держась за грудь, выкатив округлившиеся от ужаса глаза, стоял у своей кровати и кричал.

— Сердце! Останавливается! — судорожно проговорил он.

— Не остановится. Если бы остановилось, вы бы не кричали. Успокойтесь. Идемте, я вам дам лекарство.

Его, как и меня, мучили страхи, он, как и я, страдал и был несчастен.

А вот мой сосед Виктор, показавшийся поначалу человеком мягким, интеллигентным, стал удивлять меня своей неуравновешенностью и истерическими выходками. Однажды выскочил из кабинета врача с искаженным бледным лицом и, идя по коридору, стал кричать:

— Пошел он подальше!.. Шарлатан! Я его самого загипнотизирую!

За ним шла дежурная медсестра Нина и ласково успокаивала его, как ребенка:

— Виктор Иванович, не надо так, успокойся, миленький, успокойся, пожалуйста.

Вернувшись в палату, Виктор лег на койку навзничь и уставился в потолок. Нина присела рядом, трогала его волосы и тихо говорила ему ласковые слова.

— Чего он мне в душу лезет?! — выстонал Виктор. — Что я ему?..

Сменщицы Нины, Надя и Зоя, были деловито холодны и грубоваты, а Нина была удивительная женщина. От ее бело-розового, мягко очерченного лица, от ее больших серых глаз, от ее постоянно сложенных в милосердную улыбку полноватых губ исходил умиротворяющий свет добра и соучастия; никакие барбитураты не могли бы успокоить впавшего в болезненную раздражительность невротика так, как ее сопереживающий, всепрощающий материнский взгляд, как ее мелодичный теплый голос и нежное прикосновение ее рук. Да, бывают такие русские женщины... Глядя на нее, я почему-то думал: кто же ее муж? Не мог же быть мужем такой женщины какой-нибудь шалопай, выпивоха и грубый матерщинник. Будь я человеком со здоровой душой, наверное, влюбился бы в нее безоглядно и безнадежно.

Время больничное, как бы запутавшись в длинных коридорах четырехэтажного корпуса, как бы застревая и задерживаясь в палатах, ползло очень медленно или, может, вовсе замерло, как промерзающая до дна в холодные зимы наша мелкая деревенская речушка. Сегодняшний день от вчерашнего не отличался ничем: те же стены, тот же коридор, те же унылые тени в убогих больничных одеждах, так же сеет за окном нудный апрельский дождик. Копеечный завтрак в общей столовой, какая-нибудь каша с капелькой масла, чай, пахнувший баннным венником, потом до обеда разные лечебные процедуры, на обед одни и те же постные щи из квашеной капусты и обугленная котлета с картофельным пюре. После обеда разрешалось часок полежать, поспать, если сумеешь уснуть. После тихого часа, если на улице сеял дождь, — хождение по коридору или стояние у окна. И тоска, как будто уже существующая отдельно от меня в этих стенах как некая среда, как застоявшийся здесь ядовитый туман, проникающий в мозг чувством безысходности и тупика. Не находя себе места, не в силах избавиться от этого нестерпимого состояния, когда кажется, что весь мир оцепенел в тоске, я льнул к окну как к отдушине в надежде, что дневной свет, деревья и небо хоть немного облегчат мои муки. Но там тоже все было серо, плоско, тоскливо. Часто я стоял у окна своей палаты, где взгляд упирался не в частокол голых берез, а охватывал пространство, даль, зыбкую, контурную. Но иногда накатывал тот самый приступ, распахивался за забором, за пустырем сияющий ландшафт, и я выпукло, приближенно видел редкие зеленые сосны и проходящую за ними электричку. Меж сосен мелькали окна вагонов, в которых люди уносились, как чудилось мне, к иной, нездешней жизни, где нет ни невроза, ни тоски, ни психбольниц. Я радовался за них, завидовал им и плакал.

Когда дождя не было, я надевал внизу свое пальто, шапку и уходил в парк. Там тоже по аллеям бродили невротики, каждый ходил обособленно и одиноко, уставившись в пустоту и, наверное, не видя вокруг ни дохлого снега под деревьями, ни желтоватой шелушащейся коры берез, ни набухшей от влаги земли в прошлогодней перепревшей опали, ни разрывающей зимнюю почку зеленой живности на кустарнике — всего того, что я успевал узреть во время минутного болезненного прорыва к жизни. Я ходил вдоль забора из серых бетонных плит, который тянулся вокруг корпусов километра на полтора. Ходил быстро, делая круг за кругом, и казалось, что от движения мне легче. В голове пусто или, вернее, беспорядочное мельтешение каких-то когда-то от кого-то услышанных или вычитанных фраз, или случайные бессвязные видения из свалки многолетней памяти. За забором громыхала и лязгала улица, в судорожном напряжении бежала жизнь, далекая от меня, равнодушная ко мне. Со стороны улицы в углу забора была щель, выбит кусок бетона, я останавливался, глядел в просвет. Мимо забора спешили озабоченные люди, кото-

рые, наверное, мимоходом думали: «Вот психушка, там лечатся чокнутые», — и мне казалось, что я давно уже умер и моя душа видит из потустороннего мира тени и миражи оставшейся на земле, за большим забором, безвозвратной жизни. И мне было печально-печально...

Иногда приходила Аля, мы подолгу сидели на парковой скамейке, она рассказывала о домашнем, житейском и о нашем мальчишке, который пока жил у бабушки. От общения с женой и от ее ласкового «лапынька, лапынька» мне делалось легче и хотелось домой.

Свет всегда гасил Михаил Пафнутьевич. Ровно в одиннадцать, взглянув на свои ручные часы и не спрашивая согласия ни у кого, не считаясь с тем, что кто-то лежит с книгой, он подходил к выключателю и, щелкнув им, погружал палату во мрак. Но тьма не приносила сна и забвения. Я лежал с открытыми глазами, стоило только мне закрыть их, как начинало казаться, что моя кровать наклоняется, опрокидывается вместе с палатой, корпусом, городом, и сейчас я вместе со всем этим загремлю, как с обрыва, в космическую пропасть, что за горизонтом. Я глядел в окно, в успокоительный проем в пугающей черноте, в который сочился слабый свет улицы, а в щели занавески на низких облаках — отсветы огромного города. Большой четырехэтажный корпус, набитый психами, к полуночи погружался в тревожную тьму и затишал, в чуткой тишине внятно были слышны какие-то шорохи, шуршание шагов в коридоре, поскрипывание оседающего под многотонной тяжестью здания. То и дело за окном с обвальным грохотом проваливалась в загородные дали поздняя электричка. По палатам ползли черные невротические страхи, на кроватях ворочалась и стонала бессонница. Вдруг истошный крик в женском отделении, торопливые шаги, голоса, снова тишина, шорохи. А через какое-то время снова крик женщины: «А-а-а, ма-а-ма, а-а-а!» Как будто пытали, терзали железом человеческую плоть. Шаги, тишина, шорохи. Куда я попал?!

Лечил меня Игорь Александрович гипнозом. Ну и таблетками тоже. Нас, нескольких невротиков, собирал в затемненную комнату, мы ложились на топчаны, и Игорь Александрович начинал монотонно:

— Расслабтесь, закройте глаза и приготовьтесь к лечебному гипнозу... Вы совершенно спокойны и расслаблены, расслаблено все ваше тело, каждый мускул расслаблен и вял. Вас ничто не тревожит, нет неприятных мыслей, прохладное дуновение ласкает ваше лицо, ваш лоб слегка прохладен. Дышите вы совершенно произвольно, спокойно и непрерывно бьется ваше сердце. Веки ваши тяжелы, вас одолевает сон, вы засыпаете, вы спите, вы погружаетесь в глубокий сон и слышите только мой голос...

Но я не спал, бдел, как солдат на посту у склада боеприпасов, слышал не только голос врача, но и шорохи, скрипы, шелесты, звоны окружающей больничной жизни. В коридоре метались голоса, топали шаги, за окном пронеслась электричка. К оконному стеклу ветер швырял дождевые капли, как пригоршни гороха, кто-то глубоко дышал рядом, чуть в отдалении кто-то сладко всхлипывал. А меня гипноз не брал. Меня подмывало вскочить и послать врача, как и Виктор, к черту и крикнуть ему в лицо, что он шарлатан.

Но, видно, сеансы гипноза все же как-то косвенно действовали на меня. Когда делалось очень тяжело, тоска терзала душу особенно нестерпимо, обреченно хотелось видеть Игоря Александровича. И я ловил себя на том, что меня вообще тянет к белым халатам, как если бы белый больничный цвет был чем-то спасительным, отдушиной, откуда могу вдохнуть глоток воздуха и прожить еще несколько мгновений. Михаил Пафнутьевич, тот вообще постоянно лип к врачу, заходил к нему в кабинет, останавливал его в коридоре и рассказывал ему о своих болезненных ощу-

щениях. Я же стеснялся подойти к врачу, только глядел на него со стороны, искал встречи с его шаровидными глазами. Как-то раз, мучимый тоской, взглянул, наверное, на него так побито, страдальчески-умоляюще, что он остановился и спросил:

- Что, плохо?
- Тоска! — вымолвил я.
- Идемте.

Он повел меня по длинному коридору, привел в самый конец женского отделения, мы вошли в маленькую, уютно затемненную комнату, где стоял топчан, покрытый желтой клеенкой, и поблескивали полированным металлом какие-то приборы. Врач велел мне лечь на топчан и, когда я лег, дал желтый металлический баллончик с резиновым воронкообразным намордником.

- Приложите, откройте вот этот вентиль и вдыхайте.
- А что это?
- Закись азота.

Я прижал намордник к лицу и стал дышать. Поначалу легкое головокружение, как, к примеру, от ста граммов, затем сознание стало меркнуть и мне стало казаться, что я вместе с комнатой и топчаном погружаюсь в какую-то зыбкую, пьянящую среду, и при этом мое тело стремительно уменьшается, с каждым вздохом становится все меньше и меньше, вот я уже крошечный карлик, вот еще несколько вдохов — и я букашка, муравей.

— Что чувствуете? — слышу я далекий голос белеющего рядом Игоря Александровича.

- Погружаюсь куда-то, — отвечаю я не своим, сторонним голосом.
- Дышите, дышите.

Еще несколько глотков этого газа — и я уменьшаюсь в пылинку, затем совсем исчезаю со света. Но зрение и слух остаются, как бы уже существуя отдельно от моего тела. И врач начинает задавать мне вопросы, и я слышу, что отвечаю ему, вернее, отвечает отделившийся от моего исчезнувшего тела голос, как будто чужой, со стороны, не связанный с моим сознанием и мыслями. Задает и странные вопросы: занимался ли я онанизмом, как у меня с половой сферой, сплю ли я с женщинами. Голос отвечает. И вот этот голос, это нечто, отделившееся от меня, делается ужасно болтливым, начинает выворачивать всю душу, выкладывать все то, о чем в трезвой жизни я никому бы не говорил...

- На сегодня хватит, — слышу я голос врача.

Он снял с моего лица намордник, я вдохнул воздух и через минуту обрел свое прежнее тело, снова увидел себя лежащим в затемненной комнате, на топчане. Задвигался, встал. Тоски не было, кружилась голова и, как во хмелю, жизнь казалась приятной.

- Как себя чувствуете?
- Хорошо.
- Ну идите и наслаждайтесь жизнью.

Пошатываясь, я пошел по коридору и, постепенно трезвея, приходя в себя, вспомнил о том, как, одурманенный газом, как последний пьяница и дурак, поведал врачу, что я литератор, окончил Литинститут, — дескать, знай наших, не простой я невротик, — что пишу роман (это, конечно, я солгал, цену себе набивал), да еще болтал о моем отношении к цензуре. Вдруг у них тут такой порядок: доложат куда следует, мол, лежит у нас тут один псих, против цензуры выступает. И запоздалый стыд за свою пьяную болтовню не давал мне насладиться недолгим нормальным ощущением жизни, обретенным после вдыхания закиси азота.

На другой день Игорь Александрович вызвал меня в свой кабинет, порасспросил, как я себя чувствую, как настроение, сказал, что хочет предложить мне одно дело — описать свою болезнь, попытаться понять и изложить причину болезни, что спровоцировало ее, что предшествовало ей.

— Может, это связано с какими-нибудь пережитыми страхами, душевными потрясениями, ожиданием беды. Напишите предельно откровенно, все останется между нами. Я понимаю, это трудно. Но я уверен, у вас получится, вы же литератор. Когда напишете, я вам дам другое задание, посложнее. Может, это и поможет вам избавиться от вашей болезни. Бумага и ручка есть?

Блокнот и ручка у меня имелись.

Описать свою болезнь, поковыряться в своих болячках, вскрыть гнойники, докопаться до истоков, разглядеть невидимые, как бактерии, и неведомые причины болезни — задача не из легких. Ничего не пообещав врачу, решил, что не смогу, не буду. Может, он над диссертацией корпит, хочет использовать меня как подопытного кролика. Все же я задумался. Действительно, отчего я свихнулся и угодил в психушку? Думал, думал... Впервые за время болезни думал собранно, направленно. Это было похоже на то, как если бы я обдумывал сюжет рассказа или повести.

Страх — это прежде всего боязнь смерти. Все живое боится умереть, погибнуть. У человека, наделенного воображением, он особенно силен. Страх порождает инстинкт самосохранения, он, инстинкт, и оберегает животное и продлевает жизнь. На войне выживали именно те солдаты, которые боялись смерти, то есть были более смыслеными в схватке с противником, а погибали чаще неосторожные или показно храбрые.

Человеческое существо, родившись, попадает в суровый и даже враждебный мир себе подобных, где каждодневно после каждого необдуманного поступка, неосторожного шага, за каждым поворотом тропинки или проезжей дороги, на каждой улице и даже в своем обжитом доме грозит ему увечье или смерть. Здесь страхи, боязни нормальные, связанные со здравым смыслом, инстинктом самосохранения и любовью к жизни.

В бою страшно. Если ты вырыл неглубокий окопчик, ты уже понимаешь, что, возможно, вырыл себе неглубокую могилу. Мина летит шурша и перед падением на тебя издает звериный вой и... грохот взрыва, если услышал, и на твою голову посыпалась земля, — значит, ты жив. И ждешь следующего воя. Ты весь напряжен, сжат в комок, вой, секунда... и ты опять жив. А после боя ты снова весел и уже забыл о взрывах, о своем страхе.

Так в чем же природа моих страхов в мирное время? Нелепых страхов и тоски? Боюсь ездить в трамвае, как будто он уносит меня на край пропасти. О поездке в метро даже подумать страшно. И нелепый страх остаться в одиночестве в своей собственной квартире. Ничего нелепее не может быть, чем страх сна — боязнь умереть во сне. Чтобы не уснуть, половину ночи проводишь сидя. И еще позорнее — боязнь исполнять супружескую обязанность — сердце сильно бьется, а вдруг не выдержит...

А быть может, вообще, родившись, человек попадает в сумасшедший мир, в психушку без заборов и решеток. И без врачей в белых халатах. Но молодой и здоровый человек защищен от невроза и психастении легким опьянением от жизни, работой, житейскими заботами, ожиданием успехов и удовольствиями, грезами. И наркотик, внедренный в мозг самой природой, поддерживает иллюзию нормальной жизни. А вот когда по какой-то причине этот наркотик израсходовался, мир предстает перед человеком во всей своей реальной жутости. И человек попадает в психушку, с врачами в белых халатах...

Думал, думал и так и не додумался до определенной причины моих страхов и не помог Игорю Александровичу защитить диссертацию.

А знали ли о причинах своих страданий мои соседи по палате? Может, и знали, но не расскажут, не посмакуют, как язвенники или гипертоники в других обычных больницах. Мою койку от койки Виктора отделяла только тумбочка, но, ложась спать, мы молчали. А днем на прогулке, завидев меня, он сворачивал в сторону. Я сам тоже не шибко рвался пообщаться с ним. Странная болезнь, странные больные.

Прошло еще несколько больничных дней и ночей. Игорь Александрович все еще внушал мне, что прохладное дуновение ласкает мое лицо и ничто меня не тревожит, а мне по-прежнему было тошно жить. Я выпрашивал у врача закись азота и, одурманенный, подолгу простаивал у окна палаты, провожая взглядом мелькающие за соснами вагоны электрички, или гулял в парке, пьяно умиляясь клейкими листьями и проклюнувшейся из-под прели травинкой. Потом снова мутные, вязкие минуты, часы с приступами минутного, мучительного прорыва к ярким краскам и слезливо-сладостным напевам жизни. Прошла неделя, в понедельник меня вызвали к профессору. Очень старый и весь белый человек с бурыми склеротическими крапинками на лысине, видно, уже выживший из ума, пробежав мою историю болезни, сказал:

— Вот видишь, страхи. Ну чего ты боишься? Нет на свете ничего, чего можно было бы бояться. Кроме смерти. Но ведь в твои годы смерть тебе не грозит, органика у тебя здоровая. Так что живи смело.

— А тоска?

— Пройдет. Тебе надо выбраться из города, на травку, к воде.

...Через неделю меня выписали. За мной пришла Аля. Когда я уходил, в палате находился только Михаил Пафнутьевич, сидел у окна и шуршал газетой. Пожимая мне руку, старик сказал:

— Не попадай больше сюда.

— Постараюсь, — ответил я и спросил: — Вы не знаете, что случилось с Виктором, отчего он заболел?

— Жизнь. Она бьет так, что у некоторых нервы не выдерживают, — невнятно ответил старик, отвернулся и снова взялся за газету.

К моему выходу из психбольницы отопительный сезон уже кончился. Я оформил отпуск, выклянчил месяц за свой счет и укатил, как посоветовал старый профессор, на травку, к воде. Одинок бродил по проселкам, взбирался на горы и, валяясь на теплой траве, часами глядел на облака. А ложась спать, внушал себе, что органика у меня здоровая, сердце спортсмена. Так постепенно свежие ветры родного края выдули из меня болезнетворные миазмы большого города, и на июльском солнце испарились остатки невроза.

Вернувшись в Москву, я спустился в метро и почувствовал, что не боюсь. На завтра махнул в центр и наслаждался тем, что не боюсь, могу ездить куда угодно, на чем угодно. Полноценным москвичом шатался по центральным улицам, прошел от Маяковского до Красной площади, заходил в магазины, побывал на Кузнецком на выставке живописи.

Когда после долгого отсутствия возвращаешься в Москву, многое видишь как бы свежим глазом и замечаешь то, на что раньше внимания не обращал. Это — уличная толпа. Густое, вязкое человеческое месиво, прущее навстречу, напирющее сзади, обтекающее меня, задевая локтями, сумками, наступающее на пятки, равнодушное ко мне и, быть может, ненавидящее меня. И лица, глаза, выражение глаз, потухший взгляд в пустоту, озабоченность, настороженность, страх или остервенелость; редко увидишь улыбку и молодой румянец на щеках; некоторые идут и на ходу разговаривают сами с собой, кого-то ругают, проклинаят, бредят или заучивают фра-

зы, которые произнесут перед грозным начальником. Непременно встретишь замызганного алкоголика, мычащего про загубленную жизнь, или неопрятного нищего.

Шел по Петровке в сторону Столешникова, и навстречу знакомое лицо: Виктор, сосед по палате! В стареньком плаще, небрит. Первый толчок — поздороваться, остановиться. Как-никак целый месяц кантовались рядом. Обрадуемся, поговорим. Он заметил меня, и даже в его погасших невротических глазах прояснился какой-то живой блеск, но тут же отвел взгляд и, делая вид, что не узнал, прошел мимо. Я ведь тоже не остановился, не окликнул его, хотя готов был, и, когда он ушел в толпу, почувствовал даже облегчение. И на какое-то мгновение мне почудилось, что я снова в психушке...

«Хватит, увольняйся. Сиди дома, присматривай за ребенком и пиши свои рассказы. Может, больше будет толку», — сказала жена, когда снова подошел отопительный сезон.

Так я ушел на вольные хлеба, то есть сел на шею жены, чтобы стать писателем.

Если у тебя уже две книжки и ты уже почти писатель, тебя должны принять в Союз писателей. О Союз, возжеление графоманов и наглых бездарей. Если приняли, ты уже не у подножия, не на пороге, ты уже вошел, взшел и можешь открывать редакционные двери ногой.

Одну рекомендацию дал Лев Кривенко, однокашник и друг Юрия Трифонова, человек чистейший, бесребренник. Вторую — классик чувашской литературы Яков Ухсай. Вернее Ямилъ Мустафин, мой доброхот, взял у Ухсаю два листа писчей бумаги с его подписью, а рекомендацию на себя я настучал на машинке сам.

Яков Ухсай был наш земляк, из Башкирии, свободно говорил и по-башкирски, и по-татарски. То ли читал мою первую книжку (в Башкирии, как я узнал потом, на нее обратили внимание), то ли слышал обо мне. Мустафин по делам национальных литератур часто наезжал в Чебоксары, звонил Ухсаю. Ухсай говорил: «Ямилъ, давай ко мне, только сначала пообедай в столовой, а то сам знаешь, хозяйки у меня нет» (жена его умерла). Сам Ямилъ Мустафин уже был в Союзе. Евгения Марысаева тоже недавно приняли. Женя говорил, что где-то познакомился с Мустафиным и позвонил ему. Ямилъ поднял трубку и отозвался: «Писатель Ямилъ Мустафин слушает». Мы вдоволь посмеялись. Хотя Ямиля я понимаю. Принятие в Союз — это тебе не вступление в какой-то профсоюз литераторов. Я еще не знал, как буду вести себя на радостях. Две книжки для вступления в Союз у меня были, но не было уверенности, что примут с этими тоненькими сборниками рассказов. Правда, еще один рассказ был напечатан в «Дружбе народов», другой — в «Литературной России». Не густо. Женя захаживал в Союз, узнавал и звонил мне, что мое дело продвигается.

И вот однажды, в обычный серенький денек невротика и неудачника — телефонный звонок: «Талха, здравствуйте. Мустай Карим. Вы приняты в Союз. Поздравляю» (Мустай Карим был членом приемной комиссии). А я, не ждавший этого звонка, еще не осознавший, не почувствовавший душой радостную весть, но благодарный Мустаю Кариму за нее, отвечаю жалким голосом тяжелобольного: «Спасибо, Мустай-агай, спасибо!» — «Такое вот дело», — произносит Мустай Карим, видно, слегка смущенный моим унижением, и вешает трубку.

Не было ликования. Хотя, конечно, радовался, но как-то вяло, расплывчато. Наверное, как и первую книгу, долго ждал и устал ждать и надеяться. К тому же я ведь еще не получил членского билета, этой самой «корочки» с печатью и подписью Маркова. А так — чего я стою без этой «корочки», да и вообще — чего стою у нас человек без бумажки? Вспоминается рассказ Виктора Астафьева. Солдаты мы-

лись в бане. Солдатик, нерусский, казах кажется, потерял в бане какой-то документ и, вконец растерянный, убитый, выкрикивал: «Иде моя бумаска, иде моя бумаска?!» Пропал солдат без «бумаски». Так и я без этой самой «бумаски» как будто еще не был членом Союза писателей.

И наконец выдали ее, вот она, моя «бумаска», «корочка». Теперь уже точно — я писатель! «Писатель Анатолий Генатулин слушает». Билет членский постоянно носил в кармане пиджака, как коммунист свой партбилет, время от времени доставал и смотрел. Да, это мой билет, моя фамилия, моя рожа. И подпись самого Маркова Георгия Мокеевича.

Самосознание и даже физическое самоощущение человека, принятого в Союз писателей, разительно отличается от самосознания человека пишущего, но не допущенного в общество избранных, — это даже не радость, человек не может постоянно радоваться, это нечто другое. Ты перешел рубеж, вступил в другую полосу жизни, ты вошел в другое состояние, в новую ипостась. Я ходил по улицам и ни на минуту не забывал, что принят в Союз, что у меня в кармане пиджака членский билет. Прохожие, конечно, не знали, не догадывались по моей поднятой голове, по благополучному выражению лица, по изменившейся походке, что идет член Союза писателей, но я-то знал, кто я, и мне достаточно было того, что сам знаю, кто шагает по улице. Конечно, если бы знали, нет, не прохожие, ну хотя бы редкие знакомые, товарищи по заводу, по общаге — это, конечно, было бы чрезвычайно приятно. «Слышали, Только Генатулина приняли в Союз писателей?».

Я не знаю, что чувствовал, что переживал бы какой-нибудь чиновник из разночинцев, какой-нибудь Акакий Акакиевич Башмачкин, титулярный советник, если бы ему за какие-то заслуги дали дворянство? Непременно купил бы новую шубу и шляпу. И легко представить, с какими чувствами, ощущениями он хаживал бы по Невскому проспекту. Так вот и мне подумалось: мне дали дворянство. Я дворянин. То бишь интеллигент, член Союза писателей.

... Писатель должен ходить в ЦДЛ. Повязал галстук, пришел во дворец избранных, робко сунулся в дверь и, видя, как свободно проходят какие-то люди, видно писатели, шагнул внутрь. И услышал женский грубоватый голос:

— Молодой человек, вы куда?

— Я член Союза писателей.

— Предъявите членский билет.

Пожилая дама очень придирчиво изучала мою «бумаску» с моей не очень пригожей физиономией, поглядывая на меня недоверчиво — ну не похож на писателя, рылом не вышел. Ни единого признака писательского таланта, да и одет плохо. Наконец прошел в холл. Накурено — хоть топор вешай. Стоят, курят, некоторые трубку, радостно разговаривают друг с другом писатели, кое-кто в кожаном пиджаке, у многих носы горбатые, породистые — это московские, русские аристократы, какие-то, встретившись, целуются, дамам целуют руки. Куда я попал?!

Вдруг подходит ко мне некий товарищ, начальник или дежурный, и тоже:

— Вы член Союза?

— Да, да.

— Предъявите ваш членский билет.

После внимательного изучения моей «корочки», слава богу, отпустил с миром. Потом этот цэдээловский вышибала чуть ли не полгода проверял мой писательский билет, в то время как Женя Марысаев, рослый, в кожаном пиджаке, проходил в дубовую писательскую дверь не обращая никакого внимания на вахтеров и вышибал. Ну не похож я на писателя. Трубку, что ли, купить и начать курить табак? Вы-

шибала оставил меня в покое только после того, как я купил кожаный пиджак, или просто привык к моей неписательской роже.

А незнание продолжалось и потом. Как-то в Коктебеле, приболев, выклянчил билет в спальный вагон. Когда мы с женой вошли, на физиономиях некоторых пассажиров проступило такое выражение: как они сюда попали?! Оказалось, мы попали не туда, в секретарский вагон... Где сейчас Коктебель, где секретари? А-у-у!

Сев на шею жены и вступив в Союз, я, новоиспеченный писатель, понял, что теперь должен творить и творить. Только вот вопрос: о чем писать, что творить, должен же что-нибудь существенное, заметное. Выдумывать сюжеты не умел. Ведь романы и у больших писателей не сплошной вымысел. Болконские, Левины, Каренины — это сам же Толстой и его окружение. Опыт собственной жизни, личный опыт. Их жизнь была интересная, полнокровная — все же дворяне, князья, генералы. А моя жизнь... Кому интересна жизнь нерусского деревенского мальчика, беспризорника, проходчика и заводского рабочего? Выходит, мой основной опыт жизни — это война. Хотя я был всего лишь рядовым, между мной и князем Болконским на войне мало разницы. Вот и пиши о войне.

Отойдя от войны на почтительное расстояние, молодые писатели, подучившись в Литинституте, перечитав классиков, стали писать о войне — начался в литературе период военной прозы. Все ждали появления новой «Войны и мира». Но она все не появлялась. А то, что писалось, критики называли лейтенантской прозой, потому что она в основном была написана лейтенантами. Ведь лейтенантами на войне были бывшие сельские учителя, студенты и вообще более-менее начитанные городские люди.

Но новой «Войны и мира» лейтенанты так и не создали, и в семидесятые годы критики стали писать об усталости военной прозы. Литература устала воевать, претрудилась, а глубинной, донной правды о войне не было написано. Но «окопная» правда, облаянная угодливыми критиками, устояла.

И вот в семьдесят девятом году, исчерпав себя несколькими хорошими повестями лейтенантов Константина Воробьева, Григория Бакланова, Василя Быкова и еще нескольких прозаиков, литература о войне опустила до вторичных поделок и полуправды генеральских мемуаров, когда стало казаться, что ничего нового о войне уже не напишется, когда лейтенанты перешли на мирные темы, не шибко преуспев на новом поприще, а рядовые, кроме Астафьева, еще не выбрались из немоты, — в том году в «Дружбе народов» появилась повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка». Герой повести не лейтенант, а рядовой Сашка, окопник, пехтура. Не Платон Каратаев, но по душевному складу, чистоте и жалостливости к человеку близок к нему. Я сразу понял: повесть написал рядовой или сержант, чудом уцелевший в тяжелых зимних боях под Москвой.

Успех был колоссальный. По тому возбуждению в литературной среде, где искренней радости одних сопутствовала плохо скрываемая зависть других, было видно, что повесть прищлась ко времени и заняла как раз то место в литературе, которое пустовало, — вслед за лейтенантами и генералами наконец пришел солдат и заявил о своем праве стоять рядом с лейтенантами, но, как и в бою, впереди генералов и маршалов. Заговорили о «новой волне», о человеке на войне. Я подумал, что, может, этой волной и меня прибьет к желанному берегу, и достал из папки давно написанную и почти позабытую повесть «Атака» — о бое, о рядовых солдатах, об их бессмысленной гибели. Перечитал, дописал кое-что, восстановил выброшенные в уступке цензуре места, один экземпляр отнес в «Совпис», там уже несколько лет лежала без движения рукопись книги, другой пустил по новому кругу. Сначала в

«Дружбу народов», в «Наш современник», в «Новый мир», отовсюду вернули с невнятной отпиской. В «Октябрь» не носил: после кочетовских нападков на «Новый мир» Твардовского я не уважал этот журнал. Осталось «Знамя». В этот журнал лет десять назад я уже приносил «Атаку», тот, первый вариант. Вернули с убийственной отпиской. Принес, конечно, без малейшей надежды, скорее для куража, как говаривал Женя Марысаев: дескать, пусть лучше побывает там, чем пылиться дома в папке, пусть читают.

Отнес и забыл. Вдруг звонок, просят зайти. Приехал на Тверской бульвар. Просят зайти и для возвращения рукописи, у меня такое уже было. Поэтому никаких волнений, связанных с надеждой. Ведь если даже приняли, если даже есть верстка, я же знаю, нельзя надеяться, там еще цензура, всякое может случиться. Зашел в тесную комнатку отдела прозы, окна которой выходят во двор Литинститута, на скверик с Герценом. За столами одни женщины. Встретили тепло. Сказали, что повесть понравилась, что это у них бывает исключительно редко, чтобы рукопись из «потока» обратила на себя внимание. «Вам повезло». Потом узнал, как это было. Валявшуюся давно на полке папку с моей повестью дали какой-то редакторше для очередной отписки и возвращения автору-графоману: дескать, сожалеем, повесть ваша по идейно-художественным соображениям не подходит нам или что-то в этом роде. Но редакторша прочла повесть и, оценив: «Это то, что надо», отдала Наталье Борисовне Ивановой. Иванова прочтала и сказала: «Стыдно не печатать такую повесть после «Сашки»». А мне: «Читали все и пришли к единому мнению: будем давать. Но есть еще, — Иванова показала пальцем куда-то вверх, — что скажут там».

Она повела меня туда, на второй этаж, к замглавного. Я не знаю, как разговаривал Василий Васильевич Кагинов с литературными генералами и полковниками, лейтенантами и секретарями, со мной же он заговорил без той ледяной вежливости или, напротив, напускной фамильярности, с какими разговаривали часто со мной в других редакциях. Сказав несколько похвальных слов, он вдруг повысил голос, как распекающий рядового солдата командир взвода, даже стукнул кулаком по столу — и сразу понравился. Сказал, что он тоже воевал, был пулеметчиком, что у нас в армию дурачков не брали. «Убрать дурачка Рогозова! Почему у вас не сказано, в каком году идут бои? Если в сорок четвертом, на Карельском перешейке, — это четвертый удар. Потом ни слова о военно-политической обстановке, о втором фронте. Давайте работайте!»

И началась работа.

И вот в майском номере «Знамени» за 82-й год вышла моя повесть «Атака». Как это бывало, во всяком случае со мной, после долгого ожидания, мук редатуры и сомнений, не испытывал никакой особой радости. Просто осознал, что повесть вышла, и почувствовал облегчение, и, конечно, была тайная надежда: может, заметят. Ведь Наталья Борисовна говорила как-то, что «Атака» чуть ли не на уровне «Сашки». Но не настолько был наивен, чтобы рассчитывать на шумный успех кондратьевского «Сашки». После «Сашки» прошло три года, литературное, околослитературное, читательское возбуждение улеглось. Я шел вторым, первым никак не мог, потому что в те годы, до «Сашки», «Атака» никак не могла появиться в печати, вернее, я был замыкающим, как в армейском строю по росту всегда шагал в хвосте. А второй или замыкающий, будь то в космонавтике или в литературе, звезд с неба не хватает.

И вот тишина. Месяц, другой. Читают или пропустили как нечто вторичное о войне? Нерусская фамилия тоже не в мою пользу. Вот если бы был Иванов или хотя бы Рабинович. А то: а, это национальная литература, и не Айтматов. Позвонил только Валентин Ерашов. Похвалил повесть: «Заметная публикация». Вдруг позвонил

Кондратьев. Прочитал повесть. Наталья Иванова посоветовала. «Повесть что надо, — говорил Кондратьев. — Правда. Хороший язык. Напишу рецензию в “Литературку”». Пригласил к себе. Я поехал. Он жил тогда где-то в Медведково в кооперативной конуре. Сержант на фронте, теперь знаменитый писатель, он был со мной на равных, как солдат с солдатом, мы с ним разговаривали так непринужденно и тепло, как если бы знали друг друга всю жизнь или воевали в одном взводе. Потом появилась в «Литературке» его статья о моей повести. С тех пор мы стали друзьями. Он потом немало помог мне: то советом, то предлагая мои опусы какой-нибудь редакции или направляя на меня внимание критиков. Была еще рецензия Олега Смирнова, тоже фронтовика, мое имя мелькнуло в каких-то обзорных статьях. И все.

Правда, публикация в журнале ускорила выход книги в издательстве. Купил сто экземпляров, раздал знакомым, родственникам жены и еще кому-то. Потом кинулся было прикупить еще экземпляров пятьдесят, но с прилавков магазинов ее как ветром сдуло. Раскупили — значит, читают. А в 84-м году в издательстве «Современник» вышла еще одна книга. Кроме того, с 78-го по 87-й год в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Урал» и в еженедельнике «Литературная Россия» печатались мои рассказы. Ямил Мустафин, встречаясь со мной в ЦДЛ, каждый раз говорил одно и то же: «Везде ты, какой журнал ни возьми в руки — тебя печатают, куда ни пойдешь — везде про тебя говорят». Ильгиз Каримов, прозвавший меня в годы болезней и неудач, когда я, впадая в тоску, плакался ему в жилетку, «йылак Талха» (нытик Талха), сказал: «Ты пошел, Талха». Как пошел, куда пошел? Наверное, в том смысле, что сдвинулся с места, наверное, на литературной ярмарке тщеславия, в пестрой толпе, разглядели тщедушную мою фигуру.

Да, во внешней суетной жизни вокруг меня что-то происходило, но во мне, в моем мировосприятии и самооценке, мало что тронулось. Устал, перегорел, что ли. Ведь уже пятый десяток. Пропустил мимо внимания даже сказанное Баклановым: «Вы же известнейший писатель», и замечание Труновой: «Если бы вы слышали, что о вас говорят». Я ведь, грешным делом, подумал, что говорят плохо. Приходя в ЦДЛ, замечал на себе то ли любопытствующие, то ли завистливые взгляды каких-то незнакомых писателей. Быть может, думалось мне, впору купить трубку и набить табаком. Но мой приятель Ковалевич исправил мое заблуждение: «Тебя печатают лишь потому, что ты нерусский». Быть может, и Евгений Марысаев, приятель по Литинституту, так считал, но он однажды только сказал:

— Толя, ты умрешь от скромности.

Мою неуверенность в себе, в своих достоинствах, и закомплексованность он принял за скромность.

Только когда меня пригласили на съезд башкирских писателей, узнав и увидев, как, оказывается, я там известен, был слегка тронут.

... Впервые в Уфе, столице малой родины, я был не проездом, а гостем. Мы, московские писатели, жили в гостинице «Россия». Я почему-то оказался один в номере. Я ведь до этого никогда не жил в гостиницах и не предполагал, что они бывают так уютны. Широкая кровать, тут же душ, туалет, мягкие кресла, большой телевизор и даже телефон. Утром он зазвонил, и в трубке ласковый голос:

— Анатолий Юмабаевич, вас на первом этаже ждет завтрак.

Вот ведь, знает мое отчество. Спустился в кафе, а там за столом с закусками и кумысом в бутылках нет ни одного свободного места. Один свободный стул только рядом с Сергеем Михалковым. Подумал, что не посмели, наверное, сесть рядом с «дядей Степой».

И вот я, Анатолий Генатулин, Талха Гиниятуллин, сын Сапанай, завтракаю рядом с самим... Может, подстроили...

Потом заглянул ко мне Мустафин, оглядел номер, спросил:

— Ты один?

Получив ответ, выругался матом и добавил:

— Тебя одного поселили в люксе (я впервые слышал слово «люкс»). А мы втроем, даже Михалкову дали номер на двоих. Что они носят с тобой как с писаной торбой?!

Потом, во время съезда, меня посадили в президиум рядом с башкирскими классиками, а остальные, не классики, смотрели на меня из зала. Неужели в их глазах я был известнейшим московским писателем? А во время перерыва какие-то писатели и дамочки поглядывали на меня как на диво, на меня направляли телекамеры, щелкали фотоаппаратами, совали блокноты для автографа. Потом на банкете с обилием закусок, вина и кумыса (напротив на улице в мясной магазин томилась длинная очередь) ко мне подходили какие-то люди и чокались, один повторял: «Талха, снова живем»...

Вернувшись в Москву, я снова затерялся в толпе «ярмарки тщеславия» и слез писать роман. И вот однажды в ЦДЛ, проходя мимо меня в холле, Сергей Михалков пожал мне руку. И я подумал, что он обознался, приняв меня за другого. И это спасло меня от уничижительной благодарности заметившему меня литературному генералу.

В этом же году вышла моя третья книга, на этот раз потолще и с портретом. Я купил сто экземпляров, дарил с автографом знакомым и родственникам жены, захаживал в книжные магазины и, видя обложки с моим именем, испытывал удовольствие, как если бы видел свое фото на Доске почета.

Леша Захаров рассказывал, как купил на бульваре Рокоссовского, что рядом с нашей улицей, мою книгу и у своего подъезда столкнулся с Иваном Семенычем, вагранщиком, с которым когда-то работал в литейке и жил в бараке. Поздоровались, поговорили — и Леша старику:

— Семеныч, смотри. У Тольки Генатулина вышла книга.

— Иди ты. Что он, писатель?

— Писатель. О нем еще по радио говорили. На, почитай.

Иван Семеныч читал только по складам и то только «Вечернюю Москву». Взглянул на обложку и сказал:

— Может, не он?

— Он, он. Посмотри на его морду.

Старик посмотрел на морду, помолчал и произнес:

— А был шпана.

Если кто-нибудь терпеливо прочтет эти мои записки, может подумать: написано все это ради похвалы или в назидание слабым и ленивым. Дескать, вот я родился в глухой деревне, в дымной избе и до пятнадцати лет не говорил по-русски, и, казалось бы, никаких предпосылок у меня не было для жизни в Москве, да еще в качестве писателя. Но не для этого я написал. А скорее из любопытства к прожитой жизни. Пытался размышлять о том, как я, неудачник с самого рождения (больные родители, сиротство), выжил, не пропал или, как говорил Вячеслав Кондратьев, не спился, не опустился от ударов немилостивой судьбы. Кто помогал мне, что помогало и направляло на россотнях на единственно верный путь? В самом начале ухада за холмы? Кто подкинул мне книгу «Ташкент — город хлебный»? Если бы не она, я, быть может, и в Ташкент не сбежал бы из голодной деревни. Зачем подошел ко

мне в Магнитогорске дохлый карманный вор Васька? Без него вряд ли я добрался бы до Ташкента. Кто он, этот железнодорожник, спасший мне жизнь в поезде между Самаркандом и Ташкентом? Кто приказал мне на фронте голосом моей мамы не бросать каску? Почему старый и больной Стефанов настойчиво советовал мне учиться? Кто меня оставил бы в Москве, если бы в Красной Поляне однажды не встретил человека с гитарой и не вел с ним умные разговоры во время ночных прогулок в ущелье? Поглазев на Красную площадь, поехал бы на новое строительство. Правда, и в Москве я немало натерпелся. Равнодушные люди лишили меня московской прописки и выгоняли из города, как бездомную собаку. И кто надоумил меня, проходя мимо газетного стенда, прочитать заметку о том, как американские ветераны в знак протеста бросают свои боевые награды к подножию памятника Аврааму Линкольну? Где я сейчас был бы, был бы вообще, если бы прошел мимо газетного стенда или побоялся бросить боевые награды («Кого вы выгоняете?!») на стол районному начальнику? Сейчас, когда уверился, что жизнь прожил в своей настоящей судьбе, страшно об этом даже подумать... Или если бы в третьей моей семилетке старенькая математичка не допустила бы к экзаменам. Хватило бы у меня духу в четвертый раз сесть за парту седьмого класса? А ведь если бы однажды не решил навестить родные края и если бы зоотехник Карашурин не повез меня на Аен-таш, не было бы у меня рассказа «Аюташ», который протащил меня в Литинститут. Ну, написал, принес, а там: «Мы уже приняли две тысячи рукописей». Уходил, и вдруг мне вдогонку: «Молодой человек, оставьте папку с рукописью, может...» В редакции журнала «Знамя» пылилась моя папка с повестью «Атака». Надо было ее вернуть автору. Как раз в это время приняли на работу нового редактора и посадили ее разбираться в накопившихся рукописях из потока, чтобы она с коротенькой отпиской «к сожалению, ваша рукопись не получила одобрения редакции...» вернула мне мою «Атаку». Она прочитала и то ли по неопытности, то ли по какому-то чутью сказала: «Это надо печатать». И я «пошел». Странно, почему ту женщину потом я ни разу не встретил в редакции?..

Я не верю ни в провидение, ни в предопределенность. Но когда задумаешься, то выясняется, что встречи с людьми, которые помогли и советом и делом, расположены на линии судьбы. Я их называю «регулирующими». Быть может, это только случайности? Но случай слеп и ходит ощупью. Тогда, выходит, судьба помещена в моем собственном мозгу. «Регулирующие» встречаются на развилках и поворотах дорог. Этих развилки и поворотов может быть много. Дело в правильном выборе направления. Хотя ведь нет полной уверенности, что то или другое направление правильно. В правильности и неправильности убедит только конец пути — тупик, пропасть или цветущая голубая долина. Выбирают интуиция и здравый смысл. Если бы не внял совету Бориса остаться в Москве для трудной жизни, где я был бы сейчас? Ведь все судьбоносное в моей жизни произошло в Москве.

А если задуматься глубже, приходишь к странной (может, единственно верной) догадке, что меня кто-то вел или что-то вело, направляло, оберегало и предостерегало от неверных поступков, проступков, преступлений, таких, как водка, женитьба на случайной женщине, непреднамеренное убийство в приступе гнева, да мало ли еще что. Только ради какой цели? Ради самоутверждения писательством? Тут я не шибко преуспел. Или просто для того, чтобы я прожил жизнь человеком? И это некто или нечто, внедрившись в мое подсознание, мне нашептывало: будь скромн, не заносись, принимая временные удачи за звездный час, не завидуй, сохрани здравый смысл и душу свою, потому что тебя в недалеком будущем могут постигнуть большие неудачи и испытания, которые ты должен преодолеть.

А ведь так и получилось. Только не то, что предполагалось, как, к примеру, моя тяжелая болезнь, а гораздо страшнее. Развалилась страна, живя в которой я худо-

бедно состоялся, походил в писателях, и даже носились со мной как с писаной торбой. А сейчас газеты пишут, что литература — это частное дело каждого, государству она не нужна, что книга всего лишь товар: если купят твою книгу — ты писатель, если нет... В писатели выдвинулись ушлые люди с купеческой психологией, юмористы-клоуны и те, кто, слепив уродливые фигурки из человеческого дерьма, выдают их за героев новой литературы. И самое печальное в том, что молодая слабообразованная публика, не прочитавшая ни Чехова, ни Толстого, принимает этот бред за культуру и употребляет на сытый желудок.

Недавно я заглянул в редакцию «толстого» журнала, в котором в советские годы часто печатался. Молодой человек, мельком взглянув на меня из табачного дыма и, вероятно, приняв за маразматика-графомана, едва внятно буркнул:

— Принесли что?

Я положил перед ним рукопись повести.

— О чем повесть? — спросил редактор и, получив ответ, отрубил:

— О войне не печатаем. У нас идет новая литература.

Я сказал, что в этом журнале в прежнее время много печатался, и назвал свою фамилию. Редактор процедил:

— Не припоминаю такого писателя.

Но самая горькая неудача, непредвидимая и неминуемая, — это смерть жены. Она устала быть женой писателя-неудачника. Жертвуя здоровьем, она одна пахала, чтобы я, дармоед, сидел дома и писал никому теперь не нужные свои романы...

Так что дорога, начавшаяся за ближнем холмом, проведя меня через огни, воды и медные трубы, довела до конечной остановки...

Сойду на глухом полустанке и пойду по узенькой тропинке через сумрачный лес. И встречу человека с бородкой и в докторском пенсне. Да, это будет он.

— Здравствуйте, Антон Павлович! Не подскажете, как пройти к писателям?

— Здравствуйте! Идемте.

Через сумрачный лес узкая тропинка приведет нас к домам с колоннами, напоминающим «Малеевку». В земной жизни в главном корпусе жили и творили классики социалистического реализма и секретари, а в корпусах поменьше и похуже, но тоже с колоннами, обретались ангажированные критики, редакторы и прочие околотературные прихлебатели, которые не пускали меня в литературу.

— Нам не сюда, — скажет Чехов.

Минуя маленькие корпуса, мы выйдем на берег большой реки.

— Какая это река?

— Это Время, — ответит Чехов и проголосует на противоположный берег: — Паром!

И вскоре от противоположного берега, где, польхая окнами, высятся то ли высокие дома, то ли золотистые храмы, отойдет паром. Когда паром приблизится к нам, я разгляжу в сумраке и узнаю бородатого старика в балахонистой рубахе, подпоясанной ремешком.

— Граф все чудит, — скажет Чехов. — Писание романов он считает заблуждением, вот и устроился на полезную работу.

— Кого еще привел, Антон Павлович? — обратится граф к Чехову.

— Писателя, Лев Николаевич, — ответит Чехов. — Писателя...

В непокошенной осоке...

ГАРМОНИСТ

На базаре непогода.
Всюду лужи, не пройдешь.
Обещали солнце, вроде,
ну а льет осенний дождь.

Кто под зонт, а кто под крышу,
понырял торговый люд,
только в шляпу гармониста
ледяные струйки льют.

Он поет «Златые горы»,
но в кармане денег нет,
а ведь надобно Егору
мелочишки на обед.

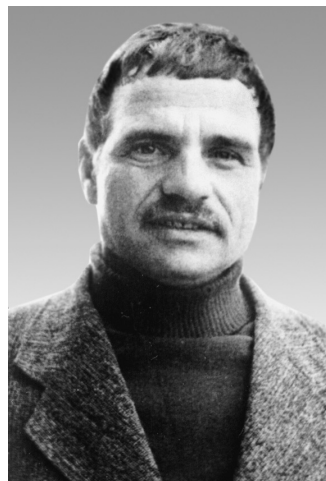
Он прозябшими руками,
проклиная ремесло,
бросил в шляпу мокрый камень,
чтоб ее не унесло.

АХМЕТ

Ахмет, он не из важных птиц —
наводчик с нашей батарей,
и потому мог приходить
к нам в батальон в любое время.

Придет то с банкой молока,
а то притащит папиросы.
«Ну, позови-ка земляка», —
Ахмет дневального попросит.

Как по тревоге я бежал,
полубосой, полуодетый,



и, улыбаясь, руку жал,
а то и обнимал Ахмета.

Потом мы пили молоко
сгущенное из Карламана,
и о Башкирии с дружкой
мы вспоминали, как о маме.

САМОВАР

Наши толк в чаях не знали:
чай варили в чугуне.
А старинный самоварчик
от безделья зеленел.
Но к приходу Ульмясбая
он стоял среди стола,
и бока его сияли
по избе, как зеркала.
Пили чай отец с Ульмясом
ну почти что наповал.
И теперь не ясно даже,
кто кого перепивал.
Ведь никто из них не падал,
не бросался в кулаки.
Самовара по два кряду
выпивали мужики.
Как-то весело прощались,
и, в пожатии крепки,
в самоваре отражались
две мужицкие руки.

ПОЛДЕНЬ

На глаза фуражку сдвинув,
спит пастух на берегу.
Две больших дворовых псины
кнут пастуший стерегут.
Не пойму, где был, где небыль.
От меня невадалеке,
чуть покачивая небо,
цапля бродит по реке.
На песке кулик пасется.
И, пока погожи дни,
в Сухайле стирает солнце
пятна темные свои.

КОЛОДЕЗНЫЙ ЖУРАВЛЬ

Он держался еле-еле,
ветерок его качал.
И пугающе скрипели
два худющие плеча.
Был он схож с огромной птицей,
в небо поднятый рычаг,
и желающих напиться
всех поклонами встречал.
Громыхала цепь по срубам.
И смотрел не я один,
как сухие чьи-то губы
целовали край бады.
Он взлетел бы к стае птичьей,
утомленный ремеслом,
но к хвосту от старой брички
привязали колесо.

НЕТ МАКАРА

По жнивью, по хляби пашен
наконец-то в первый раз
я забрел туда, где даже
и Макар телят не пас.
В непокошенной осоке,
в несгоревшем камыше
накопилось дичи столько,
сколько надобно душе.
Сумасшедшие бекасы
могут с ног, как пуля, сбить,
или в рот забьются даже,
если плотно не закрыть.
По чилиге и оврагам
зайцы прут за валом вал.
Я б сказал, что это враки,
если б сам не побывал.
Эх, по случаю на пару
«раздавить» бы грамм пятьсот,
Да вот не с кем: нет Макара.
Он телят здесь не пасет.

В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

В родительский день я на кладбище тихом,
молчит под землею немой городок.
Здесь столько народа,
но вовсе не слышно

ни звонкого смеха, ни топота ног.
Почти некрещеный,
к кресту припадаю,
букет горлицев кладу на вьюнок.
И мне с фотографии мать, улыбаясь,
шепнула чуть слышно:
«Спасибо, сынок!»
Я слышу, как песню о солнце и хлебе,
взлетев высоко, жаворонок поет.
И душам умерших по синему небу
прокладывал в небе тропу самолет.

ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ

От стужи трескается лед.
Метель гуляет во поле.
А черный ворон снова вьет
гнездо на старом тополе.
У них любовная пара.
Смотрите, как им весело.
Какая нежная игра
в промерзшем поднебесии.
О Боже, как они черны,
когда над снегом кружатся!
Как восхитительно верны
все триста лет супружества!
Они прекрасны без прикрас.
Они в любви великие!
Они, в отличие от нас,
друг другу глаз не выключают.

ОГОРОДНЫЕ СТИХИ

Огуречки да помидоры,
свекла красная да морковь.
Нету времени даже на ссоры,
а какая уж тут любовь.
Все в заботе и все в работе.
Повнимательней погляди,
так живем мы с тобою — вроде
целый век у нас впереди.
Огуречки и помидоры,
свекла красная и морковь,
отойдите немного в сторону:
пропустите вперед любовь.

НАСЛЕДНИК

Дед ни капельки не выпил,
но веселье бьет из глаз:
первый снег сегодня выпал
в шестьдесят девятый раз.
Внук то спереди, то сзади,
то проносится вокруг:
не устал в детсаде за день
и не тянет к деду рук.
Дед идет неторопливо,
снег сметая с бороды,
а за ним внучок счастливый:
«Дед, смотри — мои следы!»

САША

Уже целый годик исполнился Саше.
И Сашенька стала на годик постарше.
На годик взрослее, на годик умнее,
и Сашенька многое делать умеет.
От бабушки деда она отличает,
по телефону она отвечает.
Растет и умнеет она ежедневно.
Она же у нас — Александра Сергеевна.

«Стингер» или гранатомет?

Рассказ

... Наконец самолет взлетел.

— Я хочу смотлеть в окошко, — заявил капризного вида мальчик лет четырех. Это, видимо, означало: «Я хочу сесть на твое место».

Устроившийся у иллюминатора и раскрывший «Вечернюю Уфу» Загидуллин повернулся к сидевшему рядом мальчику и глазами стал искать его маму. Но рядом с мальчиком, с краю, сидел мужчина преклонного возраста. «С дедушкой летит... Лет восемьдесят, не меньше...» — машинально сделал вывод Загидуллин.

Внешность «дедушки» была неординарной. На его так редко встречающемся теперь френче старого покроя была широкая полоска орденских планок. «Ветеран... участник войны». Лет пять назад похоронивший отца-фронтовика, Загидуллин очень уважительно относился к таким людям. Мягко и вежливо он обратился к старику:

— Простите, отец, мальчик с вами?

— Сиди на месте и со всякими незнакомыми не разговаривай! — сердито сказал мальчику фронтовик, продолжая смотреть немигающим, пронзительным взглядом прямо перед собой.

Загидуллину стало обидно. Мало того, что заслуженный ветеран его даже взглядом не удостоил, так еще и принимает его за какого-то «всякого незнакомца». С чмоканьем сосавший карамельку, мальчик засопел и обиженно стал смотреть на «плохого дядю», с которым ему запретили разговаривать.

«Ну и ну... что дед, что внук». Стараясь отогнать возникшее к ним обоим неприятное чувство, Загидуллин развернул газету. «Дед-то ладно. Но мальчишка этот... обещает вырасти вредным и наглым». Но он тут же себя одернул. «Ребенок ведь... Ты что, дуралей, на маленького-то злишься? С такими манерами постареешь, может, похлеще его деда будешь...»

Чертыхаясь про себя, он достал из дипломата диссертацию. Диссертацию с солидным названием на обложке оставил лежать на коленях. Он был уверен, что неприветливый и суровый фронтовик, увидев название работы, проникнется к нему уважением. Наладится разговор. Глядишь, и выяснится, что он, может быть, воевал с отцом на одном фронте...

Минут через тридцать Загидуллин снова с уважением и надеждой повернулся к соседу. Но, увы, пожилой орденосный пассажир так же сурово продолжал смотреть прямо перед собой.

«Гляди-кось, какие мы...» Лысая голова, хоть и постаревший, но мужественный профиль лица, уверенный и твердый взгляд... Начитанный Загидуллин тут же решил, что ветеран похож на... Отто Скорцени! Но он сразу же опять стал себя упрекать. «Какой к черту Скорцени... нашел с кем сравнивать заслуженного ветерана, участника войны, не раз, может быть, раненного в боях за Родину...»

Было очевидно, что никакого разговора не получится. Загидуллин опять стал читать свою сотни раз перечитанную речь на защите. В который уже раз он пытался

представить атмосферу на заседании диссертационного совета. Ничего не получалось. «Ну да ладно... Темой ведь владею достаточно. Сказали же, к практикам отношение там хорошее...»

Пухлощекый мальчишка, опустив голову, с зажатым в кулачке куском кекса спал. Вид его орденосного деда по-прежнему говорил: «Я тебя не знаю и знать не хочу!».

Так и не удостоившийся его внимания Загидуллин пристроился в кресле удобней, намереваясь поспать, и бросил взгляд в иллюминатор. Чуть впереди он заметил самолет. Он казался игрушечным и летел в том же направлении.

«Ну, дед сейчас точно разговорится, к военной теме все фронтовики неравнодушны». С этими мыслями он снова вежливо обратился к ветерану, кивнув при этом в иллюминатор:

— Отец, как вы думаете, «стингером» его можно достать?

Фронтвик старческими, но, как показалось Загидуллину, зоркими глазами быстро взглянул на него, затем в иллюминатор. Загидуллин сразу приободрился.

— Во-о-о-н он, чуть пониже летит... Нет, гранатометом, пожалуй, надежней будет.

Как бы рассуждая вслух, он рассчитывал на патриотизм деда. Такие раньше всегда уважали только все советское, а теперь, конечно же, для них все самое лучшее — российское. «Вряд ли он что-либо знает про «стингер»... про гранатомет он, конечно, слышал». Снова с уважением посмотрел на орденские планки: «Штук двадцать пять, не меньше...»

Но фронтвик продолжал сурово смотреть перед собой. «Он ведь тебя в упор не замечает, а ты, олух, хочешь вовлечь его в разговор. Пенсионеры почти все сейчас бедствуют, пенсии у них мизерные. Еще эта «монетизация» льгот... конечно, ему не до твоих дурацких шуток». Сердитый вид старика он отнес к его возрасту. Как всегда, в минуты оплошности Загидуллин стал корить себя за промашку. Почувствовав жалость к старику, он снова повернулся в его сторону. Но... пенсионера на месте не было. Внучок мирно посапывал.

«В туалет ушел... Видимо, и с желудком проблемы у него. Да-а-а, брат, вот какая она, старость-то...» Загидуллин попытался представить себя таким же старым, с внуком. Не получилось. Проходившая по салону стюардесса пристальным взглядом осмотрела Загидуллина.

Как всякий мужчина, Загидуллин тоже не был равнодушен к проявленному к нему женскому вниманию. Решив, что та только теперь, когда полет уже подходил к концу, обратила внимание на интересного мужчину, он удовлетворенно кашлянул. «А ты парень еще хоть куда. Не то что этот дед...»

...В здании аэропорта «Домодедово» двое мужчин, незаметно подойдя сзади, крепко стиснули руки Загидуллина чуть повыше локтя.

— Идите прямо. По сторонам не смотреть. Что в дипломате?

Растерявшийся Загидуллин сразу же смекнул, что его с кем-то перепутали.

— Вы ошиблись...

Договорить он не успел — уже вошли в отдел милиции. «Сейчас все выяснится... извиняться начнут...» Он с облегчением сел на указанный ему стул. Все пристально смотрели на него. Их было человек шесть, четверо — в бронежилетах с автоматами. «Надо же, даже ОМОН здесь...»

— Это тот самый. Но я с ним разговоров не заводил...

Услышав знакомый голос, Загидуллин оглянулся и только теперь заметил сидевшего слева от входа своего орденосного соседа. «Ах, вот оно что! «Стингер», гранатомет...»

— Так вы что, прокурор, что ли? — с удивлением спросил молодой подполковник, прочитав удостоверение Загидуллина.

— Да. Хотел с фронтовиком на военную тему поговорить, он не понял шутку...

— Какая к черту это шутка! Вы ведь прокурор! — он повернулся к омовцам: — Отставить смех! Выйдите все!

Еле сдерживавшие смех милиционеры вышли.

— А если бы паника началась? — сердито продолжал он. — Недавно рейс из Тюмени еле сумели посадить. Какой-то шутник, вроде вас, сказал, что если террорист «Аль-Каиды» захочет взорвать самолет, то непременно взорвет... Все стали требовать немедленной посадки, началась паника... Одного даже insult прихватил. Вы что, этого хотели?

...Под суровым и победоносным взглядом бдительного фронтовика Загидуллин направился к стоянке автобусов.

«А ведь подполковник прав, черт возьми...»

Забывтый волк

* * *

Сейчас устроится мороз.
Тих будет он и повсеместен.
И на небо не хватит лестниц
Забраться, коли ты тверез.
Березы станут мне в окно
Качать упругими ветвями,
Мол, приходи, померзни с нами,
Раз смерть и жизнь — все равно!
Но я, свой стыд прикрывши шторой,
Уткнусь в листок, чтоб немо петь
О той Единственной, к которой
Дойти, конечно, не успеть.



ПОКОЛЕНИЕ

Утайкою, стайками
По уголкам кирпичным,
А после — тяжелыми гальками
Кидали по электричкам.
Выросли, кто не умер.
Разъехались, кто не здесь.
И получилось, в сумме,
Те, кто мы есть.

* * *

Все, видимо, просто,
как черт побери.
С поправкой на возраст
пора быть вдали
от сильных эмоций
и стильных красавиц,
всему, что не пьётся —



показывать палец,
тот самый, который...
И тихо стареть.
И как-то, не скоро,
совсем умереть.
Но нет. Я теку
между пальцев по телу!
Не то чтоб я смелый,
не то чтоб умелый:
я просто — стихи,
а стихи — это губы,
которые любят,
которыми любят.

* * *

Ночь без твоего звонка.
Жизнь что ниточка тонка.
Знаю, знаю — не с руки
нынче поздние звонки.
Ты права. А я — не прав.
Лягу, ноги подобрал.
Скрючусь тихий, никакой,
с пустотой под рукой.
И слеплю из пустоты
дорогое слово «Ты».

МАРСОВОЙ

Пурга на улице, пурга:
хоть не зима — пурга.
Большие волны больно бьют
в чужие берега.
А вольный парус все кружит,
все не решаешь пристать...
А жизнь — она проходит, жизнь.
И всех наверх свистать —
уже и поздно, и смешно,
и к месту слово «фарс»...
А я все лезу, сын земной,
на Марс, на Марс, на Марс!

* * *

Степь делает из меня волка.
Я ушел из города, я вышел на Волгу.
Я завыл на Луну, как учит Природа.

Я забыл имя моего народа.
Но без памяти я — просто странное слово.
Поэтому мне возвращаться снова —
среди пыльных страниц я ищу, подвывая...
Но зачем это мне — я почти забываю.
В полнолунную ночь, через стекла и камень —
мне, как нож по глазам, — из эфира, из далей,
о которых не помню, слышится камлание
потерявшей меня, неотысканной стаи.

* * *

Такие настали дни,
что мы остались одни.
И мчится на наш костер
мелкий крылатый сор.
Сгорает, конечно. Что ж,
наша ли в том беда,
что, трижды упав на нож,
встанешь вряд ли когда?!
Тихо, тихо! Идут!
Скользят сапоги по глине!
Если они найдут —
станем грибами в корзине.
Прочь, наваждение, прочь!
Мы точно одни в эту ночь.
Мы — невидимки, сны,
лунный мы нимб вокруг сосны,
наши слова лишь тени
витийствующих поколений.
Мы и одни оттого,
что сильно хотели того.
Прятки? Но кто найдет?!
Маяться им до гроба!
Нас не взять в оборот
и не поставить пробы.
И наш тихий смех в ночи
нам уже не залечить...

* * *

Напоследок скажу я стихами:
нет особенностей между нами —
ты прекрасна и я недурен!
И на холм подымаясь порою,
рядом чувствую это второе —
рядом где-то, в одной из сторон.
Гасим свет. Простыню обнажаем.

Сумму тел то кладем, то сажаем —
отражаем Луны тусклый свет:
это все раздвигает границы.
И в окно, любопытней синицы,
чу, вот-вот навернется сосед.
Времена, между тем, временами —
словно рядом — все с кем-то, не с нами:
мы не здешние, что не беда.
Мы забыли, как стонет будильник.
(Он посажен давно в холодильник,
не на срок — навсегда!)

* * *

Когда в устах нетопыря,
змеясь, мелодия порхает,
когда бессмысленно ныряет
с моста фигурка и, паря
лишь миг, — в пучине погибает!
Когда немногие из нас
от безболезненности стонут
и приближаются к закону
познания блудливых масс.
Когда...Тогда совсем простое
на ум приходит решето,
и зал приветствует нас стоя
букетом ласковых цветов.

* * *

Стихи, как люди, — пришли, ушли:
иных не жалко, иных хоть плачь.
Наверное, это от формы Земли,
которая тоже как круглый мяч.
Люди, как строчки, — холод, тепло:
с одним трудно, с другим тяжело.
Вот так и сядешь порой у воды,
чтоб знать, по кому утекаешь ты.

* * *

Период полураспускания.
Ночами холод, днем жара.
В таких порах свежи искания
чернильниц кончиком пера.
Как сталь стила остро отточена,
позлащена еще, гляди!

Какие точки будут сочные
на белых шее и груди!
Какие вензели игривые
покроют мрамор длинных ног,
штрихи какие торопливые
предвосхитят немой рывок.
И отчужденно, как и холодно,
затихнет страсть, белым-бела...
Ведь как оно, по счастью, молодо,
перо на краешке стола.

* * *

А где-то отцветают годы
страстей простых и молодых.
Сентябрьская непогода
тревожно пугает следы.
Уж легкой поступью старушки
прошли бульвары от и до.
И, говорят, проездом Пушкин
смеялся в нашем шапито.

Башкорт-хан

Рассказ



Начну с того, как я познакомился с этой историей.

Большая часть трех лет учебы в московской аспирантуре прошла в залах библиотеки им. В. И. Ленина (ныне Российская национальная государственная библиотека). Кроме работы над диссертацией, занимался и вопросами истории Башкортостана, башкирского народа, изучал редкие книги, старинные публикации, рукописи, копался в архивных материалах.

До сих пор перед глазами: как толькоходишь в парадную дверь читального зала отдела научной литературы, видишь огромную каменную статую. Она не похожа на классические мраморные изваяния. Из черной каменной глыбы высечена человеческая фигура. Бесстрашный воин. Продолговатое полное лицо, тонкий нос, прямой взгляд, сросшиеся брови, густые усы, круглая бородка — все это напоминало облик наших предков. На голове шлемообразный, богато украшенный убор. Бо-

гатырский стан. Руки скрещены. Настоящий ханский вид.

Порасспросив, узнал: это изображение кипчакского хана XII столетия. Памятник привезен из древних курганов Великой Степи.

Взялся изучать старинные книги, археологические исследования, работы, рассказывающие о кипчакских ханах. Очень много открыл для себя, исписал несколько тетрадей. Заполнить-то заполнил, но, вернувшись в Уфу, окунулся в мир иной науки, творческие дела, об этой маленькой истории забыл. И свои записи растерял. А все-таки время от времени о статуе я размышлял.

Однажды увидел странный сон. Приснилось это каменное лицо. Хан по-прежнему стоит у дверей московской библиотеки. Я смотрю на него в оцепенении. Каменный человек внезапно шевельнулся, обратил на меня грозный взгляд, в глазах будто сверкнула молния: «Не узнаешь меня? Я ведь древний соотечественник твой — Башкорт-хан».

Сон воспринял как Божий наказ. Должен написать о нем. Заново сел изучать тему. Укрепилось желание это сделать основательно, для истории. Но тянул и тянул за отсутствием времени. Решил пока записать хотя бы общую канву исторических событий.

* * *

С прошлых веков существует несколько версий о происхождении башкир. Одна из них — этноним «башкорт» произошел от имени человека. Однако название «баш-

Хусаинов Гайса Батыргареевич родился 10 апреля 1928 года в д. Утяганово (ныне Кармаскалинский район), окончил Башкирский государственный пединститут. Литературовед, прозаик. Доктор филологических наук, профессор, академик АН РБ, заслуженный деятель науки РФ, БАССР. Автор монографий о писателях республики, историко-биографических книг, трудов по филологии. Лауреат премии им. Салавата Юлаева.

корт» (башкир) в письменном виде в документах встречается лишь с IX в. Первые сведения связаны с антропонимом.

По записям арабских ученых Ибн-Хордадбека и аль-Жайхани, одним из военных предводителей и начальников большого улуса Хазарского каганата был человек по имени Башжорт. Киргизский вождь также был подчинен Хазарии. Великий каган выгнал его из страны. Тот скрылся во владениях Башжорта. По совету Башжорта киргизский предводитель устроился в дальних землях между кимаками и огузами. Когда начались распри за власть в огузской земле, усилилось влияние Иргиз-хана. Башжорт установил дружеские отношения с ним. Утверждают, что от имени киргизского хана возник этноним киргизского (современного казахского) народа, а от имени Башжорта — само название башкирского народа. Под началом Башжорта башкиры жили на Южном Урале.

После падения Хазарского каганата большая часть юго-западных родов башкир, теснимых с востока кимаками, с юга огузами, вынуждена была уйти к западу, к Дону и Черному морю. Там они объединились с кипчаками и беженцами.

У беженцев, занимающих территорию от Волги до Дуная, был славный период истории. Их мощь знали тогда народы всей Европы. В хрониках и летописях европейских стран и Киевской Руси их называли печенегами. Беженцы упоминаются в знаменитом французском эпосе «Песнь о Роланде».

Когда печенеги-беженцы сошли с исторической арены, их место и территорию заняли также тюркоязычные кипчакские, башкирские и иные племена. В XI столетии начинают формироваться такие народы, как башкиры, ногайцы, казахи, татары, кумыки. Они объединились в общий государственный союз под названием Дешт-и-Кипчак, который, как древний Тюркский и Хазарский каганаты, фактически стал империей (по западной терминологии). Во главе стоял каган (или олуг-хан — великий хан), а во главе отдельных союзов — ханы.

Известны имена первых кипчакских ханов: Белеш-хан (1055 г.), Сохал-хан (1061 г.), Асян-хан (умер в 1082 г.). В древнерусских летописях часто встречаются имена: Боняк-хан, Шарухан, Селук-хан, Башкорт-хан, Отрак-хан. Кипчакские ханские союзы объединились под властью Боняк-хана, вернее кагана Боняка.

Исследователь Игорь Кучумов сравнивает завоевания Боняк-хана с походами Наполеона, называл его Наполеоном степного мира Восточной Европы. Он одерживал победы над византийцами, сражался с полками киевского князя Святослава.

Боняк-хан доживает до глубокой старости. По-видимому, в нескольких крупных сражениях рядом с олуг-ханом был Башкорт-хан. В то время когда слава и силы Боняка убывают, возрастает влияние Башкорт-хана. По свидетельству древнерусской (Ипатьевской) летописи, в 1159 г. его войска насчитывали 20 тысяч воинов, его владения располагались от Днепра до Черного и Азовского морей. Русский историк В. Н. Татищев называет его одним из сильных степных князей кипчаков.

В 1125 г. умер князь Владимир Мономах, который с кипчакскими ханами то воевал, то мирился. После этого усиливаются междоусобицы среди русских князей за престол. Особенно между родами Мономаха и князя Олега. Чтобы получить трон, обе стороны ищут поддержки или кипчакских ханов, или каракалпаков. Хорошо известно, что кипчакские ханы обратились и к русским князьям, чтобы таким образом усилить свои позиции. Эти соглашения часто закреплялись брачными союзами, что соединяло их и родственными отношениями. Например, во время заключения договора между Владимиром Мономахом, князьями Давыдом и Олегом с кипчакскими ханами князь Владимир своего сына Георгия (будущего князя Юрия Долгорукого) женил на дочери Епанса-хана, Олег своего сына — на внучке Акай-хана.

Позднее, в 1117 г., Владимир Мономах женит второго сына, Андрея, на внучке Тугры-хана и укрепляет свою династию. Таким образом, породнившись между собой, русские князья и кипчакские ханы укрепляли свою власть. Они вместе ходили в походы, обменивались пленными, развивали торговлю, многие годы жили мирно.

После смерти Мономаха Киевом правил его сын Мстислав. В 1128 г. князь Всеволод из рода Олега захватил престол, завоевал Киев и на помощь призвал кипчакского хана Селеука. Был готов идти на помощь и Башкорт-хан. Однако этот поход не увенчался успехом.

Род князя Олега (Ольговичи) породнился с Башкорт-ханом. В 1135 г. Киевом правил Ярополк из рода Мономаха. В это время по приглашению князя Всеволода, сына Олега, Башкорт-хан выступает в поход против киевского князя. Совместно с войсками Всеволода они громят князя Переяславля, подходят к Киеву, сжигают неподалеку находившийся укрепленный Городец. Однако хорошо защищенный Киев взять не удается. Последующие два похода также окончились неудачно. Тем не менее в 1140 г. Всеволоду все же удается захватить престол.

Во время правления внука Владимира Мономаха Изяслава Мстиславича борьба за престол начинает ростовско-суздальский князь Юрий Долгорукий.

В Киеве борьба за престол все усиливается. Юрий Долгорукий призывает на помощь черниговских князей Изяслава и Владимира Давыдовичей и обращается к Башкорт-хану. По сведениям в древнерусских летописях, борьба за Киев в этот период была особенно жестокой.

Наступление на Киев началось через Днепр. Войска князя Юрия и всадники Башкорт-хана гибнут у стен города. Во время отступления войска Юрия Долгорукого и кипчакского хана попадают в опасное положение близ реки Рутец.

Они могли быть совсем разгромлены или попасть в плен. Князь пытается пойти на переговоры. Башкорт-хан категорически возражает. Считает бесчестьем для себя, хана, стать пленником. Начинается новое сражение. Войскам Долгорукого и хана удается вырваться из окружения. В этом бою погибают сын Башкорт-хана и князь Владимир Давыдович.

Разумеется, Дешт-и-Кипчак и Киевское государство, ханы и князья не жили в вечной вражде. Многие годы ханы и князья жили в добрососедских отношениях; рядовой кипчак дружил с русским землепашцем; поддерживали связи степь и город; обменивались товарами, приучались к ремеслу.

И в русских летописях записано о том, что Башкорт-хан не только воевал, но и дружил с русскими князьями, особенно черниговскими. В Чернигове хана почитали за его мужество, дипломатичность, высокий авторитет среди именитых русских князей. Его обаяние и красота снискали ему любовь русской княгини.

Эта история вызвала много толков. Во время битвы за Киев погиб князь Владимир Давыдович. Овдовевшая княгиня, можно сказать, тайно бежала в степь к Башкорт-хану, вышла за него замуж и стала ханшей. Законный брак еще больше укрепил отношения между ханом и черниговскими князьями.

В 1157 г. в Киеве умер Юрий Долгорукий. На его место сажают черниговского князя Изяслава Давыдовича. Большую роль в этом сыграл шурин Изяслава Давыдовича Башкорт-хан.

Но Изяслав Давыдович хочет подчинить своей воле не только Киев, но и князей Галича, Волыни. Особенно круто обращается он с далеким галицким князем.

Изяслав Давыдович ставит в Галич своего сторонника князя Ивана Ростиславича. Однако галичане добиваются возвращения на законное место князя Владимира Володаревича. Иван вынужден бежать за Дунай в город Берладь. Он остается в истории с именем, связанным с этим городом, — Иваном Берладником. Великий

князь Изяслав Давыдович забирает Ивана к себе в Киев, пытается вернуть его в Галич.

Через некоторое время Башкорт-хан со своим шурином, великим князем Изяславом Давыдовичем, во главе шестидесятитысячного войска напали на галицких и волынских князей и разгромили их. От полного поражения спасло только то, что пригласили князем Галича Ивана Берладника.

Однако великому князю Изяславу Давыдовичу, который сам хлопотал за Ивана, это принесло только неприятности. Галицкие князья Ярослав Осмомысл и Мстислав Волынский быстро сколачивают войско и идут войной на земли великого князя. Оккупируют город Белгород. Великий князь Изяслав посылает за помощью к шурину, Башкорт-хану. Тот собирает войско в двадцать тысяч всадников и спешит на помощь.

В междоусобной борьбе русские князья разорили княжества, многие сложили свои головы. Изяслав Давыдович вскоре будет заточен в Киевский монастырь, где и скончается. Иван Берладник будет отравлен врагами. Сгущаются интриги вокруг престола, все чаще летят с плеч головы.

Башкорт-хан участвует в русско-кипчакских сражениях 1184 г. вместе с ханами Кобяком и Кончаком. В одном из боев Кобяк и Башкорт-хан попадают в плен. Башкорт-хан из плена освобождается. Эти события отражены в выдающемся русском эпосе «Слово о полку Игореве».

В 1185 г. русско-кипчакская война разгорается заново. На сей раз на войну с кипчаками собирается новгород-северский князь Игорь Святославич, но терпит поражение, сам попадает в плен. Впоследствии бежит из плена. Это событие подробно описано в «Слове о полку Игореве». За год до этого из русского плена Башкорт-хана спасли его родственники Ольговичи. Возможно, теперь Башкорт-хан сам участвовал в спасении, вернее, в организации побега князя Игоря Святославича из плена.

В заключение можно сказать, что потомки Башкорт-хана могут гордиться им. Он сыграл определенную роль в истории древней Киевской Руси. Жил не только в дружбе, но и в родстве с черниговскими, киевскими великими князьями. Любил и был любим княгиней, взял ее в законные ханши. Не уронил высокую славу хана. Он вызывает уважение воинской доблестью, личным мужеством, патриотизмом. Самое главное, Башкорт-хан, возглавивший башкиро-кипчакское государственное образование Лукоморье у Черного моря, был одним из первых башкирских ханов, известных в истории. Его имя, дела должны найти достойное отражение в истории, песнях, исторической литературе.

Привезенный из кургана Великой Степи, из Лукоморья, памятник-статуя безмолвно стоит у двери главной библиотеки страны — в Москве. Мне, современному сородичу, он будто с укором шепчет что-то, напоминает о себе. Мы не вправе забывать свою историю и тех, кто создавал ее.

Энциклопедист нашего времени

Творческий портрет ученого и писателя Гайсы Хусаинова

Гайса Батыргареевич Хусаинов родился 10 апреля 1928 года в селе Утяган на благодатной Кармаскалинской земле, подарившей нашему народу и республике героев труда и войны, видных писателей, ученых, артистов, государственных деятелей, таких, как ученый-энциклопедист, поэт, публицист, переводчик и общественный деятель М. Уметбаев, герой труда Б. Батырова, видный военачальник М. Шаймуратов и др. Быть может, именно в детстве в душе нашего героя зародилась мечта подняться, так же, как и его земляки, до высот всеми уважаемых и любимых сынов Отчизны. Во время обучения в Башкирском государственном педагогическом институте (нынешний БГУ) эта мечта побудила молодого специалиста поступить осенью 1951 года в аспирантуру Московского института всемирной литературы. И в 1954 году 26-летний Гайса Хусаинов возвращается в родной Башкортостан кандидатом наук. С этого момента он посвящает себя изучению башкирского искусства слова в историческом и теоретическом плане. Начиная с 1965 года, около 35 лет, работает заведующим сектора литературы Института истории, языка и литературы. Процветание и развитие башкирской филологии начиная с 50-х годов XX века и до наших дней тесно связано с именем Гайсы Хусаинова, который внес огромный вклад в развитие таких областей башкирского литературоведения, как история литературы, литературная критика, биобиблиография, особенно текстология и археография, а также в изучение фольклористики.

* * *

В те годы, когда Г. Б. Хусаинов пришел в научный мир, у нас было живо крайне одностороннее представление о том, что до Октябрьской революции у башкир не было своей письменности, своего профессионального искусства, письменного литературного языка и литературы. Необходимо было положить конец противоречащему жизненной диалектике пустому, но крайне опасному взгляду, согласно которому в определенных политических целях намеренно отрицалась даже сама очевидность того факта, что у каждого народа, имеющего свое настоящее, есть также свое прошлое и будущее.

Г. Б. Хусаинов еще аспирантом начинает собирать сведения об историческом прошлом и духовной биографии своего народа, знакомится со взглядами и концепциями ученых, мыслителей, страноведов разных национальностей. И в 60-е годы XX века он, наряду с изучением башкирской советской поэзии, продолжает работать в области исторической поэтики. В 70-х годах он представляет на суд общественности свои первые статьи, эссе, парсы и научные сборники, доказывающие, что у каждой литературы есть свое прошлое, настоящее и будущее, что сложно понять настоящее литературы, не зная ее прошлого, предугадать тенденции ее будущего развития, не учитывая в широком и основательном плане его настоящее. В книге «Дневник путешествий» (1976) Гайса Батыргареевич размышляет о духовной биографии родного народа, ее идейно-эстетических источниках, этно-

литературоведение

Кунафин Гиниятулла Сафиуллович родился 22 ноября 1946 года в д. Сайтбаба Гафурийского района. Автор монографий о башкирской литературе. Доктор филологических наук, заслуженный работник народного образования РБ, академик международной тюркской Академии. Член Союза писателей.

культурных и литературных связях, ищет глубокие корни и традиции нашей сегодняшней культуры и литературы, а в сборнике «Эпоха. Литература. Писатель» (1978) ученый поднимает и освещает еще более важные, концептуальные проблемы. Особый интерес вызывает то, как он рассматривает такие теоретические вопросы, как литературный метод, поэтика, строй стиха, традиция и новаторство, как рассуждает о путях развития и изменения нашей литературы в большом хроникальном, широком историческом и географическом пространстве, в сложных и противоречивых общественно-исторических условиях, на фоне многосторонних экономических и культурных связей. Г. Б. Хусаинов впервые в истории научного изучения башкирской литературы основательно освещает проблему периодизации словесного искусства, при помощи богатых фактических материалов подробно раскрывает характерные черты, тенденции развития каждого литературного периода, одним словом, составляет научно-обоснованный план-проспект истории башкирской словесности. Ученый доказывает, что шежере, таварихы, эпистолярные записки, деловые бумаги являются не только историко-документальными, но и литературно-публицистическими источниками, что в древних и средних веках в башкирском обществе наряду с письменной литературой и фольклором значительное место занимает устная литература. Книга «Эпоха. Литература. Писатель» пробудила огромный резонанс в обществе и завоевала широкую популярность. Ее автор законно удостоился самой высокой награды нашей республики — Государственной премии имени Салавата Юлаева.

Хочется обратить внимание на одно высказывание Гайсы Батыргареевича: «Обычно говорят, что научная работа — это путешествие в мир книг. За свой длинный жизненный путь я пространствовал в самых невероятных материках книжной планеты; выискал, пролистал, понял, изучил бесчисленное количество тысяч книг. Именно на этих дорогах пролетели семь десятков моей сознательной жизни, там же ослабели глаза.

Вот так, продолжая очаровывать и считая меня своим другом, книга уговари-

ми и упрашиваниями понукала меня совершить большое паломничество в ее мир: книгу ты сумеи найти, ищи древние книги, написанные пером, быть может, именно они приведут тебя к большим находкам.

Это было велением необходимости».

С 70-х годов XX века начинается серьезное, целенаправленное «путешествие» ученого Г. Б. Хусаинова в духовный мир прошлого. Продолжая искать написанные пером рукописные книги наших предков, он организывает археографические экспедиции по районам Башкортостана и сам же их возглавляет. Такие научные экспедиции были необходимы для собирания, сохранения и изучения теряющихся, стареющих со временем рукописных и старопечатных книг.

Так, по инициативе Гайсы Хусаинова начались летние археографические экспедиции. И мне, как одному из его аспирантов, также довелось участвовать в этих научных поисках. На данных археографических экспедициях, которые проходили один или два раза каждое лето в более 400 башкирских деревнях и селах, было собрано около трех тысяч древних рукописных и четырех тысяч старопечатных книг, шежере, историй деревень, образцов фольклора и множество других важных материалов.

В Уфе при Институте истории, языка и литературы на основе этих ценных материалов образуется рукописный фонд. Теперь он называется центром рукописных и старопечатных книг имени академика Гайсы Хусаинова.

Энтузиаст Гайса Хусаинов постепенно становится замечательным специалистом-археографом. Основательно изучая найденные рукописные книги, он показал себя и как талантливый ученый-текстолог. Составленные им научные отчеты археографической экспедиции уже сами по себе образуют важный многотомный источник. Сколько труда, таланта и жизненной энергии вложено в них пытливым ученым!

Своей кропотливой многолетней работой с древними источниками Г. Б. Хусаинов заложил основы археографической науки в республике и на ее базе организовал текстологическую работу. Эта очень сложная и скрупулезная работа была рав-



ноценна созданию основательного плацдарма для поиска и нахождения древних, глубоких корней истории башкирской литературы. Именно на этой основе, на базе найденных рукописных книг ученый развернул исследовательские работы по освещению истории башкирской литературы XIII–XVIII веков.

Г. Б. Хусаинов, вложивший огромные старания в разностороннее исследование эволюции башкирской советской литературы, разъясняет общественности республики актуальность проблемы последовательного, системного изучения истории башкирской литературы с древнейших времен до наших дней, поднимает идею написания ее многотомной истории. Он активно работает над подготовкой и сплочением научных кадров, старается сформировать сильный исследовательский коллектив. Под его руководством специалисты из Института истории, языка и литературы и из вузов в период с 1975 по 1990 год проделывают титаническую работу в написании шеститомной истории нашей литературы: по сложным и спорным вопросам проводятся дискуссии за «круглым столом», научные конференции; тщательно изучаются и текстологически обрабатываются собранные древние рукописные источники, их отдельные образцы публикуются на страницах периодической печати и сборниках, составляется план-проспект будущей фундаментальной многотомной работы, публикуются сборники научных статей. В этих сборниках поднимаются вопросы, которые до этого либо совсем не освещались, либо были мало изучены. Сами названия говорят за себя: «Вопросы текстологии башкирской литературы» (1979), «Система жанров в башкирской литературе» (1980), «Проблемы метода и стиля в башкирской литературе» (1982).

Г. Б. Хусаинову как научному руководителю данной темы наряду с решением практических, организационных вопросов приходится также быть «идеологом» в определении структуры многотомника, обосновании его главной концепции, раскрытии проблем. Он автор самых сложных и ответственных разделов, посвященных древним и средним векам башкирского словесного искусства.

Результатом многолетних, беспрерывных поисков ученого явилась книга «Голос веков», написанная в историко-теоретическом плане. Данный труд я назвал бы главной книгой Г. Б. Хусаинова — его самой ценной творческой находкой за весь долгий путь научных исследований и поисков. Не только в жизни одного человека, а, быть может, даже в научно-культурной жизни целого народа подобных книг бывает не много. Книга «Голос веков» стала особым явлением в истории башкирского литературоведения XX века. В сущности, этот труд составил основу и главную базу в исследовании духовных богатств нашего народа в средние века, которые ранее оставались не изученными и представляли собой, образно говоря, «неподнятую целину».

Упомянутая работа посвящена вопросам двух основных разделов науки о литературе — истории и теории. Г. Б. Хусаинов проводит идею, согласно которой культура и литература, возникшая в XI–XVIII веках, в особенности во времена существования Булгарского государства и Золотой Орды, ее распада на маленькие ханства, — представляла собой не какое-то узкое этнокультурное явление, а целую систему общего духовного богатства, созданного усилиями различных тюркоязычных племен и народов, живущих в составе этих государств. Несмотря на то, что в средние века стремление тюркских племен объединиться в один большой народ, ввиду самых разных причин (например, из-за частого изменения границ их государств и системы политического строя), не увенчалось успехом, самые различные этнические группы создавали свое духовное наследие на одном достаточно консервативном, длительно сохранявшем свои нормы и традиции, письменном литературном языке, то есть на древнетюркском литературном языке. И поэтому попытка «вогнать» плоды словесного творчества этой эпохи в какую-либо этническую «клетку» и «запереть» их там как духовное богатство только одного этноса не соответствовала бы исторической действительности и очень мешала бы объективному освещению сложной картины литературного процесса.

Сегодня, когда наука о литературе уже накопила огромный опыт изучения в

историческом плане словесного искусства народов бывшего СССР, добилась значительных успехов в разработке его теоретических положений и основ, исторического принципа в изучении духовного наследия, нельзя согласиться и признать исторически правильным то, что в некоторых работах до сих пор главенствует национально-территориальный принцип (М. Усманов «Следуя за гусиным пером»; Ф. Хисамова «Языковые особенности татарских деловых записок XVIII века»; «История татарской литературы. Средневековый период»).

Г. Б. Хусаинов в своем труде не ограничивается одним только фиксированием и анализом памятников письменной литературы, а обращается и к зарубежным и местным историко-этнографическим, историко-литературным источникам, и к фольклорным материалам, и к данным таких разделов науки, как история, этнография, археология, лингвистика. Именно путем разностороннего анализа, сравнения и синтеза разных материалов ученый достигает научно-обоснованного, достоверного, системного освещения средневековых зачатков нашей литературы, панорамы ее развития и изменения, идейно-эстетического содержания, жанрово-стилевой природы.

Ученый, выбравший своим главным принципом объективную оценку каждого культурно-литературного явления, в данной работе еще более развивает и углубляет идеи, уже поднятые в его предыдущей книге «Эпоха. Литература. Писатель». Используя богатый фактический материал, доказывает, что изустная литература была одной из основных своеобразных форм башкирского средневекового словесного искусства и в тесной связи с фольклором и письменной литературой образовала цельную литературно-эстетическую систему. Остановившись на творчестве таких йырау и сазэнов, как Хабрау, Асан-Кайгы, Казтуган, Шалгыз, Кубагуш, Акмурза, Карас, Еранса и Банк, Г. Б. Хусаинов доказывает, что они были такими мастерами слова, которые в своих произведениях могли органично соединять фольклорные и литературные традиции, и оставили глубокий след в истории башкирской словесности. Кроме того, ученый в присутствии только ему одному ориги-

нальном и благозвучном стиле анализирует огромное количество образцов письменной литературы и фольклора, историко-литературных, историко-документальных источников, уделяет особое внимание раскрытию свойств последних по отношению к литературе. В данном труде во всей полноте предстает перед глазами читателя идейно-тематическая, жанрово-стилевая природа и образная система, творческие методы, формы существования, особенности развития средневековой башкирской литературы, которая и по форме, и по содержанию была неоднородной и сложной.

Ученый определил принципы изучения духовного наследия и критерии деления истории башкирской литературы на периоды, показал главные особенности, тенденции развития и изменения, присущие каждому периоду словесного искусства. Также достойны внимания его наблюдения и исследования, связанные с проблемами тюркского письменного литературного языка Урало-Поволжья и древнего башкирского литературного языка. Автор подробно останавливается и на вопросах определения вклада каждого этноса в возникновение общего духовного богатства и раскрытия основанных на конкретной историко-национальной почве его своеобразных черт и процесса дифференциации и формирования в определенных общественно-исторических условиях отдельных литератур (XIV—XV вв.), укрепления со временем в них национального колорита (XVI—XVIII вв.), развития культурно-литературных связей. В этом отношении очень ценны наблюдения Г. Б. Хусаинова по изучению башкирских литературных связей XIII—XVIII веков. Ученый, говоря его словами, находит «в чаще темного леса» великое множество «восхитительных деревьев», знакомит читателя с изумительно богатыми фактическими материалами, увлекательно пишет о генетических, типологических аспектах литературных связей, о явлениях литературного синтеза, трансплантации, контаминации многоязыкового творчества, о специфике переводческой деятельности и переводной литературе, делает важные выводы. Внимательность ученого даже к незначительным фактам, его наблюдательность, неиссяка-



емая «сокровищница» памяти достойны восхищения.

Деля обзор башкирских литературных связей средних веков, Гайса Батыргареевич не ограничивается только раскрытием внешней, формальной стороны этого процесса, учетом отдельных фактов, а старается проникнуть в его внутреннюю природу, сущностные закономерности. В целях осуществления задуманного он опирается на мысль, что для влияния той или иной литературы на какую-либо другую литературу необходимым условием является наличие у второй определенной художественно-эстетической основы, собственных традиций, способных принять и развить достижения иностранных словесных искусств. Ученый также убедительно показывает, что ни одна литература не является только «заемщиком», берущим в долг богатства других литератур, но, в свою очередь, и сама участвует в расширении их идейно-эстетических горизонтов. В целом, в своем труде ученый рассматривает литературные связи не как односторонний процесс, направленный только на «присвоение» или «обеспечение», а как сложный литературно-творческий процесс, уже изначально основанный на взаимовлиянии и взаимообмене.

В 1996 году на русском языке вышел сокращенный, но более конкретизированный вариант этого фундаментального труда под заглавием «Башкирская литература XI—XVIII веков». Книга выполняет функцию учебного пособия для студентов вузов, колледжей, училищ, учеников гимназий, лицеев и школ.

* * *

Гайса Батыргареевич всегда в движении, на пути непрерывных поисков. Поэтому его работы отличаются не только богатством и глубиной содержаний, но и разнообразием жанровых форм. Ученый и писатель, создавший столько монографий, критико-биографических очерков, литературных портретов, историко-биографических книг, кнесс, теоретических статей, рецензий, эссе, историко-документальных рассказов, повестей и романов, в последние годы показал еще одну сторону своего яркого многогранного та-

ланта и еще раз подтвердил, что является уникальным ученым-философом и ученым-педагогом. Он придал «второе дыхание» традициям «воспитательной литературы» и жанру хикмет и опубликовал свои глубокомысленные парсы — миниатюры философского и этического содержания, считая, что «в науке ценно — новое, а в литературе — меткое, остроумное». Творческая деятельность ученого в данном направлении, начавшаяся с фиксирования мыслей-суждений, наблюдений в объемной тетради, которая позднее систематизировалась и вышла в сборнике «Дневник путешествий» (1976), не остановилась подобно «высохшему роднику», а, напротив, продолжила свое еще более быстрое и «полноводное течение». Цикл парс, вышедших в книге «Эпоха» (1988), и состоящий только из парс сборник «Жизнь» (1990) вдохнули новую жизнь в этот жанр.

Напечатанная в 2000 году книга Гайсы Батыргареевича под названием «Мир» явилась ярким доказательством того, что жанр парсы начал обретать в нашем словесном искусстве свое заслуженное место. Сборник восхищает своей идейно-тематической широтой, меткостью мыслей и суждений, философской глубиной, языковой гибкостью. Что ни говори, мысли и наблюдения большого ученого, писателя и просто творческой личности — уже сами по себе своеобразная школа жизни. И если сегодня в нашей литературе начали появляться те, кто повернул свое «перо» в сторону жанра миниатюры, то это — одна из многочисленных заслуг Г. Б. Хусаинова.

Парсы Г. Б. Хусаинова богаты как своим содержанием, так и своими жанровыми формами. По признанию самого ученого, у данного жанра миниатюры, как и у самой жизни, самые разные формы — это и притчи, и диспуты, и хикметы. Они основаны на размышлениях, отражающих такие разносторонние, сложные события и явления, как человеческая жизнь и судьба, природа и современная цивилизация, мораль и культура, наука и литература, писатель и человек искусства, история и духовное наследие. Рассмотрим, например, его парсы под общим названием «Истории, включенные в книгу «Жизнь»». В них заметна сильная опора

автора на различные факты и документальные источники. Писатель насыщает свои парсы гипотезами, философскими мыслями, элементами художественной литературы. Дополняя факты и документы этими мыслями, суждениями, гипотезами, а в нужных местах пословицами и поговорками, легендами и сказаниями, отрывками из песен и кубаиров, которые, на первый взгляд, не кажутся особо важными, он создает один удивительный образ-деталь, делает замысловатые выводы.

Вот, например, парса «Надписи на камне». Она начинается с описания камня с надписью, который был найден в Чекмагушевском районе Башкортостана, на берегу реки Калмаш. Камень пестрит арабскими письменами и находящимися под ними тамгами. Текст на арабском был написан на нем в 1342 году. Из него становится ясно, что данный памятник является могильным камнем Куяляра — сына Буги. А вот находящиеся под этим текстом древние письмена-тамги свою тайну не раскрывают. Похоже, что они, как и сотни тысяч подобных могильных камней, претендуют своим таинственным содержанием быть не только обычным камнем, а воистину ценным памятником «древней башкирской каменной письменности». Это уводит авторскую мысль в сторону Алтая, Казахстана и Северного Кавказа, на берега Орхона-Енисея, Байкала, Иссык-Куля, Дона, Волги, то есть в те края, где находятся такие же таинственные камни с надписями. Когда на берегах Орхона-Енисея были найдены камни с таинственными письменами, над ними билось множество ученых, выдвигались самые разные гипотезы, но таинственные тексты не поддавались расшифровке. Наконец, в конце XIX века ученые — из Дании Томсон и из России — Радлов — нашли «ключ», способный дать им отгадку, и камни, хранящие свой секрет веками, вдруг заговорили.

Автор верит, что когда-нибудь раскроют свои тайны и древние башкирские надписи на камне, и наши внуки прочитают историю, которую хранят камни. Развивая эту мысль как основную линию в парсе, он снова и снова повторяет такие слова: «Я говорю, что и древние башкирские каменные писания однажды раскроют свой секрет и заговорят»; «я говорю,

что сегодня или завтра наши внуки прочитают выгравированную на камне историю»; «и башкирские тексты на камне... все равно раскроют свой секрет».

Таким образом, ученый-писатель, начиная свою речь о камне, содержащем древние и средневековые надписи, в конце своей парсы приводит читателя к такой мысли, что все, что существовало на земле и не исчезло, все равно когда-нибудь раскроет свой секрет, послужит человечеству. То, что мы не знаем и не можем понять сегодня, откроют люди будущего, воплотят в жизнь, ведь развитие жизни образуется именно в процессе распутывания клубка ее тайн. Кажущийся на первый взгляд совсем простеньким могильный камень автор преобразует в глубоко осмысленный символический образ-деталь.

В целом, десятки парс Г. Б. Хусаинова, посвященные историческим, духовным и другим проблемам («Идол», «Достойные быть памятниками», «Гробница», «Клич племени» и др.), построены таким образом, что от отдельного факта, сведения, явления, даже одного слова-понятия доходят до широкого обобщения рожденного в их внутреннем мире смыслов, мыслей-суждений, чувств-эмоций. Каждый, кто читает такие парсы, написанные человеком, умеющим так широко мыслить и чувствовать сердцем, начнет верить даже в то, что и камни рассказывают историю. А народ, способный оставлять следы своего искусства, культуры и литературы даже на бездушных камнях, «большой и великий своим духовным миром». Парсы ученого-писателя повествуют не только о башкирских памятниках, но и содержат богатые и поучительные сведения философского звучания о видных сынах и дочерях Отчизны. Эти парсы не могут не затронуть струны читательской души. Что ни говори, ведь они хоть и маленькие по форме, а обладают весомым содержанием. Только читателю нужно почувствовать эту весомость, как говорит сам автор, «все равно что, разбив орех, нужно еще найти его ядро». А поучительных, заставляющих задуматься, помогающих поднять настроение улыбкой «семян» в парсах Г. Б. Хусаинова неисчислимое множество. Например, цикл парс под заглавием «Капли» тоже представляет собой «семе-



на» – собрание «янтарных» мыслей и суждений, составляющее своеобразную мозаику жизни, способное и восхищать, и заставить задуматься, и удивить, и вызывать улыбку. Вот, например, его парса – миниатюра под названием «Мудрость». В ней автор через одновременное обращение к самым различным по своей сути темам и проблемам, загадочным явлениям и событиям, через последовательное «нанизывание» мыслей и суждений показывает удивительную странность и загадочность мира. И чтобы сказанное не показалось пустым звуком, приведем в пример маленький отрывок: «Раньше, когда мы были маленькими, на стенах самых нарядных из деревенских домов вешали холщовые полотенца и ковры, прихожая в них была отделена вырезной занавеской, скамейки покрыты самоткаными коврами, а в углу дома красовался сундук, на котором горой лежали одеяла, перины и подушки. Они радовали глаз своим различным цветом и узорами. И все это ручная работа, дело рук снох и невесток.

... По внутренней красоте дома определялись трудолюбие, опрятность и мастерство снохи. Умелая сноха заметна уже своим искусством.

В те годы, когда мы были джигитами, девушки дарили нам платочки и перчатки. Они были такими узорчатыми и красиво украшенными, что, казалось, от тепла перчаток таяли руки, от красоты платочка – душа. Да и как не растаять, если каждый их шов и узор пропитаны теплом рук и светом очей любимого человека. И потому это ценнее ценного...

Красота ковра зависит и от узоров, и от разнообразия вышивки и украшений, смотря сколько «ячеек» и украшений влезет в одну ладонь.

Ковер ткнут из парчи.

Шубу шьют из хорошей шкуры.

Одежду кроют из сукна.

Одеяло стегают на пару.

Узорчатый палас ткнут из узоров.

Драгоценные камни по одному собирают.

Кто что любит: один – яблоко, другой – хурму, а кое-кто – орех. У яблока и хурмы достаточно снять кожуру, а орех еще следует расколоть».

Как видно из примера, в этой парсе нет расположения событий в определенном порядке, то есть нет сюжетной линии, построенной в соответствии с идеями, мыслями и планами автора. Она напоминает, по сути, клубок из различных явлений, эпизодов и мыслей. Однако построение их в одной определенной системе и так же, как и в произведениях с «ящичной композицией» очередность их связи между собой, и течение в логической последовательности образуют внутренний сюжет парсы. Важно и то, что в этих и других своих парсах автор вовсе не старается передать «сгусток» своих мыслей и суждений как бесспорную, неопровержимую истину, а призывает читателя к беседе и самостоятельному размышлению, часто обращается к таким приемам, как диалог и монолог. При помощи этих приемов автору удается создать философскую гамму мыслей и суждений, эффект остроумной беседы.

Говоря в общем, парсы ученого-писателя и по содержанию, и по форме, и со стороны описательных средств и приемов удивительно богаты и разнообразны. Они сами по себе достойны специального изучения.

По моему мнению, Гайса Хусаинов создал своеобразный философский вид парсы. Это же подтверждают и его сборники под названиями «Мои философии», «Вселенная», «Мораль», «Этика».

В этих парсах он выступает как красноречивый и глубоко содержательный философ. По-моему, своим творчеством Г.Хусаинов открыл совершенно новое направление в башкирской литературе и философской науке, если выразиться точнее, – он создал оригинальный вид нашей национальной философии.

С возрастом ученый и писатель начал придавать важное значение документальным жанрам. В своей автобиографической книге, состоящей из трех толстых «тетрадей», он раскрывает свои взгляды на мир, науку, литературу и искусство. Г. Б. Хусаинов подробно описывает и подтверждает то, о чем мы уже говорили в нашем литературном портрете под заглавием «Энциклопедист нашего времени». Академик Гайса Батыргареевич Хусаинов всю свою жизнь посвятил изучению этногенеза, этнографии, фольклора, истории,

культуры, языка, искусства, литературы башкирского народа как целостной системы. Ученый интересовался также национальной философией, этикой, эстетикой и культурологией.

Книга Г. Б. Хусаинова под названием «Духовный мир башкирского народа» (2003 г.) особо ценна тем, что она направлена на ясную постановку данных вопросов и освещение ранее не изученных аспектов. Духовная история, народное творчество, образование, культура, печать, литература исследуются в книге как одна система, а в специальных главах они изучаются отдельно. Возьмем, например, названия статей из разделов «История и духовная история»: «Духовная культура башкир», «Относительно к нашей древней истории», «Вопрос о тюрко-башкирском этногенезе», «Древнее башкирское государство и его ханы», «Башкирские беи и эмиры», «Башкирские старейшины и герои», «Башкирские тарханы и дворяне», «Династия башкирских дворян: Султановы, Сырглановы», «Пережитки шаманизма у башкир», «Древние башкирские календари», «Кульг змеи у башкир», «Башкирские тамги. Тамговые писания. Балбалы», «Эпиграфия и эпитафия в Башкортостане».

Сколько жизни и сил потратил ученый-писатель, чтобы раскрыть и обосновать не поднимавшиеся ранее проблемы! Это знает только он сам. Для примера я бы назвал более поздние работы и открытия ученого в области фольклора. Даже в одной только этой книге автор подробно освещает такие значительные вопросы, как народная память, народные институты и традиции, древние жанры башкирского фольклора, башкирская народная проза, поэтика эпоса «Урал-батыр», башкирский детский фольклор, идейно-художественные особенности творчества йырау и сэсэнов. Особенно важны его наблюдения, относящиеся к истории школ и истории национальной печати. Не случайно коллективный труд на башкирском и русском языках, посвященный Гайсе Батыргареевичу Хусаинову в честь его 75-летия, был назван как «Башкироведение» — «Наука о башкирах»: какова наука — таково и название, каков ученый — таково и оценка.

В целом, 50-летний творческий путь Гайсы Батыргареевича Хусаинова — человека, который, не гоняясь за минутным эффектом и временной славой, посвятил весь свой талант, все свои способности науке и литературе, уже сам достоин монографии. Речь идет об удивительно многостороннем и богатом по содержанию творчестве, отмеченном более чем тысячей научных работ, около сорока книгами. Автора этих книг часто называли «зачинателем», «первооткрывателем». Он определил сегодняшний облик башкирской литературы и литературоведения, направлений и перспектив будущего развития фольклористики и общественной мысли.

Люди говорят: «По труду и почет». Народ дал свою достойную оценку трудолюбивому сыну Отчизны. Ученому были присвоены почетные звания и научные степени — профессор, действительный член (академик) Академии наук Башкортостана, заслуженный деятель науки Башкортостана и России, лауреат Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева. Г. Б. Хусаинов награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, несколькими медалями, нагрудными значками победителя в соревнованиях, почетными грамотами.

Народный поэт Башкортостана, один из первых аспирантов Гайсы Хусаинова, Р. Бикбаев в одном из своих стихотворений, посвященном своему учителю-наставнику, пишет:

*Мало ли ты собрал по крупицам
Жемчужин, рассыпанных по стране,
Вместе с кураем Салавата,
Подобно его орлам по борьбе.*

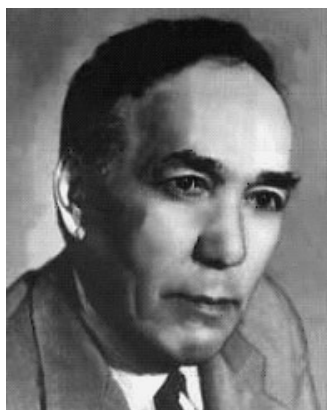
(Подстрочный перевод Г. Кунафина)

Ученый-энциклопедист и писатель Гайса Хусаинов сам по себе уже феномен.

Он — подлинная творческая личность нашего времени. Его многосторонние, объемные, глубоко содержательные труды составляют «золотые страницы» общественной мысли, культуры, науки и литературы Башкортостана и России.

«Эти страницы так манят...»

В январе 1955-го, на мое 50-летие, сотрудники Башкиргоиздата подарили мне отличный альбом для записей со словами: «Если бы Вы эти белоснежные страницы заполнили своим легким, пересыпанным юмором текстом, написав новый роман, то за нами бы дело не стало: тут же мы выпустили бы книгу и порадовали читателей!» Какие хорошие пожелания и какие теплые слова! Лежал этот альбом долго, все ждал своего часа — когда же начнут его исписывать новым романом... Не получилось. Но эти страницы так манят, поэтому решил начать вести дневник. Не умствуя, коротко, день за днем записывать события жизни — чем не роман? Потом, наверно, интересно будет перечитать!*



1958
2.10.58

Гузель 2 года и 8 месяцев. В конце сентября, когда ею многие так восхищались, она вдруг проснулась в одно утро и не может шевельнуть ногой. Мы страшно испугались. Пришла молодая врач, сказала: такое бывает. И действительно, потихонечку Гузель вроде расхо-

дилась, но все равно прихрамывает. Опять вызвали врача. Стали обследовать. Выяснилось, что это ранняя стадия туберкулеза кости, который и не обязательно дальше разовьется, может и сам пройти. Но лучше,

сказали, отправить ее в профилированный санаторий.

6.10.58

Гузель положили в санаторий, который только так называется, а на самом деле — настоящая больница. Ей крепко пережали ноги и уложили в койку. Это ето, которая и минуты на месте не стоит! Говорят, лежит и плачет. Очень тяжело воспринял это известие. Хочется с кем-нибудь поделиться своим горем, но тут такого человека. Хожу молчу.

1.11.58

Как-то незаметно подкрался ноябрь. Вспомнил стихи Тукая и переиначил их:

*Текут реки, дует теплый ветер.
Птицы в дальние края не улетают.
Гузель поправится, и все будет так же:
воды рек и ветер будут теплыми.
И птицы будут здесь, никуда не улетят.*

* Перевод дневников с башкирского языка Лены Агишевой.

Агишев Сагит Ишмухаметович родился 25 декабря 1904 года в д. Исянгильды (ныне Оренбургская область) в семье муллы. Учился в медресе «Хусаиния» в Оренбурге, Оренбургском педагогическом техникуме, Башкирском государственном пединституте. Работал торговым работником, журналистом, преподавателем, редактором журнала «Эдэби Башкортостан». Башкирский писатель, автор множества книг, лауреат премии им. Салавата Юлаева. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

3.01.59

Как вдруг все резко изменилось! Завтра нашу Гузель, может, и выпишут! Заказали машину. В 12 или 13 часов должна быть дома. Ура! Написал рассказ о космосе, посвятил Гузель.

1966

1.01.66

Новый год встретил в клинике Совета министров. Накануне вечером сломал ногу. Но мою долю — полстакана коньяка — принесли.

3.01.66

Сегодня пришли Фардана, дети. Больные пытаются шутить — наверно, это и есть оптимизм? Поздравительные телеграммы прислали из Казани Габдрахман Минский, Амирхан Еники, много уфимских. Слухами мир полнится — все тут обсуждают нелепую историю с Сюндекле: привязался в ашхане к какому-то человеку из Аургазов, говоря, что тот украл у него яйцо! Передают эту новость из уст в уста как анекдот, надо же как-то себя развлекать. Кстати, Сюндекле и сам сюда попал, заходил ко мне в палату пару раз. А 2 января положили Кадыра Даяна с сердцем.

5.01.66

Сегодня приходили Назар Наджми и Гилемдар Рамазанов, рассказали последние новости: как Мустай съездил в Турцию и про то, что на партбюро разбирали Ибрагима Абдуллина за плагиат. Два писателя. И две истории.

6.01.66

Нога болит. Гипс тяжелый. День длится долго. В палате товарищ Н. очень капризен, хочет, чтоб все было по нему. Все больные, особенно инфарктники, курят втихую, врачей боятся. А я курю открыто, мои инфаркты позади, да и хлопотно это — все время прятаться.

8.01.66

Дни одинаковые. Тоска. Сосед слева, чтобы обмануть время, учится писать стихи. Ему 62. От безделья и не такое еще сделаешь. Для него попросил своих домашних принести стихи Есенина, читает с большим воодушевлением. Вчера он своему другу написал поздравление с днем рождения в стихах, отправил и ходил гордый. Очень даже неплохо написал. А я писать не могу.

9.01.66

Сегодня воскресенье. В больницу пришли Фардана с Касымом Азнабаевым. Ка-

сым принес смородину. Рассказал, как прошло его 60-летие. Очень доволен, присвоили ему «Заслуженного деятеля культуры». Пожилому человеку любой знак внимания душу греет. Заодно вспомнил и своих врагов — как же без этого...

10.01.66

Секретарь райкома г. Давлеканово Тартыков принес гостинец — казы (конский сальник). Наверно, поэтому я всю ночь видел во сне лошадей. Врач сказал, что на этой неделе гипс снимут. Хорошо бы, надоел страшно.

Сегодня заходил Сюндекле, не хочет выписываться! Говорит, еще бы недельку отдохнуть. Странно, конечно: больница не дом отдыха. Сообщили о смерти Шастри. Тяжело перенес эту весть, всегда следил за его выступлениями по радио. Заходил врач с ним долго говорили, не столько о моей ноге, сколько о смерти Шастри.

День длится бесконечно, на душе тревожно. Заходил Сюндекле, сообщил, что напали на А. Ихсана. Сам Ихсан высказывается в том духе, что, может, мол, нападение организовал И. Абдуллин. Смех да и только.

12.01.66

Познакомился с большим по фамилии Балабан. Начальник строительного треста и вдобавок какой-то большой спортивный судья. Интересный человек. Всех знает, со всеми знаком. Знает даже татарскую литературу, и с историей Башкирии знаком. Бывают такие, которые обо всем что-нибудь да знают. Это хорошие, любознательные люди.

Сегодня из больницы выписывается Сюндекле, хотя и не хотел, — видимо, привык к больничной жизни. Говорят, человек порой и из тюрьмы не хочет на волю — настолько свывается с неволей. Боже сохрани, и на курорте-то надоедает.

14.01.66

Полдня прошло. Все лежу, жду, когда придут менять гипс. Готовлю себя к боли, курю часто.

Гипс поменяли, ногу немного выпрямили. Я думал, будет больнее, меня тут напугали.

Надоела эта больница. Сосед, что лежит рядом, постоянно просит курить, а мне запретили ему давать. Тяжело, оказывается, когда мужчина так умоляет и кланчит, не знаю, куда и деться.



16.01.66

Сегодня были Фардана, Мустай, И. Абдуллин. Мустай приехал из Турции. Оказывается, встречался с Заки Валиди, говорит, что его там не любят. И сам он про Башкирию ничего не спрашивал, значит, не скучает по родной земле. Абдуллин считает, что его несправедливо обидели. Избитый человек никогда не скажет, что его побили за дело.

17.01.66

Сегодня в больницу приходил товарищ Х., большой человек. Заглянул в пару палат, поинтересовался из вежливости здоровьем нескольких человек. Как ушел, все давай наперебой доказывать, что это именно к нему он приходил. А приходил-то, оказывается, к начальнику строительного треста, Балабану, поскольку дачу строит. Вполне чеховская тема. Но и для нас, думаю, «ничаво»!

18.01.66

Позвонил в редакцию «Хэнэка», поговорил с машинисткой. Оказывается, про мою ногу ходят легенды. Когда я был там в последний раз, перед самым праздником, пошутил, что, наверно, как и все, ногу сломаю. И сломал. Так что вначале известию не поверили.

Товарищ Н. сомневается, что я веду дневник, — думает, что про него пишу. Странные попадают люди.

19.01.66

Перед отъездом в Москву приходил Рубен. И, какая жалость, его не пустили. Передал кучу гостинцев и написал в записке, что для моей детской книжки сделал иллюстрации. Хорошая новость. Книга Агишева оформлена Агишевым, это впервые в моей жизни.

21.01.66

Сообщили, что завтра выпишут. Дождался. А то ешь да лежишь, больше и дел нет. А лежать для меня — тяжелое наказание. Ни о чем больше думать не могу, только о выписке. Пошел со всеми прощаться, весь день только и делаю, что прощаюсь.

23.01.66

Дома уже второй день. Много пришло писем. Есть интересное от пионеров села Абсалия Аургазинского района. Спрашивают, в повести «Земляки» Хай Аургазин не их ли земляк. Так оно и есть. Был такой Габдельхай Султанов из деревни Абсалиямово Уршакской волости. В начале революции он добровольно ушел в

Красную Армию и сменил фамилию на Аургазина. Тогда этот случай всех нас, особенно Мусу Джалиля, здорово задел за живое.

25.01.66

На редкость бессмысленный день: ни по радио, ни по телефону не услышал ничего нового. От тоски позвонил И. Абдуллину, он по телефону прочитал свой рассказ. Неплохо, но чувствуется нелюбовь к людям. Может, какие-то внутренние его переживания так сказываются.

Написал письмо в издательство «Советская Россия», поинтересовался судьбой сборника.

26.01.66

Пишу письма, чтобы руку вновь приучить к карандашу, а зад — к стулу. Написал Абуршину, агроному из Татарии. Он всегда пишет мне длинные, хорошие письма, любит вспоминать интересные эпизоды своей молодости. В последнем письме неожиданно вспомнил одну мою эпиграмму, написанную еще в детстве!

27.01.66

Пришла Раиса, поменяла гипс, ногу сразу легче. После обеда, возвращаясь из Главлита, завернул ко мне Рамазан Усманович Кузиев. Он написал серию очерков о пленных в годы Великой Отечественной войны, тех, что сидели в «Бухенвальде». Рассказал, как помог героям своих очерков: оказывается, он это делает по методу Сергея Смирнова.

28.01.66

Сегодня получил сразу два приглашения. Одно — на 40-летие Оренбургского татарского театра, второе — из деревни Тозлокош Белебеевского района. Приглашают на конференцию, которую проводит средняя школа по моей повести «Земляки» в связи с 60-летием Мусы Джалиля. Оба приглашения порадовали. Особенно приятно, что до сих пор вспоминают меня в Оренбурге, где я учился в медресе «Хусаиния». Приглашают и товарищи, с которыми учился. «Хусаиния» действительно дала области много кадров.

29.01.66

Из Казани от друга Габдрахмана Минского получил письмо. Они хотят пригласить меня на юбилей Мусы. Казанское радио прислало программу вещания с указанием передачи по моим «Землякам», она будет 30 января.

Сегодня из общества «Знание» пригласили выступить с воспоминаниями о Мусе, у них будет вечер, ему посвященный. Приходил И. Абдуллин, долго сидел, принес коньяк, но не пили.

Республиканская библиотека пригласила на вечер, посвященный Мусе. Сказал, что не смогу пойти из-за ноги. Знают ведь уж...

31.01.66

Сегодня написал и послал по просьбе «Социалистик Татарстан» небольшую зарисовку о Мусе, мог бы и побольше, но им нужен был небольшой объем. Из «Кызыл тана» позвонил А. Атнабай с такой же просьбой. Сел писать для них. Звонили еще из «Башкортостан пионеры», и им надо будет написать. Звонила Мукарама, я ее просьбы всегда стараюсь выполнять.

1.02.66

Закончил материал для газеты «Кызыл тан», сделал в форме ответов на вопросы. Поскольку учащиеся проводят конференцию, посвященную 60-летию Мусы, то и вопросы в основном по «Землякам».

Звонили из Москвы, то ли из газеты, то ли из издательства «Советская Россия», не расслышал. Интересовались, могу ли добавить еще что-нибудь к тому, что уже написал о Мусе. Жаль, не договорили — телефон забарахлил. Очень жаль...

Вечером опять позвонили, оказывается, не из «Советской России», а из «Литературной газеты», нормально поговорили.

2.02.66

Все просят, отказывать не хочется — есть что сказать, а писать-то нужно поразному. В «Кызыл тан» написал в шуточной форме.

Приехал Рамазанов из Киева с юбилея Павло Тычины, вспомнил, как в 1944-м мы с Тычиной подрались. Неожиданное воспоминание о большом поэте.

3.02.66

По заказу журнала «Пионер» написал публицистическую статью об отношениях мальчиков и девочек. Самому понравилось. Пришел товарищ И., и день пропал. Сидел ровно шесть часов. Долго и неинтересно рассказывал об одном событии. Очень я устал от него.

4.02.66

Редактору «Пионера» Марату мой рассказ понравился, позвонил и сказал: «Читал и хохотал». Наверно, действительно, смешно.

5.02.66

Для журнала «Хэнэк» в голове созрел один рассказ — придумал начало и концовку, может, завтра напишу. Хотя завтра воскресенье, народу, как всегда, будет много. Что-то нет ответов на мои письма. Даже сидя дома, чувствую холод и неприветливость улицы — говорят, 37 мороза.

8.02.66

Мой земляк Галим Хайретдинов прислал письмо, в котором интересуется юбилеем Мусы. В сегодняшней публикации в «Кызыл тане» я упомянул и его имя, послал ему вырезку, пусть порадуется. Закончил статью о Мусе для «Пионера Башкирии». Писать детям о большой работе большого человека тяжеловато. Не понравится, так пусть не печатают, и так я много в эти дни понаписал. Вспомнил Сюндекле: его как-то попросили написать стихотворение ко дню рождения Сталина, и он ответил: «Да я и так ему уже целых шесть штук посвятил!» За это его унтер-пришибеевы от идеологии отчитывали...

9.02.66

Из «Советской Башкирии» попросили написать что-нибудь юмористическое о соревновании «Уфа—Оренбург». Я, не подумав, с ходу согласился. Весь день провел в кресле, думая, как бы это сделать. Напрягался. Вспомнилось многое, придумал даже сказку, но так ничего и не написал. Нельзя вот так обещать не подумав, а со мной это частенько бывает. Кстати, у меня есть сказка о том, что называется «языком думать», «Про арбуз и картофель».

Надо же, еще только два часа. И чего это день так тянется?

10.02.66

Закончил заметку по просьбе оренбургской газеты. Написал про свое детство, как участвовал в конных состязаниях на сабантуе.

Давно не писал рассказов, о повести уж и не говорю. Странное дело: и сюжет есть, а не идет, все кажется — начну писать, скачусь в натурализм.

11.02.66

Сегодня для журнала «Хэнэк» написал было рассказ. Но не понравился, порвал. Завтра по-другому построю.

Хочется в баню. Фардана придумала: ногу в гипсе обмотала клеенкой, меня посадила на табурет, который поставила в



ванну, — таким вот мудреным способом помыла. И опять вспомнился Тукай: «Почему во Вселенной есть баня для тела, а для души бани нет?» Да, и душу не мешало бы согреть.

14.02.66

В 1921—25 годах в Оренбургском педтехникуме, тогда он назывался БИНО — Башкирский институт народного образования, — нам русский язык преподавала Мария Николаевна Стефанова, которая сейчас живет в Уфе. В связи с ее 70-летием от имени правительства Башкирии написали поздравительное письмо. Нас, оказывается, много. Есть люди, которые сейчас занимают высокие должности. Жаль только, что русский язык хорошо знают два-три человека. Видимо, в техникуме на русский мало обращали внимания. Как недалековидно.

15.02.66

Сегодня в газете «Советская Башкирия» вышла моя статья о Мусе Джалиле. В «Кызыл тане» Баязит Бикбай написал о своем знакомстве с Мусой. Все это приятно. По московскому радио была передача о Мусе. Концовка, можно сказать, просто моя. Будь она пораньше моей, меня бы еще и обвинили в плагиате.

Все газеты большое внимание уделяют Мусе. Хорошо!

17.02.66

Сегодня из Оренбурга вернулся Назар Наджми. Он там провел торжество Мусы. Был и в моих родных местах — в Шарлыкe и в медресе «Хусаиния».

В «Литературной газете» сообщили о выходе моей повести «Земляки» на русском и татарском языках.

До сих пор только и делал, что писал воспоминания о Мусе. Только вчера написал маленький рассказ для «Хэнэка», а сегодня по просьбе «Кызыл тана» начал писать про то, как надо читать литературные произведения со сцены. Они любят мое чтение и думают, что могу дать советы. Я вообще-то и сам это дело люблю, еще с Казанского театрального техникума.

Выходил на костылях на улицу, встретил много знакомых.

18.02.66

Погулял на костылях по улице. Холодно. Но дышать стало намного легче. Дома идет уборка — моют, трясут во дворе ковры, в общем, дым коромыслом.

По телефону мне, как члену редколлегии, прочитали рассказ, присланный в «Хэнэка». О ремесленниках. Факты надуманные, жизни нет, так и сказал.

20.02.66

Первый раз в жизни смотрел по телевизору соревнования мотогогонщиков. До этого неожиданно для себя поругался с некоторыми, которые уверяли, что мотогонки — это и не спорт, и не сцена, хотя я в этом, конечно, ничего не понимаю. Но такое увлекательное зрелище, черт возьми, что смотрел не отрываясь, забыв обо всем на свете.

По телефону с Сайфи-агаем поделились впечатлениями от казанских торжеств, которые транслировали по радио. И ему, и мне понравилось.

21.02.66

Завод называется «Почтовый ящик № 40». В 12 часов позвонили с этого закрытого завода и пригласили на торжество, которое будет проводить в библиотеке. Объясняя, что проблема с ногами, хожу на костылях, но так уговаривали, что уговорили. В 7 вечера приехали девочки на машине и увезли. Вечер прошел удивительно тепло. Пригласили они и Бедер-ханум Юсупову. Я говорил по-русски. Может, и здорово ломал язык, но то, что хотел сказать, — сказал. Затем они меня уже на пассажирском автобусе привезли домой, но было не хуже. Никак не хотели расставаться, не хотели уходить. Уговаривали прийти еще раз на завод. Было весело и приятно!

22.02.66

Пытаюсь бросить курить. А во сне вижу, как курю. С ногами — то же: два месяца в гипсе, а вижу во сне, будто хожу легко, можно сказать, летаю. Говорят же в народе: курица во сне просо видит.

Сегодня с «ящика» звонили девочки, все благодарят за вчерашнюю встречу, говорят: «Было так хорошо, так легко!» После таких слов и мне стало весело. Много ли человеку надо?

24.02.66

Сегодня меня удивили два моих товарища, но один со знаком «плюс», а другой со знаком «минус». Минский из Оренбурга прислал портретные рисунки, связанные с Мусой, среди них и те, что ему самому подарили. Знал, как я хотел там быть, и хоть так решил меня порадовать.

А Наджми для меня дали памятный значок, выпущенный ко Дням Джалиля. Так он этот значок отдал Загиру Исмагилову! Что же, спросил я, ты Исмагилову свой не отдал. А я, говорит, свой потерял. Что на это скажешь? В этом возрасте человеку уже ничто не объяснишь. Мелочь, а осадок остался.

Из Оренбурга прислал и мне статьи, посвященные Мусе. Долго говорили с Сайфи-агаем по телефону, не утерпел, рассказал о таком небрежении Назара.

День холодный, буран.
25.02.66

Сегодня весь народ в городе взволнован. В проходящих международных соревнованиях в Москве чемпионом мира стал молодой человек из Уфы, Габдрахман Кадыров. По телефону в связи с этой радостной вестью позвонили несколько солидных людей. Вышел на улицу, постоял возле ворот — все только об этом и говорят. Маленькие дети и пожилые старухи — все радуются победе земляка.

Обычно почтальон просто кладет газеты в ящики. А сегодня стучит в каждую дверь и сообщает об этой новости: наш, говорит, победил!

27.02.66

Сегодня ни особой работы не было, ни приятных новостей не услышал.

Погулял на улице, встретил нескольких знакомых, что вчера были на торжествах Мусы Джалиля. Многим не понравилось выступление Гайнана Амири, который сообщил всем об отношениях Мусы и З., ей, это, конечно, тоже не понравилось. Возмущается: «Что за человек этот Амири? На одном съезде огласил письма Хадии, не предназначенные для широкой публики, и этим оставил у многих неприятное впечатление...»

28.02.66

Уже шесть вечера, сел за дневник, а что писать, если ни полезного дела, ни приятного сообщения, ни даже смешного слова не услышал? Позвонил в несколько мест, но так никто ничего интересного и не сказал. Единственное, хорошо поговорили с Рагидой Янбулатовой. По радио послушал отрывок из романа «Девон» Нагаева. Главный герой романа похож на академика Губкина. Оказывается, можно писать романы и на производственные темы.

Зима кончилась. Оторвал последний февральский лист календаря — я регулярно это делаю каждый вечер, — а там уже весна, картинка весенняя. Посмотрим, что принесет первый день весны!

3.03.66

В «Кызыл тане» попросили написать рецензию на книгу Гилемдара Рамазанова «Творчество Мажита Гафури». В последнее время я полюбил эту газету, она действительно стала хорошей. К тому же ее сотрудники с большим уважением относятся к авторам. Не смог отказать. Книга очень толстая, а читать-то можно лишь глазами Фарданы. Сегодня читали весь день, написать будет нетрудно, главное — суметь прочитать. Гилемдар много сил в нее вложил, она написана как докторская диссертация о Гафури. Но и он не входит в лабораторию писателя, мастерство обходит стороной.

10.03.66

Сегодня скончался Мухаметша Бурангулов. Заслуга этого человека, которому выпала нелегкая судьба, в том, что он первым выпустил книгу на башкирском языке. Первым написал либретто для оперы. Фольклорист-импровизатор с большим чувством юмора. Но его смерть многие восприняли равнодушно. Один слепой Батыр Валит не в силах скрыть свое переживание.

Целый день не выходит из головы М. Бурангулов. Со стариком в Давлеканово мы вместе работали. И в годы войны были вместе. В последнее время я к нему и пойти-то не мог, все болел. Говорили, что он никого не узнает. Похоронами занят Батыр Валит.

11.03.66

Фардана ходила на похороны Бурангулова. Батыр Валит посвятил ему стихи. Весь день с Фарданой вспоминали Мухаметшу-агая, молодцовый был старик.

20.03.66

Сегодня воскресенье. Объявили дворовый субботник. Глава нашего подъезда Самига-ханум — злостная женщина. Раньше ее муж был большим милиционерским начальником. Всех выгнала на улицу. И меня с хромой ногой. Я там всем только мешал.

25.03.66

Сегодня открылась областная конференция учителей языка и литературы.



Очень много знакомых. С Оренбуржья тоже. Из нашей деревни приехали дед Латып с дочерью Зифой. Много тех, что учились у меня в Давлеканово, Серменево, Саитбабе. Встречали очень сердечно, говорят, помнят, скучают. Вечером состоялся литературный вечер, посвященный этому событию. Возили исключительно на машине, с большим почетом. Приятно.

26.03.66

После вчерашнего такого теплого вечера с хорошим настроением вышел с утра на улицу. Встретил З. Ругается. Ты, говорит, давно проданся, несет какую-то чушь, невозможно слушать. Все испортила.

9.04.66

С утра отправился на поиски машинистки, печатающей на русском. Дошел до института языка и литературы. Там, оказывается, вчера прошло собрание. Рассказывали, что да как. Жалуются, говорят: зажимают критику, не можем говорить правды. Говорят, нет уж той молодежи, что была раньше, типа Абсаямова. Сейчас, мол, все смиренные, кроткие, осторожные.

10.04.66

Все думал с утра, чем же отличается сегодняшнее воскресенье. Оказывается, Пасха. Вспомнил в связи с этим нашего Даут-бабая. Все, бывало, сидит возле своего окошка, смотрит на улицу. Там русские соседи наряженные идут, кто в церковь, кто из церкви, и все ему: «Христос воскрес!» А он не знает, что отвечать. В очередной раз кто-то ему сказал про «воскресе», а Даут-бабай в ответ: «Вот молодец!» Думаю, в таком контексте Христа еще не поминали.

А еще сегодня в Агидели лед тронулся. Многие ходят на реку. Возле нашего дома клуб слепых, и оттуда целая делегация отправилась слушать, как лед идет. Один все говорил: «В этом году лед тронулся очень быстро!»

17.04.66

Последние два года не разговаривали с Г. Амири. Он ходил обиженный на критику. Вчера я ему позвонил по делу. Сегодня он сам, найдя незначительный повод, вдруг позвонил. Разговаривали нормально. Значит, с сегодняшнего дня уж начнем разговаривать.

20.04.66

Получил через Сайфи-агая из Алматы письмо от казахского писателя Жа-

кына Садыкова. Просит мою книгу «Земляки», хочет перевести. Написал ему — наполовину по-казахски, наполовину по-татарски. Раньше казахский язык знал прилично, сейчас подзабыл.

В библиотеке слепых меня записали на магнитофонную пленку — читал стихи Тукая и несколько своих, написанных в молодости.

Пришло очень теплое письмо из Казани от Габдрахмана Минского. Послал Амири юбилейную марку Мусы Джалиля.

28.04.66

Хасану Туфану дали премию Тукая. Послал ему телеграмму со словами: будь жив сам Тукай, он очень бы этому обрадовался.

6.05.66

Сразу, как услышал о ташкентском землетрясении, дал телеграмму Н. Хафизову. Ответа до сих пор нет. Переживаю. Рубен тоже улетел в Ташкент к своим, и он молчит. Вспомнил стихи одного тюркского поэта в переводе Марата Каримова. Что-то типа: «В этот мир мы пришли поодиночке. И отец мой, и я, и мой сын. В разное время и в разных местах. Были по своему счастливы. А ушли из мира вместе, когда взорвалась атомная бомба». Такое могло произойти и во время землетрясения.

17.05.66

Пригласили на встречу в школу для умственно отсталых детей. Не смог отказаться. Вечер прошел живо. Один мальчик спросил: «А умственно отсталые люди могут быть поэтами?» Чуть не сказал, что только они и бывают.

3.06.66

В парке Луначарского неожиданно встретил друга юности режиссера Габдуллу Юсупова. Он работает в Альметьевске, собирается сюда на гастроли. Вспомнили однокашников, с которыми учились в Казани. Такие разные судьбы. Многие погибли на войне. Особенно интересна судьба Ландышева. Мы его называли гермафродитом, поскольку в жизни он совмещал две роли, мужскую и женскую. Обе «играл» хорошо. Детей вырастил. Вообще, был хорошим мужиком. Сейчас постарел.

Многое, многое вспомнили.

5.06.66

Все мы, и дети, и внуки, приехали в палаточный лагерь ВТО, недалеко от са-

натория «Юматово». Утром сходил в санаторий, принес две бутылки кумыса. По дороге встретил Сайфи-агая. Он критиковал записи Юсуфа Гарая о Тукае.

С Зайтуной Бикбулатовой вспоминали прошлое, было весело. Здесь же отдыхает и режиссер Шаура Муртазина. Видно, умница, интересно с ней говорить.

Приехал сюда отдыхать из Москвы отставной подполковник Галим Мухамедьяров. Он каждый год здесь. Его все очень ждали. Интеллигентный, приятный человек.

Сначала дни тянулись медленно, не смотря на то, что мы с Зайтуной-ханум Бикбулатовой коротаем время за разговорами: она тоже любит поговорить. А сейчас — ничего, привыкли. Вечером собираемся всем табором у костра, тут же — студенты Шауры. Я им дал прозвища. Один — Леонардо да Винчи, а другой — Эпоха Возрождения. Им моя выдумка пришлось по вкусу, они любят общаться. Жена Петров, который и есть да Винчи, весьма симпатичный и, чувствуется, одаренный. Шаура подтвердила, сказала: «Самый талантливый».

13.06.66

В лагерь приехала мать Шауры Муртазиной, жена легендарного генерала Муртазина. Интересная женщина. Много повидала. Буденного по-свойски зовет Семен Михайльчем.

21.06.66

Сегодня отплыли на пароходе в Казань. Сайфи-агай, Назар Наджми с женой и мы с Фарданой и Гузель. Провожали нас дети Сайфи-агая.

Только отчалили, Назар пригласил в гости в свою каюту. Отличный стол организовал. Здорово посидели. Из серебряных рюмок пили коньяк, ели курицу. Болтали обо всем на свете. Очень взволнованно — о Тукае.

26.06.66

Ездили в Кырлай, на родину Тукая, там его музей. Был большой митинг. Вечером в кырлайском лесу устроили шикарный банкет. Я выступал. Когда уже собрались уезжать, подошла группа людей, попросила опять выступить. Прочитал «Пар ат» Тукая, встретили на ура. Гузель вдруг вылезла: я, говорит, тоже могу прочитать стихи Тукая. Прочитала «Кубэ-лэк» и «Беззен Гали бигерэк татыу кээз менэн...».

28.07.66

Сын Асмана Галеева с матерью и женой пришли к нам. А. Гали был очень интересным писателем и артистом. Виль рано осиротел, сейчас ищет людей, хорошо знавших отца. Я ему отдал рукопись пьесы Асмана, которую хранил у себя. Пьеса называется «Ответ». Она ставилась на сцене, но никогда не была опубликована. Ее практически никто и не знает, может, я да еще пара человек. Виль заплакал.

30.07.66

Прошли сутки, как повредил поясницу. Лежать могу лишь на спине. Только этого не хватало! Недавно избавился от гипса и костылей, и вот опять.

Единственная отрада — радио, его будто специально для таких, как я, изобрели. Слепых и тугоухих. Сейчас передавали стихи Бернса в переводе Маршака. А так ничего интересного. Курю одну за другой и вспоминаю прошлое.

19.08.66

Сегодня Баки-агай Урманче гостил у нас вместе с Сайфи-агаем и Ахнафом Харисом. Очень красиво посидели.

Днем в Минкульте Баки-агаю показали скульптуру Бабица. Жаль, наш министр культуры некультурный человек, не способен понять даже очевидные вещи.

17.09.66

Назар Наджми написал очень хорошее стихотворение, «Татарский язык». Как бы ответ Смелякову. Обещали напечатать в «Кызыл тәне». Обрадовался. Думал, побоятся.

19.09.66

Через десять дней Габдрахману Минскому исполняется 60 лет. Из «Кызыл тана» просили написать о нем. Целый день хожу думаю. В литературу мы с ним пришли в одно время. Тогда в Казани я подружился не только с ним, но и с Такташем, Кутуем, Туфаном.

Прислали из Москвы сигнальные экземпляры книг «Махмутов» и «Рассказы» на русском. Красиво оформили, целый день восхищаюсь.

Вчера по телевизору в передаче «Народный университет» показали веселую передачу обо мне — кого ни встречу, только об этом и говорят.

21.10.66

«Тяжелые дни настали для башкирского народа», — с пафосом писал Юлай



Азналин. Вот и для меня настали тяжелые дни. Нет радости. Мне 62 года, вся радость — в литературе. Раньше частенько случались хорошие стихи и рассказы... Хотя всю жизнь моей радостью была Фардана. Всю жизнь я ее люблю.

25.10.66

В Союзе похвалили пьесу Зайнаб.

31.10.66

Прочитал в календаре: «Видному татарскому драматургу Мирхайдару Файзи исполнилось 75 лет». Вспомнил, как в 1928-м в летнем театре, что в парке Луначарского, я играл в спектакле «Галиябану» Исмагила, когда вдруг прилетела весть о смерти Мирхайдара Файзи. Мне поручили объявить эту тяжелую весть со сцены. Я объявил. Ему было всего 37.

10.11.66

Получил письмо от редактора журнала «Огни Казани». Просит написать воспоминания о Галимжане Ибрагимове. Я его видел лишь один раз в 1926-м, но даже сейчас будто слышу его голос. Незабываемое впечатление оставила та встреча.

13.11.66

Был в библиотеке для слепых. Встретил там музыканта Муртазу Зарипова. Мы с ним шесть лет не встречались. Удивительный человек. На мое: «Здравствуйте, Муртаза-агай!» — ответил: «Очень хорошо, Агиш!» Узнал по голосу.

17.11.66

На авторитетном собрании, прошедшем после заседания Верховного Совета, почему-то мне поручили написать статью «Башкирская литература за 50 лет». Для сборника. Чтобы написать такой солидный труд, нужно прочитать много современных вещей, ведь нужно показать, как и с чего начиналась эта литература, к чему пришла. А я сейчас вообще читать не могу, абсолютно не вижу. Так что это была неправильная идея мне поручать. Думал много на эту тему, решил написать так, как подсказывает собственное чутье. Начал сердечно и шутливо, перечитал — вроде бы живо получается. Суметь бы до конца выдержать эту интонацию. А знаю-то, оказывается, достаточно прилично...

Получил очень интересное письмо от Парваз Абдрашитовой, знакомой моей молодости. Тут же написал ответное.

Отнес в Союз рекомендацию для Яруллы Вали. Он прочитал и говорит:

«Эх, по-русски бы это написать!» Почему-то думает, что по-русски прозвучит мощнее. Встретил там Гилемдара Рамазанова, у него 8 декабря защита докторской о М. Гафури. Сильно благодарил за рецензию в «Кызыл тане».

8.12.66

Приглашали в Президиум Верховного Совета опять по поводу того сборника и статьи «Башкирская литература за 50 лет». Я же, объясняя им, не историк, не критик. А нам, говорят, нужны мысли писателя. Раз так, решил ту начатую статью продолжить.

9.12.66

Пишу для сборника к 50-летию Октября. Тяжелое это дело. Если уж сшил халат, то трудно его переделать в костюм. «Костюм» им нужен парадный, чтоб язык был казенный, совсем не человеческий.

11.12.66

Сегодня день рождения Фарданы. Ей исполнилось 59. Живем мы с ней 37 лет. Дети, друзья пришли с подарками. Гузель нарисовала очень красивый рисунок. Сидели весело, вспоминали молодость.

Годы, годы... Сколькo их утeкло.

20.12.66

По приглашению Куватова ходил в Башгиз. Ему моя статья для сборника не понравилась. Его послушать, так нужно голое перечисление. Переделывать отказался. Пусть поручат другому.

22.12.66

Весь день прошел в суете с юбилеем Тарифа Гумера, я председатель комиссии этого юбилея.

Вечером на Карла Маркса, 6 состоялся вечер. Я его открыл и вел. Достаточно сердечно все прошло.

25.12.66

День теплый, улицы черные, совсем без снега. Некрасиво. Начали приходить поздравления. Первое от друга и теперь уже доктора наук Гилемдара Рамазанова.

Ходил на почту, хотел купить поздравительные открытки, но уже все раскупили! Это хорошо, значит, люди торопятся поздравить друг друга.

Зашел в библиотеку к слепым. Они просят зрячих подписать открытки для своих друзей. Я ими восхищаюсь!

30.12.66

Фардана готовится к Новому году. В этот день наш дом всегда ломится от гос-

тей, это уже традиция. Значит, людям с нами хорошо. Она принесла с рынка огромного сома, пирог будет стряпать. Сестренка Гинап из Баймака прислала жирную конину и гуся. Похоже, стол будет богатым.

В первый день Нового года сразу в трех газетах выйдут мои вещи.

Телеграммы и открытки продолжают приходить. Оказывается, я некоторых забыл поздравить. А они не забыли.

1967

2.01.67

Новогодний праздник кончился. День очень холодный, а снега все нет.

Исполняется 60 лет оренбургской библиотеке имени Ямашева. Ее работники нашли в карточке мое имя. В своем письме просят, как одного из старейших читателей, написать им свои воспоминания. Эту просьбу с удовольствием выполнил, так как с татарской литературой впервые познакомился именно там, в 1917 году — с Ш. Камалом, Х. Такташем. Тогда же впервые увидел и познакомился с К. Тинчуриним, Мангушевым, композитором С. Сайдашевым. В библиотеку эту мы всегда ходили вместе с Мусой Джалилем и Габдуллой Амантаевым.

В Казани вышел сборник воспоминаний к 80-летию Галимжана Ибрагимова. Говорят, есть и моя статья. Похоже, взяли из газеты, так как я для сборника не писал.

5.01.67

Злополучная статья о башкирской литературе директору Башгиза Куватову покоя не дает. Убери, говорит, весь юмор. Разозлился и написал рассказ о таких, как он. Назвал «Знак препинания».

7.01.67

С 11 до 16 часов проходило бюро обкома партии. Члены бюро слушали доклады, выступления писателей о подготовке к 50-летию Октября. Многие поднимают гонорарный и дачный вопросы.

Я тоже выступил. Говорил, что башкиры, живущие вне республики, далеки от национальной культуры.

А в семье готовятся к моему дню рождения: пекут, варят — пахнет вкусно. Гузель подарила рисунок. Вечером ждем гостей.

13.01.67

Сегодня будут выборы в местком. Кого из писателей ни встретишь, только

об этом и говорят. Останется ли Куликов? Говорят, этот вопрос поднимали в обкоме партии. Еще говорят про то, что приезд Сулова в Уфу вроде бы не обычный приезд, что против Куликова организованы какие-то группировки. Все взбудораженные, постоянно звонит телефон.

Неожиданно собрание месткома прошло бурно. Но говорили исключительно о дачах, курортах и квартирах. Народ теперь в основном волнуется о личном. Раньше, перед войной, такого не было, стыдились.

14.01.67

Утром ходил в райсобес, хотел, чтобы меня перевели на пенсию по возрасту. К председателю попасть не удалось, народу очень много. Ушел. Пошел в Союз. Из Казани прислали для меня сборник воспоминаний о Галимжане Ибрагимове.

Вечером ходил в республиканскую библиотеку на торжество по поводу 60-летия Сагита Мифтахова. Из писателей были только трое: А. Харис, М. Гайнуллин и я. Харис вел собрание, Гайнуллин сделал доклад, я выступил с воспоминаниями. Ни драматургов, ни артистов. У нас к умершим никакого интереса и почтения. Ходят лишь туда, где обещан банкет.

19.01.67

С утра отнес последние документы в соцобес. Там писательский народ не любят, считают нахлебниками. Хорошо, что в отделе работают три милые девушки. Знают меня по книгам, их теплота согрела. Гульгина сказала: «Больше, агай, сюда не ходите, сама все сделаю». Не приведи господи зависеть от чиновников! К сожалению, Союз они тоже наводнили.

20.01.67

Сегодня опять пригласили в Башгиз. Попросили, чтоб в статье «Башкирская литература за 50 лет» назвал некоторые книги и фамилии и похвалил их. Но я же, говорю, этих книг не читал. Зачем же, отвечают, читать? Прочти статью секретаря обкома Сайранова в книге «Очерки истории Башкирии», и напишешь. Я сказал, что Сайранов сам писал не читая. Да и не писал вовсе, за него написали люди, о которых в книге говорится. Смешно и стыдно мне этим пользоваться. Людям, говорят, надо верить. Демагогия, в общем. Что касается литературы, я ничего на веру не



принимаю, слишком к ней серьезно отношусь. Короче, опять никакого взаимопонимания, и откуда только на мою голову свалилось это задание!

23.01.67

В жизни такого человека, как Куватов, не встречал! Хочет, чтоб в статье были упомянуты все сегодняшние писатели, чтоб никто не обиделся. Так их 75 человек! Ради чего писать такую статью?

Отнес в журнал «Агидель» небольшую статью о Галимжане Ибрагимове. Потом зашел в «Хэнэк», прочитал несколько новых стихов. Назар забавную вещь написал, можно посмеяться. Остальные стихи не понравились.

24.01.67

Дни холодные. Утром ходил на укол, страшно замерз.

Днем прошло заседание «Хэнэка», говорили о подготовке к 50-летию. Пред-

ложил выпустить сборник «50 рассказов». Туда должно войти только новое, написанное в этом году. Сборник не должен быть разовым, а выходить ежегодно. Идея понравилась. Решили также выпустить книгу эпиграмм.

25.01.67

На улице — минус 31, холод пробирает до костей. А редактор «Хэнэка» просит теплый рассказ к 50-летию. В такой мороз и холодная статья не пишется, из числа тех, что так любит Куватов, не то что теплая. Если я с кем-нибудь не встречу, не поговорю, не услышу что-нибудь новое и радостное, я вообще работать не могу. Позвонил нескольким приятелям, но и они не сумели согреть душу, ни одного теплого слова не нашли. Похоже, тоже мерзнут.

Кое-кому из друзей написал коротенькие письма, хотел согреть. Холодно, холодно, друзья, на этом свете!

«Сундук со знаниями» меня не услышит

Интервью с Еленой Камбуровой

Песни — это живые существа, они похожи на цветы и вянут, если их воткнуть в песок.

«Мальчишки и девчонки, а также их родители!» — этот звонкий задорный мальчишеский голос в заставке всенародно любимого журнала «Ералаш» принадлежит преразительной женщине. Этот голос способен бесхитростно удивляться: «До чего дошел прогресс!» в кинофильме «Приключения Электроника», трепетно и нежно звать из глубины веков в картине «Ярославна — королева Франции», отчаянно и дерзко бунтовать в телефильме «Дульсинея Тобосская». Этот голос вызывает щемящую ностальгию и тоску в кинофильме «Раба любви». А есть еще концертные программы Елены Камбуровой, отличающиеся разнообразием и безупречным подбором репертуара, неизменного в смысле вкуса в течение вот уже нескольких десятилетий, концерты, позволяющие отдохнуть душой людям, уставшим от четырех нот и трех слов, заполнивших экраны телевизоров и радиоэфир. Есть московский Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, объединяющий близких ей по мировоззрению певцов и артистов. «Наш театр сегодня — это появление в России традиции петь и слушать песни, в основе которых стихи, окрыленные музыкой, их актерское проживание и душевное напряжение зрительного зала», — говорит певица.

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова в Уфе.

— Елена Антоновна, вы рады вашему приезду в наш город?

В самом начале своей сценической жизни я часто ездила в Уфу. А потом связь как-то прервалась, и перерыв этот был довольно большой — 19 лет. В 2006-м году я приехала как в новый город.

— А вы помните уфимского зрителя тех, прошлых лет?

— Всегда есть ожидание, что сохранилась та, пусть небольшая, часть слушателей, которые помнят меня по старым концертам. Тогда мы выступали, давая по три-четыре концерта на одной сценической площадке, причем программа их была разнообразной. И еще надеюсь на то, что не все сошли с ума и не перевелись зрители, способные слушать нормальные песни.

— Вы исполняли цикл песен на стихи поэтов Серебряного века. Включаете ли сейчас их в свой репертуар?

— Эти песни есть, они никуда не ушли, просто при исполнении я варьирую их, возвращаюсь к ним снова, и они будто только что написаны. Для меня все относительно, если применяется к слову «песня». Представить старым человека я могу, песню — нет. Она рождается каждый раз заново.

— Есть ли современные авторы, чьи стихи вы можете включить в свой репертуар?

— Сегодня я слушаю огромное количество песен, но как-то не получается у меня признать их своими, мне подходящими. Это ведь не значит, что нет талантливых поэтов, просто у меня как-то не получается исполнять их произведения.

— Как вы относитесь к современной эстраде?

— На этот вопрос я фактически отвечаю своим концертом. Современная эстрада и мои концерты — это совершенно взаимоисключающие друг друга вещи.

— Театр музыки и поэзии, художественным руководителем которого вы являетесь, записи, съемки и еще концер-



ты отнимают много времени. Как вам удается все это совмещать?

— Что касается театра, я не решаюсь стать режиссером спектаклей, которые у нас идут. Начинать с того, что это были просто песенные вечера, но за три последних года мы выросли в музыкально-драматический театр. Спектакли рождаются и идут с успехом. Зал наш, правда, маленький, камерный, и попасть к нам, поверьте, довольно трудно. Так вот, ношу режиссера я на себя не взваливаю, для этого работают очень интересные люди, в первую очередь Иван Поповский, ученик Петра Наумовича Фоменко; сам он — серб, учился в ГИТИСе. Его сестра поставила у нас очень интересный спектакль по пушкинским «Цыганам». Тяжесть подготовки представлений ложится на плечи режиссеров, а я только отслеживаю, чтобы не прошло что-то уж совсем не по мне. Правда, шла работа и конкретно со мной, работа над спектаклем по древнегреческой трагедии «Антигона» Софокла. Только представьте себе, все это было написано около трех тысяч лет тому назад, а проблемы удивительно современны.

— Как вы считаете, вернутся ли знаменитые литературные вечера «золотых»

60-х, когда Евгений Евтушенко собирал полные залы, публика слушала стоя...

— Трудно сказать, колесо так называемой «фабрики» звезд действует очень сильно, вкладываются огромные деньги, и кажется, что все это неостановимо, такое впечатление, что враги оккупировали территорию культуры. Что касается вечеров, то в нашем театре выступают барды, ставятся интересные спектакли. Происходящее вокруг, конечно, непостижимо, но, видимо, пришла та самая «фельетонная эпоха», о которой писал Курт Воннегут.

— Раньше ваш голос часто звучал за кадром. Есть ли у вас новые работы в этой области?

— Кинорежиссер Владимир Мотыль снимает многосерийный фильм, там я пою французскую песню.

— Ваш талант не лишен дара некоего пародирования, многие даже не подозревают, что заставку к «Ералашу» исполняете именно вы. Как это у вас получается, ведь даже Илья Ильф и Евгений Петров писали: «Единственное, что не меняется у женщины, — это голос»?

— Ну что вы, голос женщины меняется, и очень сильно. Щебечущий девичий может смениться басом. А тот мой голос — голос подростка, он нигде не ушел, я и сегодня могу так спеть.

— Как-то просочилась информация о том, что вы выступали в посольстве в Гааге. Вы часто участвуете в таких правительственных вечеринках, мероприятиях?

— В такой роли я была первый раз и поражаюсь смелости нашего русского посла. Думаю, на него повлияла его жена, Марина Неелова. Знаете, как это бывает, в посольстве устраивали прием, чтобы продемонстрировать голландцам, как русские встречают старый Новый год, голландцы-то его не празднуют. Обычно в посольстве визитная карточка «рашен культуры» — это русский фольклор, ну и какая-то эстрада. Но в данном случае мое приглашение себя оправдало — мы выступили с большим успехом.

— А что вы пели?

— И Окуджаву, и песни на английском, на французском языках. Принято считать, что люди в дипломатических кругах далеки от культуры, но дальнейшее мое общение с фрейлиной королевы,

с министром иностранных дел показало: все эти люди — всесторонне образованные, в том числе и весьма сведущи в делах культуры. Для меня лакмусовая бумажка — песни Жака Бреля, и то, что эти люди прекрасно знают его и любят, было приятным открытием.

— **Ну и как, научили европейцев справлять старый Новый год?**

— Во всяком случае, впечатлений, кроме нашего выступления, у них было много: им устроили роскошный хлебосольный стол, невероятный фейерверк. Правда, наша традиция праздника была несколько нарушена: елку украсили орхидеями.

— **Вы часто бываете за рубежом?**

— У меня не случилось карьеры, случился Путь, слава богу, чему я больше рада. За меня трижды брались импресарио: один — поляк, один — немец, третий — англичанин, и все как-то соскальзывало. Может быть, надо было браться за это раньше по времени. Я же не буду меняться ради того, чтобы иметь более широкий, скажем, спектр деятельности. Ведь даже во Франции драматическая поэтическая песня утратила свою роль сегодня, к величайшему сожалению. Я езжу за рубеж, но в основном меня слушают наши соотечественники. Конечно, приходят и иностранцы, но случайно, ведь даже вся реклама о моих выступлениях идет в наших русскоязычных газетах. Хотя те 15—20 моих выступлений перед иностранной аудиторией доставили мне большое удовольствие. Огромное счастье понимать, что люди воспринимают мои песни эмоционально. С моей точки зрения, репертуар у меня совершенно несложный, но так уж публика воспитана, что простая песня — размышление о жизни — воспринимается как пессимистическая.

— **А как вы отдыхаете?**

— Уезжаю в деревню, в Рязанскую область, 430 километров от Москвы.

— **Могли бы вы рассказать о самых памятных событиях вашей жизни, о каких-то переломных моментах?**

— Памятных событий огромное количество. Практически вся наша жизнь состоит из станций и переломов. Я жила на Украине, приехала в Киев, поступила в институт; когда ты учишься — ты уже совершенно другой человек. Конечно,



если говорить о творчестве, мы учимся у наших впечатлений. Переломом все-таки является то, что ты прочитал в книгах, то, что тебя потрясло. Ход мыслей совершенно переменялся. Я долго не представляла, в какой стране живу. В школе учили про войну, героев, и то, что погибло множество людей в ГУЛАГе, тайно прочитанный тогда Солженицын стали для меня сильнейшим потрясением в жизни. И этот шок все продолжается, потому что открываются все новые и новые кровавые страницы нашей истории.

— **Свое первое выступление вы часто вспоминаете? И какое оно было?**

— Если мое первое сценическое выступление снять в кино, люди не поверят. Оно прошло в таком жанре трагикомедии: для меня это было очень трагично, а со стороны безумно смешно. Я не представляла себе, что такое сценическое публичное одиночество, и, оказывается, была к нему совершенно не готова. Я вышла, решила спеть а-капелла несколько песен, и это кончилось полным провалом. Абсолютно переломным стал для меня вечер в



Москве, в театре эстрады, когда я послушала Жака Бреля. Я тогда как раз окончила училище циркового и эстрадного искусства, еще не представляла себе, что буду делать, и тут увидела, на что способна песня: поэтическая роскошь плюс феноменальные способности автора, который написал и стихи, и музыку, плюс потрясающие аранжировки, плюс потрясающая отдача исполнителя, темперамент, подобно которому у уже не встречала. Позднее узнала много людей, которые на меня повлияли: это и Цецилия Львовна Мансурова, уникальная актриса, первая Турандот вахтанговского театра, Леонид Енгигбаров — гениальный клоун, Фаина Георгиевна Раневская, Ролан Быков. Счастьем была дружба с моими авторами — Давидом Самойловым, Юрием Левитанским.

— А что это за случай с Роланом Быковым, который так сильно повлиял на ваше творчество?

— К сожалению, нашим совместным планам не дано было осуществиться. Когда первую мою сольную программу закрыли, та маленькая «оттепель», которая была до меня, уже кончилась. Я попала в полосу, когда песни, подобные моим, уже считались антисоветскими, антинародными, и тут впервые услышала от Ролана Быкова слово «мюзикл». Мы договорились, что Микаэл Таривердиев напишет музыку на поэму Беллы Ахмадулиной «Сказка о дожде», Ролан это все поставит, я буду играть. Ничего из этого не получилось. Но вот в ходе работы Ролан первый мне подсказал, что микрофон — это тоже музыкальный инструмент, которым нужно пользоваться очень умело, и служит он не только для усиления звука, но и для проявления невероятного множества тонких красок человеческого голоса.

— Вы знакомы с Юрием Шевчуком, нашим земляком, бывали на его концертах. Ваши впечатления от его творчества и от зрителей, которые приходят на его выступления?

— В один из моих приездов собралось несколько бардов, и среди них был Шевчук. До него пели и другие, и, честно говоря, я уже не знала, куда деваться от скуки. Он был последним, и я моментально проснулась. Даже пыталась помочь ему, он выслал мне свои записи, я отнесла их на

радиостанцию «Юность», но там думали слишком долго... Я была только на двух его выступлениях и, если бы меня пригласил не Юра Шевчук, ушла бы после второй или третьей песни, потому что атмосфера в этом зале абсолютно мне чужда — это было какое-то физиологическое, биологическое потребление песни. У Юры в текстах много интересных вещей, но в таком восприятии все нюансы его песен проходят мимо.

— Скажите, кто ваша аудитория?

— Практически все мои друзья сегодня — это выходцы из моих залов. Я всегда надеюсь, что слушать меня будут люди, которые хотя бы приблизительно любят и чувствуют этот мир и мыслят так же, как я. Какие-то основополагающие понятия должны быть одинаковы. Я часто говорю «Его Величество Зритель», потому что в зале могут сидеть просто фантастические люди, гораздо более тонко чувствующие, чем я. Они больше понимают, судя по письмам, которые я получаю. Есть ведь люди, которые многого не читали, многого не знают, но обладают тонкой душевной вибрацией, а есть такие «сундуки со знаниями»: все читали, все видели — ничего не чувствуют! Как стена.

— Какое понятие вы вкладываете в определение «трудный зритель»?

— Последние лет десять у меня уже не бывает тех залов, какие собирались когда-то. Как ни уговаривали меня друзья, я никогда не меняла свою программу и не могла понять: почему то, что я пою, считается сложным? Было тяжело оттого, что случался слишком большой перепад: сегодня прекрасно проходит концерт в филармонии, а завтра нас бросают на солдатскую аудиторию. Были и неприятности. Как-то повезли нас выступать перед шахтерами, и, увидев полупьяный зал, я произнесла речь. Сказала, что песни — это живые существа, они нежны и похожи на цветы, и если их воткнуть в песок — они вянут. И пошел донос на то, что я оскорбляю рабочий класс, хотя у меня самой два брата — шахтеры, и я с большим уважением отношусь к труду. К восприятию этих песен эти люди просто были не готовы.

— Ваша родословная восходит к грекам Приазовья. Чувствуете ли вы духовное, культурное родство со своими предками?

— Конечно, я пою греческие песни. Мне очень нравится и их сегодняшнее песенное творчество, в частности, то, что они не подлаживаются под общий стиль. Как пели свои песни, так и поют. Собираются в гостях и поют очень какие-то жизнерадостные песни, хотя жизнь и история их далеко не веселы.

— **Вы начали свою песенную деятельность, записав цикл песен Новеллы Матвеевой, затем песни Булата Окуджавы. Обычно авторы ревниво относятся к исполнению своих произведений, особенно если сами поют. Как было в вашем случае?**

— Совершенно по-разному. Насколько Булат Окуджава отнесся тепло и нежно к моим опытам, настолько же строго реагировала Новелла Матвеева. И ей, и ее мужу Ивану Киуру казалось тогда, что не надо ничего своего, надо петь точно так

же, как автор. Более того, я тогда и привыкнуть-то не могла, как поет сама Новелла Матвеева, очень трогательно и мило, но считаю, что раз пою я, то должна искать свои краски.

— **Трудно в двух словах определить жанр, в котором вы выступаете, — это синтез поэзии, музыки, актерского мастерства, импровизации. Кто, кроме вас, еще выступает в жанре «Елены Камбуровой»? Есть ли у вас ученики?**

— В этом направлении поет свои песни Елена Фролова, она выступает и в нашем театре, и без нас прекрасно существует. И за рубежом у нее все прекрасно складывается, появляются все новые города, в которых ее ждут. Татьяна Алешина, Андрей Крамаренко, Александр Лущик — все это люди, за творчеством которых надо бы следить, но тут нам не помогает даже канал «Культура».

Из истории джаза в Башкортостане

Джаз! Что это такое? Можно дать десятки определений. Все они будут верны. Но даже соединенные вместе не ответят на вопрос до конца. Как-то к Армстронгу подошла восхищенная слушательница и спросила: «Что такое джаз?» И великий Сэтчмо с лукавой улыбкой ответил: «Мэм, я не знаю, ЭТО должно быть в крови».

Искусству джаза чуть больше 100 лет. Он моложе других музыкальных жанров, но по многоликости, разнообразию своих проявлений опережает любые музыкальные направления. Блюз, диксиленд, свинг, кул, боп, хард — вот далеко не полный перечень ветвей могучего дерева по имени Джаз.

История мирового джаза — увлекательный роман, наполненный страстями, радостями и печальями, взлетами и падениями человеческих судеб.

А как развивался джаз в Уфе? Я обращался к уфимским джазменам с просьбой написать историю башкирского джаза. И неизменно получал ответы типа: «Мне некогда, напиши сам, ты — коллекционер с 50-летним стажем, бываешь на всех концертах, знаешь всех нас». Так и появился предлагаемый материал. И хотя мое творение далеко не всеобъемлюще, думаю, оно будет интересно многим.

Моим друзьям — артистам джаза, матерям и женам, разделяющим их нелегкую судьбу, настоящим и будущим любителям джаза посвящаю.

Джаз родился в Новом Орлеане более 100 лет тому назад. А в 2005-м Новый Орлеан затопило. На одном из концертов

в училище ко мне подошел поэт Аркадий Аршинов и вручил текст стихов:

*Затоплен Новый Орлеан.
Всплывают трупы саксофонов,
Тромбонов гнутые кресты
Торчат могильно из беды.
И всем мобильным телефонам
Тот джаз не вынуть из воды.
У нас вокалит Манукян,
Дудит по-клубному Киреев,
По ресторанам третьих стран
Для сытых западных плебеев
Лобает Юлдыбая рать,
Пытаясь Паркера играть.
Вот вам и джаз;
Как тот стакан —
полупустой и полуполный,
Приходят и уходят волны,
И смыли Новый Орлеан...*

Первые джаз-клубы появились все в том же Новом Орлеане. А где появился первый джаз-клуб в Уфе? Ответ тебя, уважаемый читатель, удивит: под липой, в Уфе в 1908-м. Липу посадил мой дед — Николай, сын Федора. В годы Гражданской войны, когда Уфа переходила из рук в руки, под липой собирались то красные, то белые — члены одной семьи. В 1941 году перед уходом на фронт липу обнимал мой отец. В голодные военные годы нам советовали: «Спилите липу, посадите картофель». Дед отвечал: «Буду умирать от голода — липу не спилю».

Мама, которую и в 93 года все называли Леночкой, под липой поила чаем родных и знакомых. Под липой сживали известные врачи и садоводы, краеведы и

педагоги, оперные певцы и музыканты, литераторы и репатрианты, офицеры Советской Армии и отбывшие срок невинно осужденные, а также десятки уфимских филофонистов и джазменов. Здесь проводились сессии клуба филофонистов. Звучала живая музыка, устраивались диспуты, составлялись планы, читались стихи, пелись песни с использованием техники скэта. Липу смело можно назвать привалом джазменов, клубом под открытым небом. В те давние времена других джаз-клубов в Уфе не было. Липа стоит и сейчас. В летнее время она рада гостям. В 2008 году ей исполнится 100 лет.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИХ! ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!

Итак, когда джаз появился в Уфе? Вероятно, начало было положено духовыми оркестрами 30-х годов. В центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО, сейчас парк им. Ленина) играл оркестр под управлением Мустафы Резвановича Калиновского, в клубе железнодорожников — оркестр Родионова, на фабрике им. 8 Марта — Рубина, в Доме культуры Красной Армии (нынешний Дом офицеров) — Славы Меркехина, в клубе «Ударник» — оркестр баянистов, на базе эвакуированного из Рыбинска в Уфу моторного завода — оркестр Файхта.

К 1940 году музыканты с эстрадным «окрасом» выступали в ресторанах и кинотеатрах. Пианистка Татьяна Томберг приехала в Уфу из Ленинграда в 1938 году. Играла сначала в «Октябре», далее до 1963 г. — в «Родине». Михаил Вагин — саксофонист, «джазист», в конце 40-х был вынужден уехать в Ригу. Кстати, когда в 1960 году в Уфе гастролировал джаз-оркестр из Риги, его солистом был Михаил Вагинас.

Самой яркой фигурой довоенных лет был Фридрих Августович Кириш (1909—1991) — потомок немцев, приехавших в Россию еще при Петре I. В Уфе семья Кириш (девять человек детей) «прописалась» до 1917 года, имела собственную пекарню. Все трудились, в том числе и Федя: с детских лет он чинил обувь. Родители музицировали, поэтому не удивительно, что и Федор стал трубочком.

С первых дней войны он — солдат фронта. Как воевал? Об этом говорят его награды. После войны играл в оркестре уфимского пехотного училища, которым руководил Георгий Николаевич Иващенко, а также в кинотеатрах «Октябрь», «Родина».

Ф. Кириш был скромным человеком в быту, ярким на сцене и в общении. На обороте подаренной ему фотографии Оскар Строк написал: «Дорогому другу, первоклассному музыканту, чуткому, доброму товарищу Ф.А. Киришу на долгую память от благодарного композитора Оскара Строк. Рига, 1955 год». Труба Кириша смела быть пронзительной в годы, когда принимались «меры по борьбе с чуждым влиянием буржуазной культуры». «Уфимский Эдди Рознер» или просто «дядя Федя» — таким остался он в нашей памяти.

В годы войны на гастролях в Уфе побывали оркестры братьев Покрасс, Якова Скоморовского, Эдди Рознера, Макса Южного. Уфимские музыканты общались с гастролерами, перенимали опыт. Но играли по нотам, импровизировать не умели. Перед киносеансами в фойе звучали мелодии военных лет, старинные вальсы, классические миниатюры.

В 1945 году в оркестр кинотеатра «Октябрь» пришла Евгения Владимировна Иващенко — лауреат конкурса имени Чайковского по классу скрипки. Волевая и энергичная, она скоро стала руководителем оркестра. Ее муж — Г. Н. Иващенко (1906—1995) — военный дирижер. Вроде не солдат, но в 1942-м совершил подвиг: с взорванного фашистами и тонущего корабля он бросился в ледяную воду Балтийского моря, предварительно обмотав вокруг себя полковое знамя. После лечения его направили в Уфу, где он создал оркестр пехотного училища. С 1955 г. Г. Н. Иващенко — старший преподаватель в школе музвоспитанников (ШМВ). В 1976 г. подполковник Иващенко возглавил духовой оркестр МВД Башкирии и десять лет был его главным дирижером. Кстати, Георгий Николаевич — сын военного дирижера лейб-гвардии кирасирского Его Императорского Величества (то есть Николая II) полка.

Все дети дружной семьи Иващенко стали музыкантами. Пианист Стас Ива-



щенко работал в театрах оперы и балета Уфы и Перми, в музыкальном лектории и хоровой капелле уфимской филармонии, в детской музыкальной школе № 4. Музыка была целью и страстью его жизни. Он был знатоком всех музыкальных жанров, хорошо разбирался в поэзии, живописи.

Анатолий Иващенко — один из создателей и ведущий преподаватель эстрадного отделения Уфимского училища искусств. Пианист, теоретик и историк джаза, поэт, писатель, философ, импровизатор в музыке и жизни, создатель и участник множества проектов, ведущий концертов, лауреат фестивалей.

В 1949 году в Уфу из Шанхая приехали репатрианты — джаз-оркестр Бориса Бочарова: А. Шаганов — саксофон, кларнет, труба. С. Липпарт — саксофон, флейта, кларнет, А. Роскин — саксофон, И. Гуменский — фортепиано, Шахов — тромбон, П. Зелинский — барабаны, гавайская гитара, П. Лебедев — труба, Беккер — тромбон, Ренковецкий — флейта, В. Лоренс — скрипка, Г. Пьянков — гитара, труба. Музыканты привезли с собой опыт фирменного звукоизвлечения, умение импровизировать, ноты, грампластинки. Барабанные палочки Б. Бочарова буквально летали по воздуху. Он познакомил уфимцев с техникой вокального скэта, пел на английском. Ходил по Уфе в турецкой феске, в одной его руке была ракетка для тенниса, в другой — поводок милого пса. Это настораживало, в те годы полагалось быть скромным и серым, не выделяться.

«Шанхайцы», многие из которых играли на 2-3 инструментах и пели, звучали ярко, раскрепощенно. Так можно было играть только в ресторанах, впрочем, и там джаз подавался малыми порциями. Уфа не была готова принять оркестр как единое целое. Музыканты разбрелись по ресторанам, кинотеатрам. Ренковецкий и Лоренс нашли работу в оперном театре. Беккер уехал в Белорецк, где создал духовой оркестр. К концу 50-х большинство «шанхайцев» покинуло Уфу. До конца жизни здесь задержался лишь Г. И. Пьянков. В 60-х годах он руководил духовым оркестром фанерного комбината, позднее преподавал в школе музвоспитанников. И обожал свою американскую гитару, привезенную из Шанхая.

Уфа середины 1950-х. Улица Ленина от Чернышевского до Октябрьской революции. Это место молодежь называла «Бродвеем». Гуляли степенно, старались не курить, не шуметь — стилиги делали первые робкие шаги. С ними еще не боролись. Общее внимание привлекал спортивного вида, несмотря на отсутствие одной ноги, мужчина, одетый во все черное. При нем часто был баян, на котором он весьма умело играл «Темную ночь», «Караван», «Сан-Луи». Мужчину звали Спартак. Спартак, точнее Наэль Абдрахманович Асадуллин, — участник и призер ежегодных конкурсов баянистов, проводившихся в ЦПКиО и парке имени Луначарского в 50–70 годы. Спартак знал многих «шанхайцев», играл с ними в ресторанах. Это его феноменальная память сохранила имена музыкантов довоенных оркестров, «шанхайцев». Сразу после техникума физкультуры — фронт. Прошагал от Украины до Венгрии. Ногу потерял весной 1945-го под Будапештом. В 1950-м окончил Уфимское музыкальное училище по классу баяна и больше сорока лет обучал детей в музыкальном училище № 2. Кстати, в этом же училище работал и Борис Матвеев — уфимец, игравший на барабанах в оркестре Эдди Рознера.

* * *

В 50-е годы уфимский джаз набирает силы. Обстановка для этого была, что называется, «подходящая». Начать с того, что после войны слово «джаз» в СССР вообще было под запретом, а в 1950 году даже был прекращен выпуск радиоприемников с короткими волнами, точнее, сокращен тот диапазон КВ, на котором работали европейские радиостанции днем. Вот и «повелось на Руси ночью слушать Би-Би-Си» и другие «голоса».

Свое повествование я продолжу в форме хронологии событий, так или иначе повлиявших на развитие джаза в Уфе. Итак, в 1951 г. в Уфе гастролировал оркестр Л. Утесова. В том же году родился Марат Юлдыбаев.

Когда в 1952-м открылся кинотеатр «Родина», музыканты из «Октября» переходят на новое место. Репертуар прежний,

но конференсье вместо слова «фокстрот» объявляет «быстрый танец», вместо «танго» — «медленный танец».

1952 г. — родился Вячеслав Назаров.

1953 г. — в один день умерли композитор С. Прокофьев и И. Сталин. В США вышел фильм «В джазе только девушки».

1954 г. — начало «хрущевской оттепели». Впрочем, сам Никита Сергеевич джаза не любил.

В 1955-м в уфимском парке имени Матросова играет баянист Спартак. Программа завершается «Караваном». Студент медицинского института Е. Литючий в стенгазете «Медик» помещает заметку о музыкальной жизни города. Последняя строка заметки: «А в конце был джаз!» (помните фразу конференсье из довоенного фильма «Моя любовь»: «А сейчас будет джаз!»?). На следующий день — вызов на кафедру марксизма-ленинизма. И, как бритвой, слова заведующего кафедрой: «Вот что, Летучий! Или ты учишься у нас, или пишешь про джаз. Иди думай!» Именно в те годы в прессе появился стишок: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст».

1956 г. — родился Радик Арсланович Гареев — певец, директор театра оперы и балета, народный артист РСФСР и БАССР.

1956 г. — концерт Бенни Гудмана в Москве.

1957 г. — родился Юрий Шевчук.

1958 г. — в Уфе прошли гастроли оркестра «Джаз Молдавии» под управлением Шики Аранова. После концерта Г. Жебаров признался: «Попытаюсь создать нечто подобное в Уфе».

1958 г. — отмена постановления 1948 года о музыке Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна.

1959 г. — в Уфе прошел концерт оркестра Олега Лундстрема с юбилейной программой «Нам 25 лет». Исполнено всего две джазовые пьесы, больше не положено.

До отмены запрета на «музыку толстых» было еще далеко, но появлялись хотя бы просветы. В те годы студенты уфимских вузов «помогали селу убирать урожай». На заработанные «трудодни» при поддержке ректора медицинского института Н.Ф. Воробьева в Чехословакии были куплены музыкальные инструменты, и в 1959 году студенты-медики созда-

ли оркестр, оснащенный вполне профессионально. В оркестре «Спектр» под руководством И. Малиновского играли Д. Хабибуллин, А. Каут, И. Исанбердин, Ю. Ченозубенко, К. Татлыбаев, Р. Ларин, А. Мелитицкий, А. Старуха, В. Мохнаткин, В. Поваров, Ю. Буланков, Р.Тюрин, А. Зиновьев, Л. Сорокин. Вокалисты — А. Баранова, Г. Сотник, С. Петров, С. Радвичус, Н. Чанышев.

1959—60 гг. — в парке имени Луначарского под видом эстрады звучит тонко замаскированный джаз. Играют: Г. Жебаров, Ф. и Э. Кирши, А. Жданов, П. Батрак.

1960—62 гг. — в парке «Победа» звучит оркестр В. Семака.

В 1960-м судьба свела в Уфимском нефтяном научно-исследовательском институте (УфНИИ) вчерашних выпускников УНИ В. Полякова, А. Дьячука, М. Грахова, А. Оводова, Н. Махмутова, Н. Бадретдинова, В. Колокольцева — в недавнем прошлом активных участников студенческого самостоятельного эстрадного оркестра.

Та же счастливая судьба прислала в Башкирское геологическое управление молодого специалиста Константина Колобова (ученика самого Деринга — солиста оркестра Олега Лундстрема). В созданном им оркестре на ударных играл В. Поляков, на фортепиано — А. Дьячук, на гитаре — М. Грахов, трубы — Н. Махмутов, А. Оводов, Н. Бадретдинов, солист — В. Колокольцев. На других инструментах играли студенты музыкального училища В. Бередин (саксофон-баритон), Ю. Андреев (тромбон). Г. Тараторкин (контрабас) той же осенью был приглашен в оркестр оперного театра и быстро подготовил себе дублера — Ю. Голубева. Женские сольные партии исполняла Э. Турчанинова — молодая энтузиастка вокала.

Первый концерт состоялся 6 ноября 1960 года. В репертуаре — классика джаза, эстрадные мелодии и песни советских и европейских авторов, джазовые обработки башкирских и татарских народных мелодий. Известия о новом оркестре быстро разошлись по городу, и на следующие вечера в УфНИИ было, что называется, не попасть! Молодежь ломилась.

1962 г. — Геннадий Жебаров собрал оркестр с великолепным составом. Саксофоны: Н. Утяшев, Ф. Саттаров, В. Анты-

шев, А. Студенов, Э. Мингазов, А. Жданов, С. Березин. Трубы: И. Ахмадеев, А. Семак, А. Зиновьев, Р. Камнев, Ф. Гайнуллин. Тромбоны: Ю. Андреев, Ю. Завражнов, Г. Киселев, Л. Мизгулин, М. Цапкин. Контрабас: Э. Кириш, А. Тараторкин. Гитара: М. Грахов. Фортепиано: С. Иващенко. Ударные: А. Гарбуз.

Для Г. Жебарова джаз был смыслом жизни. Он работал с оркестром неистово, был требователен, авторитетен, музыканты его понимали. Обладая абсолютным слухом и феноменальной музыкальной памятью, Жебаров «снял» мелодии Гленна Миллера, Дюка Эллингтона, Каунта Бейси. Именно он первым стал делать эстрадно-джазовые обработки башкирских народных песен.

Оркестр играл в УУИ, в Доме учителя, в клубах, но получить официальный статус не сумел. Без базы и финансовой поддержки выжить было невозможно. Оркестр распался в 1963 году.

В начале 60-х взошла звезда Элвиса Пресли, а битлы стали группой №1 в мире. Под их влиянием в Уфе возникают вокально-инструментальные ансамбли (ВИА). Некоторые уфимские джазмены начинали в ВИА или сотрудничали с ними, в частности М. Юлдыбаев, В. Антышев, Ф. Саттаров, А. Олимпиев, Р. Каримов, С. Аринушкин, А. Тимофеев, Е. Чистяков, Ю. Шемагонов. Для них танцплощадка стала колыбелью джаза.

В 1962-м году открылась гостиница «Агидель», и вскоре ее ресторан стал центром джаза. Здесь играли А. Иващенко, А. Решетников, В. Бузник, Ю. Гаврилов, В. Щербаков, В. Красовский. Сюда пришел ученик школы музвоспитанников Слава Назаров. Малоизвестный факт: впервые Назарова услышал Федор Кириш и направил его к «джазистам» в «Агидель». Назаров принес с собой тромбон, но первое время играл двумя пальцами на фортепиано.

В 1963-м родился Олег Киреев.

В середине 60-х годов джаз играли в ресторанах «Агидель», «Башкирия», кинотеатре «Родина», Дворце имени Орджоникидзе, клубе «Гастелло», авиационном и нефтяном институтах. Список музыкантов растет: Е. Пономаренко, В. Петров, А. Мелитицкий, Д. Давыдов, В. Терегулов, В. Камнев, В. Арапов, Ю. Лисин, Р. Сайтов, А. Харьков, Б. Беляев.

В составе студенческого театра эстрадных миниатюр при авиационном институте начинал играть на саксофоне Марат Юлдыбаев. Руководил СТЭМ-ом и опекал музыкантов М.И. Рабинович — ныне художественный руководитель Республиканского академического русского театра драмы.

В 1969 г. Наилу Утяшеву удалось создать новый оркестр на базе 40-го завода. Руководство завода поддержало музыкантов — все были приняты на ставки «рабочих» должностей. Играли джаз. В репертуаре было около 40 композиций. Аранжировки делал Г. Жебаров. Костяк оркестра состоял из «жебаровцев». Пришли и новички — А. Решетников, А. Мелитицкий, С. Гембель, А. Сипайлов. При оркестре была вокальная группа, поющая в стиле Рея Конниффа. После отъезда Н. Утяшева в Москву оркестр возглавил Ф. Саттаров.

В начале 70-х годов география джазовых площадок Уфы продолжает расширяться: кинотеатр «Искра», кафе «Океан», «Встреча», рестораны «Россия», «Сакмар», «Космос», «Турист». При УМПО создает свой оркестр В. Красовский.

Уфимский джаз стал выходить на официальные сцены. В 1971 году группа музыкантов была приглашена на съемки в студию Башкирского телевидения.

1971 г. — умер великий Луи Армстронг. В том же году с концертами в СССР прибыл оркестр Дюка Эллингтона.

1972 г. — на джаз-фестиваль в Куйбышев со своим оркестром из Стерлитамака едут В. Назаров, А. Иващенко, В. Бузник, А. Решетников, В. Щербаков и Г. Калинин. Привезли 7 дипломов лауреатов фестиваля.

1972 г. — родился Артур Гимаев — трубач, у которого еще все впереди.

1974 г. — в УУИ открыт эстрадно-джазовый отдел. Его первыми преподавателями и учениками одновременно были: Г. Маркоров, М. Грахов, В. Назаров, М. Юлдыбаев, В. Камнев, А. Решетников, Ю. Гаврилов и другие. Возглавил отдел А. Иващенко.

1975 г. — в УУИ Георгий Маркоров создал эстрадно-джазовый оркестр и 15 лет руководил им.

1975 г. — Марат Юлдыбаев собрал свой первый ансамбль.

1976 г. — родилась Земфира Рамазанова.

1976 г. — на фестивале в Куйбышеве «Весна-76» играли: Назаров, Юлдыбаев, Решетников, Гаврилов, Тимофеев, Камнев, Иващенко. Итог — 5 дипломов. Осенью тем же составом ездили в Ригу. На джем-сейшне Назаров играл на контрабасе. С непривычки заработал кровавые мозоли. Затем сел за рояль. После игры клавиши были в крови, но доиграл до конца. В этом весь Назаров — фанатик джаза.

1976 г. — звезды польского джаза во главе с З. Намысловским в Уфе.

В начале 70-х, когда по радио пели про «комсомольцев-добровольцев», грампластинка (на нашем языке «диск») была основным средством приобщения к джазу. Диски покупались в магазинах, обменивались, перепродавались по завышенным ценам. В Уфе появились «тучи», где собирались коллекционеры и «барыги». Милиция «тучи» разгоняла.

В 1976 г. был создан клуб филофонистов для «законного» общения. Базой клуба стало хоровое общество, а с 1982 г. по 1992 год — Дворец культуры РТИ. В клубе было 3 секции: классика, джаз и эстрада. В каждой секции на общественных началах работали активисты — проводили лекции и беседы по своему жанру. Секцию джаза вели: Марк Грахов, Евгений Паскудский и я.

Материалы для сообщений брали из чешских, польских и немецких журналов. Говорили о стилях, инструментах, звездах джаза; слушали диски. Клуб посещали люди разных возрастов и профессий. Вход был открыт для всех желающих, число членов клуба к 1990 году достигло 300 человек.

Пробуждая интерес к джазу, мы воспитывали его сторонников, без которых исполнение джазовой музыки теряет смысл. Даже сейчас, почти 30 лет спустя, на концертах ко мне подходят «соклубники» со словами: «А помните, вы рассказывали о джазе...».

В клубе играли музыканты «Дустара» и «Орлана», студенты УУИ, УИИ, а мы — коллекционеры — помогали им в поисках редких записей.

С 1976 по 1992 год активистами трех секций клуба было проведено около тысячи мероприятий — лекций, диспутов,

встреч, выставок, концертов и других акций. Девиз клуба «Музыкальные знания — в народ» сохраняется и сейчас.

В 1980 г. создано БРОМА — Башкирское республиканское объединение музыкальных ансамблей. Его основатель и руководитель — И.Н. Ахмадеев, известный джазовый музыкант. БРОМА было административным и профсоюзным центром. Здесь, на улице Ленина, стартовали ансамбли «Дустар», «Орлан» и десятки других коллективов. Здесь проводились репетиции, составлялись планы концертов. Отсюда музыканты получали «направление на рабочие объекты». Здесь можно было получить совет, поощрение, защиту, выговор с лишением премии за опоздание. Для ресторанов и кафе здесь готовили идеологически выдержанное «музыкальное меню» — список композиций, подлежащих обязательному исполнению. БРОМА самораспустилось в 1994 г. К этому времени многие «объекты» перешли в частные руки; их владельцы стали набирать музыкантов без посредников.

В 1980-х джазовая жизнь проходила под знаком «Дустара».

1981 г. — М. Юлдыбаев стал руководителем ансамбля «Дустар» в составе: Р. Медяров, Ю. Шемагонов, А. Сергиенко, Е. Чистяков.

1982 г. — на фирме «Мелодия» записан диск «Дустара» «Карусель».

1983 г. — фирмы «Sony» и «Philips» начали продажу компакт-дисков и проигрывателей к ним.

1984 г. — «Дустар» играет на фестивале в Куйбышеве — «Весна-84» и на IX московском джаз-фестивале.

1985 г. — «Дустар» — лауреат XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

1986 г. — «Дустар» на фестивале в Тбилиси. Пресса особо отметила композиции «Картатай» и «Карусель».

1987 г. — «Дустар» на джаз-фестивале «Уфа-87».

1988 г. — на фирме «Мелодия» записан диск «Караидель» («Черная река»). В 1987–90 годах «Дустар» принимал участие в джаз-фестивалях в Петербурге, Ереване, Сочи; с успехом гастролировал по США.

Марат Юлдыбаев — лидер и мотор ансамбля, талантливый композитор и



аранжировщик. В своих композициях он добился органичного сплава народной башкирской музыки и джаза. За вклад в музыкальное искусство М. Юлдыбаеву было присвоено звание заслуженного артиста Башкортостана.

«КОГДА ВСЕ О`КЕЙ»

В конце 80-х годов у «Дустара» появился серьезный конкурент в лице «Орлана», созданного Олегом Киреевым в 1985 году. В первом составе играли: Р. Галиуллин, М. Цимбаленко, С. Тылибцев, О. Киреев. Подобно метеору врывается в джазовую жизнь Уфы Олег Киреев. Пытается создать джаз-клубы: «Навигатор», «Арслан», в Доме актера, «Братья Люмьер». В свои проекты он привлекает новых музыкантов и певцов — О. Янгурова, И. Сучкова, Р. Каримова, В. Купцова, С. Шикалова, И. Шилкину, Н. Молина, Л. Клинушину.

«Орлан» принимал участие в джаз-фестивалях в Куйбышеве, Чебоксарах, Кривом Роге, Казани, Риге, Тбилиси. Менялись города и состав ансамбля. Неизменным оставался репертуар, построенный на симбиозе джаза и башкирского фольклора. Примером служит диск «Башкирские легенды», записанный в 1989 году. В одном лице О. Киреев сочетает талант блестящего исполнителя, шоумена, композитора, организатора. От него исходит поток положительной энергии. Кто-то заметил: «От Олега можно прикуривать». На концертах он мгновенно устанавливает контакт со слушателями, под музыку его саксофона хочется петь и танцевать.

На протяжении 15 лет Олег Хусаинович Киреев был лидером уфимского джаза. Для описания всех концертов и проектов, которые он создавал, нужна отдельная книга: «О. Киреев приглашает», «Джаз без границ», «Джаз-Сабантуй», «Музыкальный автобус», «Джаз под открытым небом», «Фэн-Шуй». При поддержке спонсоров Киреев создает творческое объединение «ИнтерДжаз» (председатель — И. Хабибуллин). Совместно с А. Наймушиным дает жизнь детскому игровому клубу «Остров Джаз». С Ринатом Баймовым «выбивает» ставки для музы-

кантов симфо-джаз оркестра Башкирской государственной филармонии.

О. Киреев — музыкальный посол как внутри страны (от Риги до Абакана), так и за ее пределами (от Польши и Финляндии до Англии и США). И везде — успех. Записывает компакт-диски. В печати — восторженные отзывы: «Революционный русский музыкант О. Киреев — сюрприз Бирмингемского джаз-фестиваля... экстраординарный тенорист» («The Evening Mail», Англия).

1996 год. XXX Международный фестиваль джаза в Монтре (Швейцария). Квартет О. Киреева (А. Соколов, С. Оськин, Р. Каримов) стал его первым русским участником-лауреатом, получившим диплом за выдающееся выступление. Этот «рекорд» до сих пор никем не повторен.

Переезд О. Киреева в Москву был омрачен тяжелой травмой ноги. Не сдался. Не затерялся среди столичных джазовых звезд. Вспоминаю концерт Киреева в Центральном Доме работников искусств (ЦДРИ), где он играл с А. Фишером, А. Осейчуком, Г. Файном. Концерт длился 3 часа. Москвичи аплодировали Олегу стоя.

В 2003 году Киреев избран арт-директором московского «CooL TRAIN» клуба, что на Большой Садовой улице. Кредо О. Киреева: «Чтобы здесь играть, нужно иметь свое лицо. Джаз не должен быть просто сопровождением хорошего ужина».

Олег всегда в поиске, а родная Уфа по-прежнему в сфере его внимания. Часто приезжает, встречается с друзьями, дает концерты...

Назовем и вспомним трех музыкантов, которых уже нет с нами. Марк Грахов (1934—1990). Инженер Башнефтегеофизики. Кто он? Поэт, музыкант, переводчик? Или человек, родившийся не там и не в то время? О себе он писал: «Обилечен, вовлечен и публично обличен».

*А потом я был уволен,
но, конечно, без статьи.
Все в порядке, я доволен,
все родные, все свои.
За отсутствие идеи
Я сяду и балдею.*

Окончил УНИ. Гитарист-самоучка, преподавал в училище искусств. Учил играть на гитаре Д. Мухаметшина, Ю. Гаврилова, Д. Давыдова. выступал в ресторанах, парках: *«Ради скудного прикорма будем мы играть покорно»*. Он жил на улице Добролюбова, недалеко от моего дома, где мы часто встречались под уже упомянутой липой. Он знакомил нас с бразильской боссановой, которую играл в стиле Чарли Берда, рассказывал о новостях, читал стихи. По ночам, под пение соловьев, переводил статьи о джазе из иностранных журналов. Перевел две книги: Стенли Дэнс «Мир Дюка Эллингтона» (350 страниц) и Дж. Томас «Следуя за Колтрейном» (210 страниц). Марк Грахов — один из создателей клуба филофонистов и лучший лектор джазовой секции. Зная о джазе все, он рассказывал просто, его слушали не дыша. Грахов увлекался туризмом, был причастен к организации клуба самодеятельной песни в Уфе. При его участии весной 1990 г. создается кафе «Март», где играли только джаз. Но раскрыть свои таланты Марк не успел. В конце того же года мы провожали его в последний путь, музыканты «Дустара» и «Орлана» играли «Когда святые маршируют»...

*Устроил фарс какой-то Маркс,
И все играли в классы,
Ну, а у нас — культура масс,
Роднят культуру массы.
Мы строим падеграсс из фраз,
Идет у нас игра ума-с!
(написано 30 лет тому назад)*

Георгий Маркоров («Палыч»), 1944—2007. Он мог бы стать образцовым кабинетным ученым, но его привлек джаз. Впрочем, джаз, как и наука, — удел избранных. Маркоров — один из создателей эстрадного отдела Уфимского училища искусств (1974), где преподавал 25 лет. В 1975 г. при УУИ Маркоров создал эстрадно-джазовый оркестр и 15 лет руководил им. В 1984 г. оркестр занял почетное второе место и получил звание лауреата I Всероссийского смотра-конкурса, в котором выступили 23 коллектива из Москвы, Ленинграда и других городов.

В 1998 году был создан эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии, и Маркорову

предложили возглавить его. Пришлось оставить УУИ и взяться за самую тяжелую работу в джазе — стать главным дирижером, руководителем и аранжировщиком большого оркестра. Работе с оркестром Г. Маркоров отдавал все свое время, силы и здоровье. Оркестр играл не только в филармонии, но в учебных заведениях и на предприятиях, в городах и районах республики, на джаз-фестивалях в Тольятти (2000 г.), в Челябинске (2002 г.). Оркестр под руководством Маркорова стал украшением филармонии и города Уфы в целом. Мечтал ли глава оркестра о награде?

*Георгий Павлович Маркоров
о Грэмми-премии мечтает.
Мы знаем: он ее достоин,
Но обстоятельства... мешают.*

Г. Маркоров был яркой, творческой личностью, музыкантом-новатором. Старым мелодиям он придавал современное звучание. Всегда в поиске, он вводил в звучание оркестра новые ритмы и аранжировки. Внешне суровый, он всегда был готов помочь, поделиться знаниями. Всю жизнь учил других и учился сам. Брать интервью у него было трудно — о себе говорил мало, больше о партнерах. Он был человеком слова, обещания всегда выполнял; имел право сказать о себе: «честь имею». Немногие знали, что в последнее время ему приходилось вести концерт, петь скэтом и играть, находясь на диете, превозмогая боль. Маркоров — учитель, пианист, дирижер, композитор, аранжировщик — останется в нашей памяти образцом Человека и олицетворением уфимского джазмена!

О Славе Назарове (1952—1996) выше уже было сказано. К концу 70-х годов, когда он уже играл в Уфе, Москве, Ленинграде, Риге, Куйбышеве, его смело можно было назвать гениальным музыкантом. Не случайно в 1978 году для участия в «джеме» на джаз-фестивале в Праге Назаров был приглашен вместе с музыкантами оркестра Кларка Терри (США). О. Лундстрем, в оркестре которого играл Назаров в 1978—1983 годах, считал его лучшим тромбонистом СССР.

В 1983—1989 гг. Назаров играл в ансамбле «Аллегро». Не забывал и родную Уфу. Запомнилось его участие в «джеме» при ресторане «Россия» (1984 г.) вместе с



М. Юлдыбаевым, Р. Шаймухаметовым, В. Двоскиным, Л. Низаевой.

В 1992 г. Назаров уехал в США. И сразу как равный вписался в жизнь американских звезд. Легендарный саксофонист Benny Golson назвал талант Назарова «уникальным», помогал ему в организации концертов в лучших клубах. И внезапно — смерть в нелепой автокатастрофе.

А. Иващенко о В. Назарове:

*Пульс неумолим как метроном
в темпе зажигательного «presto».
Подошел к роялю с кипой нот
мальчик из военного оркестра.
Оживив дыханьем чутким медь,
обожая паузы безмолвье,
успевает и играть, и петь
под полет с кулисы гибких молний.
Жизнь — импровизация! О том
(проигрши иль выигрши — неважно!) —
пел слегка помятый баритон,
на глаза попавшийся однажды.
Слезы, крылья, бездна! Тонут в смог
дни и годы, прожитые за три.
Без предначертанья нет дорог.
Слава не приходит без азарта.
Я глотаю звуков кипяток.
Кто-то, подражая этим всплескам,
станет вдруг земной звездой, как тот
мальчик из военного оркестра.*

Талант Назарова многолик. Тромбонист № 1, он мог заменить пианиста и басиста. Певец с великолепной скэт-техникой, но хорошо исполнил и баллады. Композитор с яркой фанк-импровизацией, а вот ведь — сочинил и спел «Есть в графском парке темный пруд...» в кинофильме «Три мушкетера». Яркий импровизатор в акробатическом соло на тромбоне и нежный «свингач» в мейнстриме. Открытая душа с друзьями и стусок буйной энергии в музыке. Вечера памяти Славы Назарова проходили и в Уфе, и в Москве. На джаз-фестивале «Уфа-97» С. Чипенко сказал: «Хочу, чтобы все мы почтили память великого джазового тромбониста В. Назарова». И зал встал.

* * *

С. Чипенко («Чип»), В. Сенчилло, Р. Капитонов — костяк «Транс Атлантика»,

все бывшие уфимцы. «Транс Атлантика» — лауреат международных и всероссийских джаз-фестивалей — объездил полмира, от Германии до США, приглашает в свои проекты мировых звезд. Приятно, что и в Уфе музыканты ансамбля — частые и почетные гости.

Активный участник джазовой сцены Уфы 60-х — 80-х годов — А. Решетников («Лука»). Играл в оркестре Н. Утяшева, во всех ресторанах города, на фестивалях в Куйбышеве, Москве, Ленинграде, Риге. В составе интернациональной джазовой команды работал на туристических теплоходах, ходивших «в кругосветку», вокруг Европы.

Организаторский талант всегда привлекал к А. Решетникову музыкантов. В 1991 г. Решетников помог устроить на рабочий контракт в Таиланде ансамбль «Ду-стар», выступив в роли мецената и спонсора. Для молодых трубачей А. Решетников и сейчас остается образцом музыканта-импровизатора.

В 1990 г. создан оркестр при ДК УЗЭМИК. Руководитель — заслуженный работник культуры РФ и РБ Вегелин А.А. («Сан Саныч»).

Репертуар биг-бенда универсален: от джаза и спиричуэлс до народных русских, башкирских и татарских песен, от музыки оперетт до современных танцевальных ритмов.

Состав оркестра — яркий пример сочетания ветеранов уфимского джаза и молодых музыкантов. В оркестре играют: В. Юдин, С. Гайнуллин, А. Журавлев, А. Валеев, А. Сипайлов, Р. Каримов, А. Садьков, Э. Муратов, С. Пешкин, А. Богомолов, Д. Брызгалов, И. Коршиков, А. Абдрахманов, О. и А. Позяк, А. Кругликова, В. Яковлев, С. Косых.

Аранжировщик оркестра — В. Скобелкин.

Н. Середов поет песни, романсы. Д. Япарова поет песни башкирских, татарских авторов, мелодии из легендарной «Серенады солнечной долины». Тансулпан Ижбулатова (мы помним ее участие в ВИА прошлых лет) поет башкирские песни, свингует в «Аллилуйе»...

Оркестр под управлением А. Вегелина — лауреат республиканских фестивалей духовых и эстрадных оркестров.

Чтобы успешно играть джаз, нужно, кроме таланта, иметь свое звучание, быть легко узнаваемым. Таковы наши следующие герои.

Как часто музыка и поэзия дополняют друг друга!

*В музыке своей — пою о радостях и горе!
Музыкой своей — дышу
и надышаться не могу.
В музыке моей — и Шопен, и Бах.
В музыке моей — черный блюз и джаз!
В музыке, стихах — звучит
моя вся Музыка Огня!
Кришна, Дао и Конфуций,
Майлс, Колтрейн и Кейт Джаррет —
творческая философия моя!*

*Струна — не порвется,
Сквозь невзгоды — прорвемся.
Гитару настроим камертоном Любви!*

Из книги «Любовь и слезы одинокого джазмена», Джалиля Мухаметшина («Фарбера»).

Джалиль — лучший гитарист на Всероссийском конкурсе джазовых отделений музыкальных училищ (1984 г.), лауреат фестиваля джаза в Таллине (1985 г.). Десять лет преподавал в УУИ (класс гитары). Среди его учеников Д. Шапко, А. Соколов, Земфира... Стажировался у Джона Маклафлина, Равви Шанкара. Играл с «Орланом» в Уфе и других городах. В Питере работал у Д. Голощекина в единственной в России джазовой филармонии. В московском «Ле Клубе» играл с А. Герасимовым, В. Чекасиным, Д. Крамером.

Манера игры Джалиля нетрадиционна, изящна, элитарна. Он не годится в сопропроводители. Ему нужно блеснуть в соло. Он не развлекатель, но рассказчик-философ. Играть бы ему в уютном интеллигентном арт-кафе, да где же взять такое?

*Звучит полночный лунный джаз,
и никому тебя я не отдам!
Рыдает, плачет саксофон,
все понимает, тоскуя, он!
Впусти меня в свой храм любви!
Все чувства чистые мои!
Возьми меня всего в себя!
Я твой навечно, навсегда!*

Джалиль

Дмитрий Шапко. УУИ он окончил как художник и лишь потом взял в руки саксофон. Побольше бы таких самоучек! Редкий случай для Уфы конца 80-х: он сразу «подсел» на Паркера, Колтрейна, Долфи, Колмана, т.е. на все от хард-бопа до авангарда. Возникло трио единомышленников — художественное трио «Уфа» (Д. Шапко, С. Шапко, С. Остроумов). Успех, пришедший сразу, был связан скорее с необычностью исполнения музыки. Это было освобождение от правил, ограничений, свинга, красоты, нежности, причесанности. Короче, — от традиционного джаза.

Выступили на уфимском «Джаз-форуме» (1989 г.), на фестивалях в Курске, Нарве, Москве. А дальше — улыбка судьбы. Кассету с записью игры Д. Шапко прослушал педагог-саксофонист Давид Либман (США) и пригласил на фестиваль в Голландию. Д. Шапко уехал, имея при себе лишь саксофон. Его игра пришла ко двору. Последовали гастроли по Европе, участие в ньюпортском фестивале (США). И... непрерывный труд.

Сейчас Д. Шапко не надо работать настройщиком роялей. Он — арт-директор джаз-клуба в Ницце.

Можно ли играть джаз на аккордеоне? Можно, и с блеском. Это доказал заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат международного конкурса в Швейцарии (I премия, 1994 г.) Олег Мельников. Звучание его аккордеона с французским шармом в стиле «мюзет» запомнилось еще со времен клуба «Братья Люмьер» (зеленый зал «Родины»). Мельникова стали называть уфимским Ришаром Гальяно. Широкий диапазон исполняемой им музыки: вальс, танго, румба, полька, композиции А. Пьяццоллы. И все — в свинге, в джазе.

Партнерами Мельникова были А. Соколов, М. Цимбаленко. Гитарист А. Соколов в составе квартета О. Киреева выступал в «Монтре-96», играл в оркестрах у Г. Маркорова и В. Красовского, в трио Е. Чистякова.

М. Цимбаленко — универсальный басист. Легко вписывается в разностилевые составы. Играл в Польше, в Таиланде с «Дустаром», в Дамаске (Сирия) получил звание профессора консерватории. В Национальном симфоническом оркестре



Республики Башкортостан является концертмейстером группы контрабасов.

Единственная уфимская вокалистка, покорившая московскую джазовую сцену, — Ирина Остин. На фестивале «Джазовые голоса» в Москве (1998 г.) ее выступление было признано лучшим. После участия в фестивале «Джаз-буги-вуги» пресса назвала ее «любимницей московских джазовых гурманов». Поклонники джаза в Уфе полюбили ее еще раньше.

На пик славы Ирину вознес ее талант и любовь к джазу, годы труда, великолепные партнеры. Окончила училище и институт искусств, пела в команде О. Киреева, в клубах и ресторанах Уфы, в московском «Ле Клубе», на «Джазовых голосах» в Курске. В УУИ создала вокальный ансамбль солистов. На международном фестивале «Джаз мастер» (Уфа, 2005) Остин выступила в роли художественного руководителя.

Успех Ирины Остин разделяют ее музыканты: И. Атапин — поэт фортепиано, чуткий аккомпаниатор и яркий солист; басист С. Оськин — невозмутимый, скромнейший и загадочный человек, «тихий омут», по выражению музыковеда В. Симоновой; ударник Е. Чистяков — джазовая машина, которая с пол-оборота заводится сама и заводит слушателей. Впрочем, все три музыканта — люди серьезные, с богатейшей джазовой биографией, лауреаты многих фестивалей.

И опять о вокале. Певица Лия Литвинова, «Донна Ли». Ее родина — город Октябрьский. Джазом заразилась в уфимском клубе филофонистов. Педагога А. Иващенко считает своим джазовым крестным отцом. Ее первый фестиваль — «Уфа-84». На «Джаз-пикнике-92» в Набережных Челнах ее долго не отпускал со сцены ведущий фестиваля — Алексей Баташов. И на «Джаз-перекрестке-94» (Казань) она не затерялась среди музыкантов Швейцарии, Финляндии, Германии. Пресса отметила «магию блюзовой интонации» Лии. Выступала на фестивалях в Самаре (1993 г.), в Йошкар-Оле (1997 г.). Список музыкантов, сопровождавших пение Лии, впечатляет: В. Назаров, О. Киреев, Г. Маркоров, М. Юлдыбаев, И. Бутман, Д. Крамер, А. Колигер, братья Шапко, а также американцы Билл Скит, Тим Стронг.

Лия — создатель вокальной капеллы «Диззи», автор композиций и аранжировок.

* * *

История знает немало примеров, когда у людей с «серьезной профессией» джаз был только хобби. И такие «хоббисты» становились классными джазменами.

Доктор Николай Молин увлекся джаз-вокалом в начале 90-х. Его кумиры — Фрэнк Синатра, Дин Мартин. Молин обладает не только бархатным баритонального тембра голосом, но ощущением свинга. А чувство юмора и выигрышная внешность сделали его успешным шоуменом. Любое выступление Н. Молина с оркестром филармонии встречается слушателями долгими аплодисментами.

Назовем других вокалистов уфимской эстрадно-джазовой сцены. Итак, по алфавиту: Ринат Баимов, Алина Гузаирова, Анна Колчина, Александр Конейчук, Нариман Красненков, Ирина Малышева, Георгий Маркоров, Михаил Машко, Александр Селютин, Аркадий Харьков, Сергей Шикалов. К сожалению, одного уже нет, вторая уехала, третьи либо не поют, либо радуют нас редко.

Джаз не возникает на пустом месте. Нужна культурная почва. В Стерлитамаке она была и раньше. В 1946 г. открылся русский драмтеатр, в 1948 г. при клубе имени Ленина созданы джаз-ансамбль, духовой оркестр и хоровой кружок; в 1957-м появилась музыкальная школа. Известный на всю страну ансамбль «Радуга» под управлением Г. Калинина был следствием этих событий. Как трубач и флюгель-горнист Калинин покориет слушателей филигранной техникой, мудрой сдержанностью, изяществом и артистизмом. Те же эпитеты можно применить и к Калинину-певцу.

В ансамбле «Радуга» начинал карьеру саксофонист Александр Денисов — единственный музыкант в Башкирии, которому в 1996 г. в провинциальном городе удалось создать крепкий джаз-клуб и держать его «на плаву» несколько лет. Речь идет о клубе «Ad Libitum» («По желанию»). В ансамбле «ДЖАЗazz Time» Денисов собрал команду единомышлен-

ников в составе: С. Елисеев — гитара, И. Леонтьев — бас, А. Доброгорский — ударные, В. Евсюгов — труба, О. Янгалова — вокал, А. Денисов — саксофон.

Клуб «Ad Libitum» принимал у себя О. Киреева, Г. Калинина, В. Горского, С. Манукяна... Сам Денисов играл с оркестром Г. Маркорова в «Лидо» и «Огнях Уфы», выступал в Москве, в Германии. Но, думается, на нашей джазовой сцене он востребован недостаточно. Его игра может стать украшением фестиваля любого уровня. В звучании саксофона Александра Денисова есть особая энергетика ясной мысли: распевная свобода, мудрое ворчание, неторопливая хрипотца, сложные пассажи с завихрением в конце фраз.

В настоящее время в Стерлитамаке успешно работают выпускники УУИ: В. Евсюгов, М. Ларионова, М. Гольгяев, И. Леонтьев.

Центром джазовой жизни Октябрьского в 1980-е было музыкальное училище. При поддержке его директора — Владимира Геннадьевича Рихтера (ныне — директор Башкирского Государственного театра оперы и балета) был создан джаз-ансамбль. Руководителем ансамбля стала Наталья Михайловна Быстрова — педагог училища, пианистка со свингом в крови, играющая в стиле Эррола Гарнера.

Город Октябрьский — родина джаз-оркестра под управлением А. Колигера, в 1958 г. в духовом оркестре начинал В. Бузник — будущий участник многих джаз-тусовок.

Город Бирск подарил любителям джаза великолепный диксиленд Бориса Угольниковца. Ансамбль запомнился по выступлению на сцене госфилармонии, где он успешно соперничал с уфимским диксилендом.

Джаз играют не только в городах Башкирии, но и в отдаленных районах. На ежегодно проводимые детские и юношеские фестивали приезжают ученики музыкальных школ (начиная с дошкольного возраста) из Бурзянского района, Иглино, Бураево. В организации этих фестивалей принимают участие преподаватели УУИ — Е. Федорова, А. Иващенко, Ю. Ахмедов, А. Хасаншин, Р. Рафальсон, А. Кругликова, И. Бурдуков и многие другие.

Ю. Ахмедов — главный специалист по ударным инструментам, координатор

эстрадного отдела УУИ, заслуженный артист РБ. Где бы он ни играл, везде его барабаны и тарелочки звучали, подтверждая истину: ударник — сердце ансамбля. Учеников «школы Ахмедова» трудно сосчитать, как и перечислить города, где они играют.

Свободно общается и с джазом, и с классикой А. Хасаншин. Джаз увлек его еще в конце 80-х, когда он учился в УУИ вместе с Д. Шапко, С. Остроумовым, А. Прокофьевым.

«Классическими» генами наградили Азамата родители. Отец — Данил Хасаншин — известный башкирский композитор, мать — Нина Хасаншина — преподаватель училища искусств. Занятия композицией Азамат продолжил в московской консерватории. После возвращения в Уфу (1999 г.) продолжил работу над симфонией, сюитой, концертом для фортепиано с оркестром. Не прерывает общение с джазом, играет в малых составах, сотрудничает с В. Скобелкиным, А. Кругликовой, И. Бурдуковым. Руководит оркестрами училища и академии искусств. Член Союза композиторов России и РБ.

Плодотворно сотрудничество тромбониста А. Чепурина и гитариста В. Скобелкина. Оба — аранжировщики и создатели прекрасных студенческих оркестров, достойных стать участниками концертов и фестивалей.

А. Кругликова имеет огромный опыт игры на фортепиано как в малых составах (сотво), так и в биг-бендах (оркестры Маркорова, Вегелина). Преподает в училище. Создает студенческие джаз-ансамбли и руководит ими. Великолепный аккомпаниатор, в том числе на всех детских джазовых фестивалях, проводимых под эгидой УУИ.

И. Бурдуков возвел И.С. Баха в ранг современных джазовых композиторов. Свингующую радость традиционного джаза он соединяет с серьезной глубиной и романтизмом классической музыки. Поиски И. Бурдукова обещают нам встречу с новыми интересными образцами пианизма. Написанная им система импровизации стала учебным пособием. В звучание своих произведений Бурдуков вводит «нетрадиционные» инструменты. Запомнилась его композиция «Колдун и семь девушек» с соло на кубызе Эльяса Метлина.

А. Богомолов — саксофонист с 30-летним стажем игровой практики. Один из героев Всероссийского смотряконкурса эстрадных отделений музыкальных училищ страны (Москва, 1984 г.). Преподаватель УУИ. Талант педагога и мастера успешно передает ученикам, многие из которых добились высоких результатов. Один из его учеников — П. Скорняков.

Павел Скорняков родился в музыкальной семье. Отец окончил московский ГИТИС по классу вокала; мать — альтистка оперного театра. Саксофон Паша взял в руки в 10 лет, до этого учился играть на скрипке и фортепиано. Выбор был сделан под влиянием записей джаза, часто звучащего в доме. В 16 лет он — лауреат двух всероссийских джаз-фестивалей (в Челябинске и Ростове). В составе «Funky House Band» он — самый молодой музыкант на фестивалях. Не по годам уравновешен, спокоен, скромен. К 20-летнему возрасту уже успел поиграть со многими звездами. Запомнилось его выступление на международном фестивале в русском драмтеатре, когда Павел играл с М. Юлдыбаевым. Играть лучше и лучше — цель П. Скорнякова. Не джазом единым! Павел дружен с классикой (влияние мамы — Таисии Григорьевны). В его репертуаре — Глазунов, Паганини, Бах, Рахманинов. Общность интересов соединила Скорнякова со студентами академии искусств (где учится он сам): Р. Воротниковым, Р. Кисилевым, А. Антоновым. Возник успешный джаз-квартет «No Smoking».

Пианист Руслан Воротников по обучению — классик, по хобби — джазмен. Впрочем, одно от другого отделить нельзя. Когда он играет джаз — чувствуется интеллигентность и романтизм звука. Когда он играет классику — ощущается прозрачная фразировка Била Эванса, живость подачи.

Саксофонист Олег Касимов. Окончил Казанскую консерваторию. Уехал в Германию, где в течение пяти лет играл с разностилевыми музыкантами. Приобрел опыт фирменного звукоизвлечения. После возвращения в Уфу назначен руководителем оркестра Башгосфилармонии.

Продолжая рассказ о наиболее активных творцах джаза в Уфе, назовем ансамбль «Funky House Band» во главе с

О. Янгуровым; вокал-ансамбль «Септима»; группы «Party Phone» и «Outrider»; вокал-бэнд «Feeling of Flight»; джаз-ансамбль «Палладиум»; гитаристов и басистов: И. Макаров, И. Пешкин, С. Шикалов, Р. Шайдуллин, Е. Валишин, А. Корнейчук, А. Тимофеев. Среди барабанщиков отмечу В. Прокофьева, В. Камнева, саксофонистов — А. Изерчина, Р. Мамяшева, пианистов и клавишников — А. Хасаншина, Р. Каримова и И. Вдовина, трубача А. Гимаева.

Можно не играть джаз, но быть его соучастником. Речь — о членах клуба филофонистов, администраторах оркестров, журналистах. Например, Альмира Сабировна Гильфанова — администратор «маркоровского» оркестра. Она решает многие задачи по организации концертов, быта и питания музыкантов на гастролях, помощи заболевшим. Недаром в оркестре за ней укрепилось прозвище Мама.

Звукорежиссер оркестра — В. Бузник. В 70-х он играл на барабанах собственной конструкции с Назаровым, Решетниковым, «Дустаром», участвовал в озвучивании фильма «Бриллиантовая рука». Сейчас он «за кадром», но отвечает за звучание оркестра в филармонии.

Теперь о музыковедах, освещающих джаз в печати (в нашей среде шутя говорят «музыковедьмы» — от слов «ведать музыкой»). В начале 80-х рупором джаза на страницах газет была Лиля Тимиргазина. Она делала отчеты о концертах, выступала в роли защитника интересов джазовых музыкантов. Первая подняла вопрос о самооценности малых джазовых составов, о расточительности их использования в качестве аккомпанемента, о возможности работать над чисто джазовым репертуаром. Она защищала джаз от его растворения в попсе.

Идеи Тимиргазиной получили дальнейшее развитие в лице Лили Кудояровой — члена Союза композиторов СССР и РБ, преподавателя училища и академии искусств (история джаза, композиция и прочее). Кудоярова обращает внимание на низкий уровень рекламы в джазе, резкое сокращение джаз-программ на телеэкране, на частое отсутствие базы для репетиций, на проблемы с современной аппаратурой. Кудоярова — автор многочисленных статей и репортажей, посвящен-

ных башкирской народной музыке, эстраде и джазу. Она — соавтор Башкирской энциклопедии, где можно прочитать написанный Кудояровой раздел о развитии джаза в нашей республике.

О джаз-концертах, фестивалях и прочих новостях культурной жизни Уфы рассказывает на страницах газеты «Вечерняя Уфа» журналист Илюзя Капкаева. Успешно развивает в печати тему преемственности джазовых поколений журналист Рашида Краснова.

Репортажи о джазовых событиях в республике были бы неинтересны без фоторепортеров. Они дают возможность узнать наших кумиров в лицо. К сожалению, мы знаем имена лишь малой части фотографов-«джазменов» от 50-х годов до наших дней: Евгений Сорокин, Марат Герасимов, Виль Исхаков, Ханиф Сунагаттулин, Евгений Вайднер, Станислав Никоненко, Александр Данилов, Г. Шумилов, Ирек Сагадеев.

* * *

История создания джаз-клубов в Уфе достаточно минорна. В разное время клубы пытались создавать М. Грахов, А. Решетников, О. Киреев. Те клубы жили не более 2-3 лет. Необходимость в клубах была очевидна, но особенно остро проблема обозначилась в конце 90-х годов. Наконец, свершилось. 2 января 2007 г. — историческая дата в истории уфимского джаза. Джаз-клуб открылся! 30 ступенек вниз, ведущих к сияющим вершинам джазовых стилей!

И сразу возникла уверенность: это прочно, надежно, надолго. Устройство клуба сочетает в себе элементы джаз-ба-

ров Нового Орлеана 30-х годов с техническим прогрессом наших дней. У посетителей возникает чувство уюта, покоя и непонятно откуда возникшей радости. А еще — чувство единения с музыкантами, как будто ты и джаз — одно целое.

Клуб объединил не только музыкантов, но и слушателей. Здесь легко завязываются знакомства, укрепляются дружеские связи. Здесь звучит не только джаз, но и классическая инструментальная и вокальная, а также «салонная» музыка.

Пожелаем клубу долгих лет! И чтобы свое 100-летие он встретил в блеске и великолепии!

Для тех, кто все еще не понял, что такое джаз, привожу следующие цитаты:

«Джаз — музыка толстых» (М. Горький, 1928 г.);

«Пока звучит джаз, мы будем жить» (О. Лундстрем);

«Джаз — наслаждение свободой самовыражения» (Д. Эллингтон);

«Джаз — модель современного мира» (А. Баташев);

«Когда джазовый авангард стал классикой, часть новаторов превратилась в консерваторов» (А. Козлов);

«Джаз — это не аккомпанемент к пиву, а настоящая серьезная музыка» (Д. Шапко);

«Джаз — папа всех последующих жанров, в том числе и попсы» (Д. Крамер).

Друзья! Слушайте джаз! Он всегда с вами: и в радости, и в печали, и с друзьями, и в одиночестве. Он ваш мудрый советчик и благодарный слушатель ваших тайных мыслей.

У каждого свой джаз. И каждый слушатель найдет в джазе все, что нужно и уму, и сердцу.

Последний великий шейх*

Просветитель Зейнулла Расулев

Суфизм среди мусульман Волго-Уральского региона имеет давнюю, но по большей части неизученную историю. Суфийские шейхи появились здесь еще в период существования Волжского Булгарского царства. Не менее сотни из них активно действовали в период правления хана Едигера. В восьмом веке хиджры (в XIV в. по христианскому летоисчислению) зафиксировано появление некоего Хусаинбека, ученика выдающегося суфия Ахмада Ясави, распространявшего ислам не только в бассейне реки Дуная, но и в Уральских горах, особенно среди башкир; в XIX в. могила Хусаинбека возле Уфы все еще оставалась объектом паломничества. Суфии также сыграли важную роль в исламизации Золотой Орды. Берке-хан, четвертый по счету правитель Золотой Орды, был даже обращен в исламскую веру и обучен мусульманским обрядам Сейфитдином Бахарзи, шейхом из братства Кубравийа из Бухары. Узбек-хан, во время правления которого ислам прочно укрепился в этом боковом ответвлении династии Чингизидов, прошел через обряд посвящения от рук Сейид-Ата, шейха из суфийского братства Ясавийа.

Братство Кубравийа исчезло из Волго-Уральского региона окончательно, а существование братства Ясавийа было непрочным, хотя и длительным по времени. Суфийскому братству Накшбандийа было суждено стать самым влиятельным братством среди башкир и татар, как и среди почти всех тюркских народов.

Имена тех людей, усилиями которых было начато внедрение учения Накшбандийа в Волго-Уральском регионе, неизвестны, но можно предполагать, что они были из Бухары, которая, наряду с Самаркандом, была основным центром для братства Накшбандийа в Средней Азии, а также самым авторитетным центром для

мусульман Волго-Уральского региона по всем религиозным вопросам.

Благодаря интенсивной литературной деятельности, характерной для татар и башкир в XIX веке и в начале XX века (которая включала также составление ряда биографических справочников), имеется много информации, касающейся выдающихся шейхов Накшбандийа, действовавших в этом регионе в конце XVIII в. и в XIX веке. Их было так много, что мы можем фактически заключить, что братство Накшбандийа полностью доминировало в религиозной и интеллектуальной сфере жизни этого региона в тот период.

Две группы суфиев-накшбандийцев могут быть выбраны для специального рассмотрения. Первая состоит из татар, которые отправлялись дальше Бухары, достигали Кабула, где они становились муридами (учениками) шейха Муджаджидийа по имени Фаиз-хан. Может быть, мы привыкли рассматривать Кабул как интеллектуально отсталое захолустье, но Сайфитдин Шинкари, один из муридов Фаиз-хана, хвалил мусульманские учебные заведения-медресе Кабула как превосходящие медресе Бухары, и что там (т.е. в Кабуле), в медресе, помимо религиозных наук, преподаются философия, логика и медицина. Это преимущество Кабула было тем фактором, который привлекал татарских студентов для получения там образования, а также для вступления в ряды учеников шейха Фаиз-хана Муджаджидийи.

Возможно, наиболее известным, если не самым эрудированным, из татарских последователей Фаиз-хана был Мухамаджан бен аль-Хусейн, в 1789 году назначенный первым муфтием, главой Духовного

* Перевод с английского И. Р. Насырова.

собрания мусульман, религиозной администрации, учрежденной для татар под русским покровительством. Мухамаджан был в то же время, по рассказам, высокомерной, нечестной и необразованной личностью, и он вообще не вызывал доверия из-за его чрезмерной лояльности к русским. Подобный взгляд не может быть адресован ко всем его преемникам, но многие из них были, как и он, членами суфийского братства Накшбандийа. Влияние этого братства на официальные религиозные структуры вплоть до большевистской революции и после всегда было значительным.

Вторая примечательная группа татар, суфиев-накшбандийцев, состояла из последователей бухарского шейха, Ниязкули-хана Туркамани, чей престиж был настолько высок в Бухаре, что правитель Амир Хайдар, который сам претендовал на религиозную значимость, ждал присутствовать на суфийских собраниях у Ниязкули-хана Туркамани. Самым сильным учеником из татар у Ниязкули-хана был выдающийся Абунасыр аль-Курсави (известный как Курсави; умер в 1812 г.), возможно, самый великий исламский ученый в истории татар. Он вообще представляется как ученый, ставивший рациональные вопросы о теологических догматах, и как сочинитель, подготовивший путь к возникновению секуляристской мысли среди татар в начале XIX века.

К сожалению, большинство его работ недоступно, но, основываясь на надежных вторичных источниках (особенно «Асар» Ризаитдина Фахретдинова), можно отвергнуть характеристику аль-Курсави как протомодернизатора. Наоборот, его заботой была критика опоры на рациональную мысль, которую он rozpoзнавал в ашгаритском каламе, продолжавшем доминировать в Бухаре, и рассматривавшемся аль-Курсави как замаскированная форма философии. Он призывал вернуться к тому, что он именвал вероучением первого поколения мусульман. Его отрицание реальности божественных имен в ходе дискуссии в Бухаре вызвало незаслуженное обвинение в его адрес как неомутазелита.

Аль-Курсави покинул Бухару, едва спасши жизнь; и даже его родина оказалась не столь приветлива; он умер в Стам-

буле в 1812 году, во время путешествия в направлении Хиджаза (область Мекки в Саудовской Аравии). Хотя многие противники аль-Курсави тоже были в рядах братства Накшбандийа, его принадлежность к этому братству примечательна тем, что его мысль оказала влияние на видных представителей Накшбандийа в Волго-Уральском регионе вплоть до начала XX века.

Узы зависимости татар в религиозной жизни от Бухары начали ослабевать в середине XVIII века, когда был установлен контакт с центрами исламского образования на Среднем Востоке. Этот процесс усилился в XIX веке, когда татары и башкиры в значительном количестве стали учиться в Стамбуле, Каире и Хиджазе. Одним из результатов этой частичной переориентации было то, что вступление в ряды Накшбандийа осуществлялось в других местах, интеллектуально и организационно превосходящих Бухару. Многие татары, например, направлялись в суфийские круги посвященных, группировавшихся вокруг шейхов из ветви Муджаджидийа, основанной Шах Гуламом Али из Дели, который сам обосновался в Медине (Саудовская Аравия). Когда эти татары возвращались на родину в качестве имамов и учителей, они также пропагандировали идеи той духовной ветви братства Накшбандийа, к которой они присоединились. Такие города и местности, как Уфа, Ташбилге, Бирджан и Семипалатинск, превратились в северные точки сети братства Накшбандийа, простиравшегося, таким образом, от Хиджаза через Индийский океан до Суматры и Явы.

За татарскими муридами-учениками мединских шейхов Муджаджидийа следовали по пятам шейхи Халидийа, ответвления Накшбандийа, которое само являлось боковым ответвлением Муджаджидийа-Накшбандийа; и, тем не менее, Халидийа стало самой жизненной и влиятельной группой суфизма в XIX веке. Халидийа впервые привилась среди татар благодаря халифе Абдуллаха Макки, представителя Маулану Халида Багдади в Мекке. Этим халифой (духовным преемником) был Фатхулла бен Сафар Али аль-Мунавузи, который умер в 1852 году в возрасте 80 лет в деревне близ Казани.



Другим видным пропагандистом Халидидья был Шейх Мухаммад Закир эфенди из Чистая, относительно которого было сказано: «Не было такой местности вокруг Казани, чей имам не признал превосходство Мухаммада Закир эфенди».

Тем не менее, бесспорным лидером среди шейхов Халидидья в Волго-Уральском регионе был башкир Шейх Зейнулла Расулев. Издаваемый в Оренбурге журнал «Вақыт» в своем некрологе по случаю смерти Расулева назвал его «духовным королем своего народа». З.Расулев был незаслуженно забыт историками, исследующими татарское интеллектуально-духовное возрождение в XIX веке, который будто осуществлялся личностями, состоящими сплошь из секуляризованных рационалистов. По степени и глубине своего влияния З. Расулев превосходит многих из тех личностей, и его карьера свидетельствует о продолжавшемся влиянии братства Накшбандийа на башкир и татар вплоть до большевистской революции.

Зейнулла бен Хабибулла бен Расуль, в последующем известный как Зейнулла аль-Халиди, Зейнулла-ишан и Зейнулла Расулев, даже родился в благоприятное время — в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в 1250 г. хиджры (9 апреля 1835 г.) в башкирском ауле Шариф в Златоустовском уезде (ныне — Учалинский район РБ) Оренбургской губернии. Он начал учиться в 10 лет в деревне Муйнак (Малай Муйнак) под руководством некоего Дамуллы Мухаммад Бухари. Когда этот бухарский учитель умер, Зейнулла учился в Муйнаке еще 2 года у Якупа бен Ахмад аль-Ахунди до получения разрешения в 1851 году отправиться в Троицк для овладения там более глубокими знаниями. Среди его учителей в Троицке был Мухаммад Шахбен Мирас, имам второй Каменной мечети, высоко ценившемся за мастерство в чтении Корана, которому он научился в Каире. Но его главным учителем в Троицке был Ахмад бен Халид аль-Минкари, имам первой Каменной мечети, выпускник знаменитого медресе Коклеташ в Бухаре. Строгий учитель требовал от своих учеников исполнения обязательных ежедневных пяти молитв вместе с ним и стоя за ним.

Зейнулла, очевидно, стал его любимым учеником, так как избрался как

«самый заметный и наиболее старательный последователь Ахмада бен Халида в его эзотерическом учении». Действительно, кажется, что он завершил свое общее образование с Ахмадом бен Халидом, хотя Зейнулла также в течение некоторого времени изучал арабскую грамматику с неким Хасанетдином бен Шамсетдин в деревне Истерлибаш.

После семи лет обучения в Троицке Зейнулла был назначен имамом в деревню Аккужа в Верхнеуральском уезде, где он также основал свое собственное медресе и начал обучение. В соответствии с классическим образцом объединения суфийской практики с культивированием религиозных наук, — образцом, ставшим почти всеобщим правилом в Волго-Уральском регионе, Зейнулла Расулев в 1859 году отправился в деревню Сардаклы близ Челябинска для вступления в братство Накшбандийа под руководством Абдулхакима бен Курбангали Сардаклы (умер в 1872 г.). Абдулхаким был главным преемником Шарафетдина бен Зейнетдина Истерлитмаки (умер в 1846 г.), который был одним из халифов (преемников) Ниязкули-хана Туркамани среди татар и башкир. Силсила (генеалогическая цепь) Ниязкули-хана восходит к Шейху Ахмаду Сирхинди; таким образом, он принадлежит к ветви Муджаджидийа братства Накшбандийа. Зейнулла Расулев отнюдь не был самым выдающимся учеником Абдулхакима Курбангалиева; кроме него, Абдулхаким назначил своими преемниками по крайней мере пять халифов, некоторые из которых стали видными учителями-суфиями в Волго-Уральском регионе.

В 1870 году Зейнулла Расулев, после десяти лет его инициации (вступления в братство под руководством Абдулхакима Сардаклы), отправился в паломничество-хадж с остановкой в Стамбуле, чтобы оглядеть великую исламскую метрополию и посетить ученых мужей, обучающихся там, как это обычно делали паломники из России и Средней Азии. Среди учителей, которых З. Расулев встретил там, был Шейх Ахмад Зияутдин Гумушаневи (умер в 1893 г.), наиболее выдающийся шейх из братства Накшбандийа в Стамбуле, но в то же время приверженец бокового ответвления Халидидья суфийского

братства Накшбандийа. Благодаря воздействию Ахмада З. Гумушаневи на З. Расулева, последний получил от первого не только право на обучение хадисов (изречений пророка Мухаммада), — предмет частного интереса А. З. Гумушаневи, — З. Расулев во второй раз прошел обряд посвящения в братство Накшбандийа. Перед отправлением в Хиджаз З. Расулев провел сорок дней в уединении с А. З. Гумушаневи, укрепляя духовные узы со своим новым руководителем и полнее осваивая методы мистического пути Халидийа-Накшбандийа.

Зияутдин Гумушаневи дал З. Расулеву звание «полного, совершенного халифы», т.е. право на обучение учеников с последующим их принятием в ряды братства Халидийа-Накшбандийа. Вернувшись в деревню Аккужа, З. Расулев, соответственно, начал собирать учеников с таким успехом и быстротой, что это обеспокоило местных признанных шейхов и их учеников. Враждебность к нему стала усиливаться, особенно из-за того, что З. Расулев и его ученики практиковали произносимый вслух зикр (помянутие Аллаха, цель которого — погружение в созерцание Всевышнего через достижение трансa), что расценивалось оппонентами З. Расулева как осквернение традиций братства Накшбандийа. Академик В. Бартольд в 1917 г. в некрологе, посвященном смерти З. Расулева, описал З. Расулева «как первого человека, кто ввел практику громкого зикра в Башкирии».

История братства Накшбандийа полна постоянных споров по поводу преимуществ молчаливого или громкого зикров. Суфии Накшбандийа довольно рано дистанцировались от сходного братства Ясавийа, настаивая на молчаливом зикре.

В любом случае обвинения и доносы в адрес З. Расулева возникали не только из-за простого вопроса зикра. Мензелеви иносказательно и намеками писал, что «противники З. Расулева приписывали ему то, что нельзя было приписать всякому мусульманину, и обвиняли его в чудовищности». З. Расулев был также обвинен, как сообщал В. Бартольд, в том, что он совершил паломничество-хадж без специального разрешения и что вместе с собой принес всякие непривычные новшества. Последнее подтверждает, что

враждебность к З. Расулеву исходила из традиционалистских религиозных кругов, сохранявших лояльность к бухарским моделям религиозности и обучения и испытывавших подозрение к влиянию, исходившему из Турции и Хиджаза. Мусульмане Волго-Уральского региона вообще кажутся сильно склонными к спорам и скандалам в религиозных вопросах народом, с легко ранимым чувством ортодоксальности, — по крайней мере, Ризаитдин Фахретдинов в своем труде «Асар» указывает на многочисленные доносы, которые сыпались в Духовное управление мусульман. Можно добавить, что сам Маулана Халид столкнулся с враждебностью в Сулеймании и Багдаде, и его первые представители в Стамбуле были встречены с глубоким подозрением со стороны части местных признанных шейхов. Кажется, что энергичность и амбиции братства Халидийа вообще вызывали опасения.

З. Расулев никогда не отрекался от духовной подчиненности Абдулхакиму Сардаклы; он даже указывал в книге «Аль-фауаиду-аль-мухимма» на свое двойное посвящение в братство, и что это, по его словам, не редкость в суфизме. Но несомненно, что первые доносы и обвинения в адрес З. Расулева исходили из круга последователей шейха Абдулхакима Сардаклы. Предварительный допрос З. Расулева состоялся в доме некоего Искандара бен Хабибрахмана в деревне Альмет; присутствовали многочисленные улемы (мусульманские признанные авторитеты), включая Ишнияза бен Ширнияза, ученого из Ургенча, примечательного тем, что его привлекали для вынесения некоторых спорных фатв (религиозно-юридических решений).

Кажется, эта встреча не удовлетворила притеснителей З. Расулева, поэтому в 1872 году они, объединившись с некоторыми улемами из Стерлибаша, донесли на З. Расулева в Духовное мусульманское управление в Оренбурге, обвиняя его в ереси и искажении исламского вероучения. Вызванный в Духовное управление для изложения своих взглядов, З. Расулев, как сообщает В. Бартольд, изложил письменно свои воззрения, после чего все обвинения с него были сняты.



Но теперь, однако, русские власти решились вмешаться в это дело; после своего возвращения из Оренбурга в Аккужу З. Расулев был арестован. Сперва он содержался в Златоустовской тюрьме в течение восьми месяцев, а затем по указу министра внутренних дел З. Расулев был осужден к ссылке в город Николаевск (Николаевский городок) в Вологодской губернии. Как указывает Мензелеви, это было особенно жестокой мерой, потому что в Вологодской губернии «не проживал ни один мусульманин». Тем не менее, когда З. Расулева этапировали в Николаевск и он оказался в одной камере с неким Абдрахманом Усмановым, которого этапировали в Сибирь, З. Расулев воспользовался этой возможностью для посвящения сокамерника в братство Халидийа-Накшбандийа. После трех лет пребывания в Николаевске, З. Расулев был переведен в Костромскую крепость, а после пяти лет — в одну татарскую деревню рядом. В 1881 году все ограничения с него были сняты и ему было разрешено вернуться в Аккужу.

Враждебный интерес, проявленный русскими властями к З. Расулеву, смело можно объяснить обвинениями мусульманских «собратьев» Зейнуллы-ишана по суфийскому братству, брошенными против него, и непохоже, что власти разглядели в споре З. Расулева и его противников опасный источник беспорядков в Волго-Уральском регионе. Люцион Климович, автор известной, если не оскорбительной, истории ислама в царской России, внушает мысль, что причиной злоключений З. Расулева было то, что: «Власти не хотели в этом частном случае терпеть внутренние раздоры среди мусульманских священников или не хотели назначить на должность агента-шейха человека, который не был должным образом проверен (речь идет о том, что мусульманские священники были обязаны доносить русским властям о настроениях своих прихожан. — Переводчик). Когда З. Расулев был проверен, его назначили имамом». Утверждение Л. Климовича, что Зейнулла-ишан был принужден или завербован как агент жандармерии во время его пребывания в ссылке, кажется целиком беспочвенным. Ближе к истине, наоборот, то, что русские рассматривали

З. Расулева как потенциальный источник политических беспорядков, — из-за количества его последователей и из-за его зарубежных связей; его муршид (суфийский наставник) Зияутдин Гумушаневи находился на войне против русских войск, когда З. Расулев был отправлен в ссылку. Это правда, что после своего освобождения ни сам З. Расулев, ни его последователи не вступали в серьезный конфликт с русскими властями, хотя некоторые его ученики-муриды приняли участие в политической деятельности в первом десятилетии XX века, и что еще более важно, — просветительская и культурная деятельность Зейнуллы Расулева определенно и очень сильно шла вразрез с главными ключевыми аспектами политики русских властей.

Через год после своего освобождения З. Расулев вновь отправился в паломничество-хадж, используя выпавшую возможность для встречи со своим учителем-муршидом Зияутдином Гумушаневи. Почти сразу после своего возвращения он обосновался в городе Троицке в качестве имама недавно построенной мечети на Амурской улице, и «очень быстро стало очевидно, что зависть недоброжелателей не была способна принизить его положение», как об этом замечал с одобрением Мензелеви. З. Расулев приобрел такое влияние среди мусульман в городе, что стало возможным неформальное переименование Амурской улицы в улицу Магмурия, т.е. с исламским звучанием. Более важным был тот факт, что благодаря Зейнулле Расулеву Троицк превратился в основной центр обучения для мусульман Российской империи, а также в базу для дальнейшего распространения суфийского братства Халидийа-Накшбандийа.

Рядом с мечетью, в которую он был назначен имамом, З. Расулев устроил мусульманское учебное заведение-медресе, известное как «Расулийа», куда стремились на учебу башкиры, татары, а также казахи, и которое быстро завоевало репутацию одного из лучших институтов, обучающих мусульман из подвластных России территорий. Позднее французский историк Александр Бенигсен зашел так далеко, что описал медресе «Расулийа» как «один из лучших академических ин-

ституты в мусульманском мире». Медресе пользовалась материальной поддержкой Алтынсарина, богатого казахского предпринимателя, который был обеспокоен прогрессом русского языка и культуры среди тех мусульман, которые искали различные и современные виды образования, чем то, что могли предложить традиционные медресе.

Успех медресе «Расулия» на самом деле был достигнут за счет внедрения новых педагогических методов. Предметом особого спора среди татар и башкир на протяжении столетия был вопрос о том, каким методом — фонетическим или неэффективным слоговым методом следует изучать татарский язык. Соответственно, сторонники первого назывались «джадидистами» («обновленцами»), а сторонники старого метода «кадимистами» («сторонники старого»), и в то же время эти два термина обозначали вообще новаторов и консерваторов. В 1908 году в татарской прессе появились статьи, приписываемые улемам (т.е. мусульманским ученым и теологам) города Троицка, включая Зейнулла Расулева, где отстаивался взгляд, будто фонетический метод входит в противоречие с религиозными предписаниями. Но в феврале того же года Зейнулла Расулев, вместе с тремя учеными из Троицка, опубликовал опровержение, указывая, что фонетический метод был принят как в медресе «Расулия», так и в других медресе Троицка, еще с 1893 года. Он даже выразился, что ученые Троицка не имеют возражений в вопросе расширения программы медресе за счет включения светских (нерелигиозных) наук при условии, что основой учебного курса будут оставаться дисциплины по изучению Корана и сунны (т.е. науки, изучающие деяния и высказывания пророка Мухаммада). Брошюра, в которой была опубликована фатва (решение по религиозно-юридическому вопросу) Зейнуллы Расулева и его коллег, была неоднократно переиздана и стала решающим фактором в повсеместном внедрении нового фонетического метода в конце первого десятилетия XX века.

Несмотря на благосклонность Зейнуллы Расулева к фонетическому методу и на тот факт, что он был одним из тех суфийских шейхов, которых уважали «джа-

дидисты», нельзя вообразить, что он сам мог себя причислить к джадидистам. Фактически «Расулия» можно было описать как медресе смешанного, половинчатого типа, которое служило мостом над пропастью или рвом, разделявшим джадидистов и кадимистов. Зейнулла Расулев казался, однако, способным совмещать традиционное и современное.

Для того, чтобы лечить больных из числа своих последователей, он мог не только предложить им амулеты, как традиционно поступали суфийские шейхи, но и предлагал им медицинские лекарства, которые отпускал из собственного лечебного диспансера. Зейнулла-ишан пользовался всеобщим уважением за свои «иностранные знания», по-видимому добываемые им самостоятельно из книг, которые начали распространяться на татарском языке, популяризирующих научное знание.

Современник шейха Зейнуллы Расулева Абдрахман аль-Магази оставил весьма поучительный отчет о дневном режиме шейха в медресе «Расулия». Общественная деятельность шейха начиналась в 8 часов утра с визитов его муридов и других посетителей, которые нуждались в его советах, милостыне или практической помощи. Самовар всегда был полон кипятка для того, чтобы предложить посетителям чай. В 12 часов дня он шел на уроки, чтобы обучать студентов по таким базовым текстам, как «Сахих аль-Бухари» (сборник изречений пророка Мухаммада, составленный мусульманским ученым Бухари) и «Тафсир аль-Джалалейн» (комментарии к Корану, написанные мусульманским ученым Суйути), и это продолжалось до полуденной молитвы. После обеда шейх мог отправиться на какую-нибудь запланированную встречу вне медресе, мог вновь принимать визитеров или ходоков, а затем отдыхал до послеполуденной, третьей, молитвы. Затем шейх Зейнулла оставался в мечети до вечерней молитвы, встречался со своими муридами и читал вместе с ними «хатм хваджаганг», особую литанию (молитву) братства Накшбандийа. По пятницам и в другие дни, когда приток муридов был слишком большим, «хатм хваджаганг» мог читаться два раза подряд. Месяц мусульманского поста Рамазан вносил

некоторые поправки в этот распорядок: шейх Зейнулла проводил занятия после обеда, взамен утра, а также он осуществлял «и'тикаф» (затворничество в мечети) в последние 10 дней месяца Рамазан.

Чтобы полностью осознать значение медресе «Расулийа», следует вспомнить, что башкиры и татары являются соседями казахов и других степных народов начиная с XVI века. Вместе с ростом татарского буржуазного класса в XIX веке татарские купцы постоянно перемещались в казахских степях, действуя как агенты исламизации везде, где они ездили. Конечно, культурное и религиозное влияние купцов было неизбежно ограниченным. Более глубокое внедрение исламской религии, культуры и литературы среди казахов стало возможным путем отправки казахских студентов в башкирские и татарские медресе.

Обучение казахов в татарских медресе началось в конце XVIII века, когда Фатима, дочь Мухамаджана, первого муфтия Духовного собрания мусульман, выданная замуж за казахского хана, предложила ему отправить определенное количество молодых казахов в медресе Стерлибаша и Стерлитамака за его счет. В середине XIX века влияние татар на казахов достигло таких масштабов, что это стало беспокоить русских и русофильствующих наблюдателей, которые видели в этом влиянии татар на казахов явную опасность для русификаторской политики. Так, Чокан Валиханов, казах, служивший различными путями русской политике, предложил в секретном меморандуме, написанном не позднее 1863 и не ранее 1864 годов, ряд мер, сводящихся к тому, что казахские степи должны быть выведены из-под юрисдикции Оренбургской Духовной администрации мусульман, что для казахов должна быть учреждена отдельная духовная мусульманская администрация, «как для народа, отдельного от татар, при уважении к религии, которую они исповедуют», чтобы ишанам и ходжам из татарских медресе не позволяли селиться среди казахов для проведения «неясных целей»; и сверх всего прочего, вышеуказанные татарские ишаны и ходжи должны находиться под строгим наблюдением, с тем «чтобы помешать им создавать сообщества дервишей и мисти-

ков, как это сейчас они делают в районах Баянаула и Каркаралинска».

Примерно через 20 лет видный этнограф В. Радлов указал со сходной тревогой в своей работе «В Сибири», что благодаря деятельности татарских купцов «влияние ислама в восточных степях стало настолько сильным, что сотни молодых киргизов (казахов), получив начальное образование дома, отправляются в Россию для поступления в татарские медресе и изучают там исламские науки». Он указывал, что в деревню Стерлибаш ежегодно в течение нескольких десятилетий прибывали на учебу до 150 казахов, каждый из которых в среднем учился до десяти лет. Также можно указать, что Стерлибаш был местным центром братства Накшбандийа: медресе находилось под руководством ишана Нигматуллы, одного из халифов (духовных преемников) Ниязкули-хана Туркамани.

Троицк был основан в 1743 году на краю русских владений, очень близко к казахским степям, и это идеальное месторасположение для медресе «Расулийа» влекло сюда студентов из татар, башкир и казахов. Число студентов, прошедших обучение в медресе «Расулийа», неизвестно, хотя аль-Магази приводит цифру в 311 человек на время, когда он написал об этом, — примерно в начале XX века. Состав и пропорциональное соотношение различных этнических групп среди студентов тоже неизвестны, хотя отчеты о карьере Зейнуллы, приписываемые ему, различаются, так же, как и численность его последователей. Джамалетдин Валидов писал, например, о «десятках тысяч муридов, большинство которых киргизы (казахи) и башкиры». Не все эти муриды обучались Зейнуллой-ишаном в Троицке, — он мог посылать своих студентов для пропаганды ислама и поднятия уровня религиозного знания среди казахов. Согласно одному сообщению, в начале XX века «под влиянием Зейнуллы-ишана находились сотни мулл, мусульманских священников во многих городах и селениях Нижней Волги, Урала и Сибири».

Просветительно-педагогическая деятельность Зейнуллы Расулева, помогавшая росту исламского знания среди казахов и сопротивлению татар и башкир в отношении расширения русского контро-

ля, явно противоречила русской политике, и в 1906 году правительством были приняты меры для ограничения присутствия татар в Казахстане, — результаты этих мер неизвестны. Зейнулла-ишан вызывал также злобу у религиозных деятелей русской власти; говорилось, что миссионеры Русской православной церкви, надеющиеся христианизировать Казахстан, отзывались о Зейнулле-ишане «с особым отвращением».

Как церковь, так и правительство, чувствовали себя оскорбленными некоторыми смелыми публикациями, поддержанными Зейнуллой Расулевым. В 1908 году он помог опубликовать в Оренбурге книгу по истории волжских булгар, башкир, казанских татар, казахов и узбеков под названием «Талфик аль-ахбар». Это историческое произведение было написано шейхом Муратом Рамзи, башкиром по национальности, который учился в Бухаре, но затем осел в Хиджазе (в Саудовской Аравии), посещая свою родину каждое лето. Отмеченная сильным националистическим тоном, эта книга постоянно сравнивала русских с Иогом и Магогом и призывала тюрков-мусульман к единству. Сразу после своей публикации книга М. Рамзи была расценена цензурой как оскорбление императора Александра III и Русской православной церкви и как «подстрекательство мусульман против русских вообще». Интересно то, что Зейнулла Расулев содействовал публикации книги с ее пантюркистскими и исламскими устремлениями. Несомненно, он разделял мнение автора книги о том, что целью русских властей является «лишение мусульман всех путей получения научных знаний и исследований, кроме единственного пути — из рук русских, с ясной целью — обратить мусульман в христианство».

Кажется, что методы З. Расулева в борьбе с русской политикой были исключительно религиозными, образовательными и культурными методами, — нет сообщений о его политической деятельности. Тем не менее, он поддерживал желания татар и других мусульман Российской империи, искавших союз с русской либеральной буржуазией с целью облегчить положение мусульман. Так, он послал телеграмму с добрыми пожеланиями

в адрес Третьего Всероссийского конгресса, который состоялся с 16 по 20 августа 1906 года в Нижнем Новгороде. Галимджан Баруди, лидер Союза мусульман («Иттифак аль-муслимин»), преобразованного на этом конгрессе в политическую партию, был видным последователем шейха Зейнуллы. С 1908 года, когда стало очевидно, что русские не желают удовлетворить требования мусульман, Союз мусульман отказался от своей умеренной политики, усилив в своей тактике радикальные элементы. Со всем этим у Зейнуллы-ишана не было контактов.

В целом число последователей Зейнуллы было чрезвычайно большим, но определенное число имен его видных учеников-муридов известно. Галимджан Баруди, вдобавок к своей политической активности, был директором медресе «Мухаммадия» в Казани — институте, где был внедрен новый педагогический метод и где обучались от 300 до 400 студентов, — институт поэтому считался одним из крупнейших мусульманских заведений в Российской империи. В мае 1917 года он стал муфтием Уфы, а в следующем году — председателем религиозного департамента Мусульманского Национального Собрании, основанного в этом городе. После короткого пребывания муфтием Оренбурга, он умер в 1921 году в Москве. Он был не просто муридом шейха Зейнуллы, но был еще и его энергичным и инициативным преемником в братстве Халидийа-Накшбандийа.

Другим крупным последователем Зейнуллы-ишана был Сабиржан Хасани, много лет служивший муфтием Уфы. Он заслужил высокое уважение среди всех мусульман России за свое преподавание религиозных наук. В 1910 году Исмагиль-бей Гаспринский (Гаспралы) получил вопрос от некоей австрийской баронессы, которая полностью обратилась в ислам, но колебалась из-за необходимости надевать женскую чадру, покрывало для скрывать лица и фигуры женщины-мусульманки. И. Гаспринский переадресовал ее вопрос Сабиржану Хасани, который ответил, что женская накидка, в смысле одежды, полностью скрывающей женскую фигуру и исключаяющей женщину из всех видов общественной деятельности, не имеет основания в Шариате (исламском законе) и



что женская чадра даже неизвестна во многих (мусульманских) регионах России. Сабиржан Хасани также организовывал сбор денег с целью строительства железной дороги в Хиджазе (Саудовская Аравия). Дата смерти Сабиржана Хасани неизвестна.

Другим видным последователем шейха Зейнуллы Расулева был Ризаитдин Фахретдинов, крупный ученый и педагог, который оставил карьеру кази (мусульманского судьи), чтобы посвятить себя науке. Наиболее важным из его произведений является «Асар» — библиографический справочник, по преимуществу о видных ученых и деятелях из татар и башкир, а также о некоторых дагестанцах и представителях Средней Азии. Во многих местах этой работы Ризаитдин Фахретдинов высказывает уважительное отношение к шейху Зейнулле Расулеву. Р. Фахретдинов вернулся к активной общественной деятельности в декабре 1917 года, когда он стал заместителем муфтия в Уфе, а в начале 1922 года он стал муфтием после смерти Галимджана Баруди. В том же году он возглавил советскую делегацию на Международном исламском конгрессе в Мекке. В 1931 году советские власти предложили ему публично подтвердить наличие религиозной свободы в Советском Союзе. Его отказ повлек наказание в виде лишения и страданий, выпавших на остаток его жизни, и он умер в апреле 1936 года в условиях великой нужды и бедности. Публикацию хвалебного биографического очерка о нем в журнале «Мусульмане Советского Союза» в 1984 году можно расценить как его посмертную реабилитацию.

Еще одной личностью, известной как мурид и халифа шейха Зейнуллы, был отец известного тюрколога и историка Заки Валиди Тогана, учитель религии, который обучал в собственном медресе примерно 200 башкир-студентов. Отец и сын регулярно посещали шейха Зейнуллу в Троицке, и, несмотря на свою общую неприязнь к суфиям, которых он характеризовал как лицемеров, Заки Валиди уважал Зейнуллу-ишана (наряду с несколькими другими шейхами) как «чистосердечного человека, образец нравственности и добродетели». Отец Заки Валиди удостоился от Зейнуллы Расулева иджа-

зы (разрешения) для посвящения в братство Халидийа-Накшбандийа, но он только один раз использовал это свое право, заметив, по словам сына, что «кончается время для суфизма».

Шейх Зейнулла умер в феврале 1917 года, когда царский режим шел ко дну. Он умер в возрасте 84 лет, и хотя за несколько лет до этого перестал преподавать, до самой смерти он оставался энергичным и деятельным руководителем своих многочисленных последователей. Неизвестно, комментировал ли он изменения, которые были произведены им, но одно из средств измерения его влияния — это заметный вклад, внесенный его учениками, Г. Баруди и Ризаитдином Фахретдиновым, в деятельность правления Мусульманского Национального Собрания, которое провозгласило 22 июля 1917 года автономию мусульман России и Сибири.

Совершенно по-разному сложилась судьба шести сыновей шейха Зейнуллы. Один из них, мулла Хибатулла, умер раньше отца, примерно в 1903 году. Другой, Хайрулла-эфенди, учился в Медине (Саудовская Аравия) под руководством трех сильных мастеров из ответвления Муджаджидийа братства Накшбандийа. Он был посвящен в «тарика» (мистический суфийский путь к Богу) одним из этих мастеров, Мухаммадом Салихом аль-Зауави, и по возвращении на родину стал имамом и учителем (мударрис) в селе Каргалы. Он воздерживался от набора собственных учеников-муридов для обучения, по-видимому из-за высокого положения отца. Что стало с ним и с еще двумя другими сыновьями — Абдуллахом и Абдусабуром — после большевистской революции, неизвестно. Пятый сын, Абдулкадир, отправился на учебу в Стамбул и после возвращения в Россию стал имамом в мечети города Астрахани. Однако в 1959 году в возрасте семидесяти лет он опубликовал в антирелигиозном журнале «Наука и религия» статью, озаглавленную «Не хочу быть муллой», целиком отрекаясь, таким образом, от духовного наследия своего отца. Не исключается, что этот его поступок был совершен под принуждением.

Из сыновей шейха Зейнуллы самый младший, Абдрахман Расулев, сыграл наиболее видную роль в послереволюци-

онный период. Он был политически активным еще до большевистской революции, будучи, например, членом комиссии, образованной на Третьем Всероссийском мусульманском конгрессе в 1906 году для реорганизации администрации по мусульманским религиозным делам. В 1941 году, под давлением германского наступления на Советский Союз, Сталин позволил мусульманам СССР создать некоторые организационные формы религиозной деятельности, и Абдрахман Расулев был назначен муфтием и председателем вновь созданного Духовного Управления для мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) в городе Уфе. На проявление этой незначительной меры терпимости властей к религии Абдрахман Расулев ответил призывом к мусульманам помочь в борьбе с Германией. Он был муфтием и председателем ДУМЕС в Уфе до самой своей смерти в 1950 году. Абдрахман Расулев явно был халифой (духовным преемником) своего отца в братстве Халидийя-Накшбандийя.

Его преемник на посту председателя управления, муфтий Шакир Хиялетдинов, чье правление длилось до 1974 года, тоже был студентом шейха Зейнуллы; хотя неизвестно, был ли Ш. Хиялетдинов халифой шейха. В статье, опубликованной для пропагандистской цели в книге, появившейся в 1971 году в Москве, Ш. Хиялетдинов приводит сведения о своих годах учебы у шейха Зейнуллы в Троицке и вспоминает предсказание своего учителя, сделанное в 1909 году. Касаясь несправедливостей, которые испытывали мусульмане в царской России, Зейнулла Расулев сказал: «Терпение нашего народа беспредельно, как наша вера. Но Бог справедлив и желает вознаградить нас за наши страдания. Я не смогу дожить до этого дня, но ты, Шакир, сможешь дожить до того дня, когда ничто не сможет загордить свет истины».

Если шейх Зейнулла и сделал это обнадеживающее предсказание, то сомнительно, что он смог бы увидеть его полное осуществление при советском режиме. Нельзя предположить, что успешное правление в ДУМЕС Абдрахмана Расулева и Шакира Хиялетдинова является естественным продолжением наследия шейха Зейнуллы, сравнимым с деятельностью Галимджана Баруди и Ризаитдина

Фахрединова сразу в послереволюционные годы. Тем не менее, тот факт, что с 1941 года по 1974 год Духовное Управление в Уфе возглавлялось личностями, близкими к шейху Зейнулле, наводит на мысль, что Абдрахман Расулев и Шакир Хиялетдинов в целом были заметны в мусульманском сообществе, что вынудило советские власти остановить на них свой выбор при выдвижении на пост главы ДУМЕС.

Александр Бенигсен, посвятив себя изучению советских источников, позднее неоднократно выражал мнение, что суфизм окончательно исчез среди татар и башкир, и со всякой очевидностью видно, что братство Накшбандийя не проявляется среди них такой явной жизненности, как это проявляется в Дагестане и Чечне. Однако не похоже, чтобы традиция, уходящая в глубь пяти столетий, могла исчезнуть за семьдесят лет, какой бы интенсивности репрессии ни были. Кроме того, количество современных советских публикаций, касающихся истории суфизма среди татар, наводит на мысль, что вопрос этот не утратил своего актуального значения.

Непохожая на послереволюционную судьбу братства Халидийя-Накшбандийя в Волго-Уральском регионе, которая в данный момент не может быть оценена, сама карьера шейха Зейнуллы Расулева продолжает вызывать постоянный интерес в нескольких аспектах. Его карьера демонстрирует продолжающееся значение суфийских братств в распространении исламских религиозных знаний и обрядов среди тюркских народов в Средней Азии. Далее, она показывает, как братство Халидийя в лице шейха Зейнуллы нашло общий язык с джадидистами, избегая косности, присущей многим бухарским шейхам-традиционалистам, осуществив таким образом свой вклад в культурное возрождение татарского народа. Наконец, его карьера продемонстрировала, каким образом ведущие татарские ученые и деятели религии принадлежали к неформальной интернациональной сети своих духовных учителей-пиров, активно участвуя в общих делах мусульманского мира до того момента, как мрак и изоляция, осуществляемые большевистским режимом, опустились на мусульман России.

Краеведческий калейдоскоп

В 1937 году, когда уже дали нефть разведочные скважины, расположенные на площади между деревнями Нарышево, Туймазы, Максютово и Туркменево, место с экзотическим названием Шайтан-поле было выбрано для закладки поселка нефтяников. В 1938-м появилась первая улица, в 1946 году улица Девонская стала первой в новом городе Октябрьском. Тогда же на нефтяных промыслах Башкирии побывала Мариэтта Шагинян. Очерк о молодом городе она закончила такими словами: «Пройдет несколько лет, и будущее «Второе Баку» раскинется на этом просторе культурным промышленным центром, а недавнее прошлое, во всем его живом и сложном разнообразии, быть может, забудется для истории навсегда». Город действительно стал промышленным и культурным центром, а вот прошлое, тем не менее, не забыто. И все больше людей интересуется уже и тем, что было здесь до рождения города, какие люди жили. Мы публикуем статьи, появившиеся в результате краеведческих изысканий журналиста Ильи Павловича Баранова.

ПЕРВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Имя «первого русского писателя Башкирии Петра Ивановича Добротворского» (1839 — 1908 гг.), боровшегося за прекращение «хищнического обезземливания жителей края» и прозванного за то современниками «уральским Аристидом», основательно забыто: после его смерти очерки и рассказы писателя почти не печатались.

Именно Добротворский внес первые строки в литературную летопись Октябрьского, получившего статус города ровно через 38 лет после смерти писателя.

Ну, не парадокс ли?

...В конце 1861 года слушатель Императорской военной академии Петр Добротворский, «выхлопотавши себе по болезни отпуск», направился в родительское имение Богородское, которое находилось на границе двух уездов — Уфимского и Белебеевского. Для решения здесь «всех дел, какие вытекали после освобождения крестьян от крепостной зависимости», ему пришлось выехать в Уфу, где молодой офицер-артиллерист нанес визит губернатору. В своих воспоминаниях «Моя исповедь» и «Из истории голодных годов (По Белебеевскому уезду)» Петр Добротворский рассказывает об этом так: «Губернатором в то время был Г. С. Аксаков (сын писателя. — прим. И. Б.), отдавший всю свою душу на проведение освободительной реформы». Чуть ли не с первых слов он начал уговаривать меня остаться в Уфимской губернии.

— Помилуйте, да разве теперь такое время, чтобы молодому образованному человеку оставаться на военной службе? Оставайтесь здесь. У нас людей нет, нам люди нужны.

И опять через минуту:

— Оставайтесь! Меньше чем через год мировым посредником (т. е. судьей. — прим. И. Б.) будете.

— А академия-то как же? — сказал я. — Бросьте вашу академию. Не такое теперь время, чтобы оставаться на военной службе. Подумайте.

Я обещал подумать, а на другой день, приехавши к Аксакову, заявил ему о своем согласии.

— Вот и прекрасно. Подавайте сейчас же мне прошение, я представлю вас немедленно в кандидаты к мировым посредникам, — говорил мне Григорий Сергеевич, пожимая мою руку, точно ему лично я сделал какое-нибудь одолжение.

Вот такое тогда было время!

Решился я на этот шаг все-таки не сразу...».

В Уфе Петр Добротворский женился на падчерице местного помещика Топорнина — яркого крепостника и ретрограда («женильба моя оказалась неудачной») — и, отказавшись от блестящей военной карьеры, навсегда остался в Башкирии. Забегая вперед, скажу, что последние 20 лет Добротворский безвыездно прожил в Уфе, где и умер в одиночестве. Могилы его затерялась. А в начале 1865 года он уже был мировым посредником Белебеевского уезда (нелишне вспомнить, что город Октябрьский вырос на земле, некогда являвшейся частью этого уезда), где и служил все время до самого упразднения института мировых посредников.

«Целых двенадцать лет я заведовал одним и тем же участком, с небольшими изменениями в величине и в границах. Русских крестьян в моем участке было мало — было два заводских селения: село Верхнетроицкое и Нижнетроицкое, с суконной фабрикой, а все больше башкиры. Что это за прекрасный народ!

В участке меня любили; за все время моего посредничества не было у меня никаких беспорядков, не было, кажется, даже никаких недоразумений. Население я знал хорошо, чему могут служить доказательства рассказы мои... Рассказы эти заключают в себе чуть ли не целую историю современного положения башкирского народа. Думаю, что никто другой подобных рассказов из жизни башкир не пишет. Недаром кое-кто из кровных башкир, слушая их, говорил мне: «Ты, хазрет (господин), самый наша башкирский душа знаешь».

В середине 1870-х годов, во время одной из «голодовок», мировой посредник Петр Добротворский пригласил уфимского гражданского губернатора Ипполита Щербатского, «не бывшего ординарным администратором», объехать участок вдвоем. Тот согласился.

Посетив «Сынны» (ныне Санны) и «Богады» (Багады), где Щербатский обривизовал волостное правление («это был уже Белебеевский уезд, мой участок»; ныне села входят в состав Буздякского района), проверяющие добрались до села Верхние Бишинды (Туймазинский рай-

он). «Утром и здесь, — вспоминает Петр Добротворский, — как в деревне Богады, Ипполит Федорович ревизовал волостное правление... А затем, по окончании ревизии, я «возил» Ипполита Федоровича в дер. Москову, находящуюся почти на самой границе бугульминского уезда. В то время деревня Москва — не думаю, чтобы она изменилась и теперь — была замечательна тем, что в ней на двадцать или тридцать дворов не было ни одной лошади, а водилось всего два теленка да несколько десятков кур; о нищете же жителей и говорить нечего — это было нечто невообразимое. Нигде, ни в одной избе — а мы со Щербатским обошли их чуть ли не из двора во двор — мы не видели ничего, кроме каких-нибудь суррогатов хлеба (хотя в то время в обиходном употреблении имячко это еще не было известно), да муки из лебеды».

...Ныне ни писатель, ни спутник его Московы (сегодняшняя Московка) не узнали бы. 22 апреля 1935 года в Туймазы прибыли свердловские геологоразведчики. Из Бугульмы доставили для них буровые станки — в бассейне реки Ик началось бурение. Уже через два года, в июле 1937-го, из скважины № 2, расположенной у горы возле деревни Тубашево (Московка, Москва), добыли первую нефть. Скважины бурились также в районе деревень Нарышево, Туркменево, Тубанкуль, Старые Туймазы, Максютново — везде была получена промышленная нефть. Началась разработка нового нефтеносного района — «Второго Баку», а с 1938 года на Шайтан-поле приступили к строительству и заселению поселка. В 1946 году Соцгород, так назывался поселок первопроходцев-покорителей земных недр, был преобразован в город республиканского подчинения Октябрьский, в состав которого вошла и Москва.

Вот так и оказался Петр Иванович Добротворский, посетивший наши края 130 лет назад, первым летописцем Октябрьского.

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА» ДЕРЕВНЯ ЛЕОНИДОВКА

От Октябрьского до Леонидовки — рукой подать. И многие горожане с на-



ступлением лета отправляются туда за ягодами, грибами, орехами, малиной и черемухой. Да, богаты деревенские окрестности дарами природы. А зимою не менее приятно торить лыжню в лесу, окружающем Леонидовку со всех сторон.

А вот когда появилась на землях башкир Кыр-Иланской волости эта русская деревня, откуда, преодолев долгий и нелегкий путь, пришли в башкирские края ее жители, почти никто не знает. А ведь недавно Леонидовке исполнилось 160 лет.

...Немецкий путешественник и дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды, в 1517 и 1526 годах, посетивший Московию, оставил потомству обстоятельные «Записки о московских делах». В них он, в частности, пишет: «Знаменитая река Танаид (или Танаис — так раньше назывался Дон. — И.Б.), которая отделяет Европу от Азии, начинается приблизительно в восьми милях к югу от Тулы, с незначительным уклоном к востоку... из огромного Иванова озера». Уже в те времена на берегу озера находилось богатое село Ивановское, — запомним это название! — а вот городка Епифани, впоследствии уездного и районного центра, при Герберштейне еще и в помине не было. Он возник на левобережье Дона лишь в 1578 году.

Во второй половине восемнадцатого столетия императрица Екатерина II приобрела примыкающие к Иванову озеру Бобринскую и Богородицкую волости, находившиеся в дворцовом ведомстве, для своего внебрачного сына А.Г. Бобринского, отцом которого был ее фаворит Григорий Орлов.

Сыновья Алексея Григорьевича Павел (1801—1830 гг.) и Василий (1804—1874 гг.) были непосредственно замешаны в декабристском движении. В архиве сохранилось дело «О графе Бобринском, отставленном из лейб-гвардии Гусарского полка корнете». Имеется в виду Василий. Следствие началось в апреле 1826 года и протянулось до июля. В деле имеются допросные пункты и показания семи свидетелей. Самого Василия Бобринского не допрашивали, так как он находился за границей. Несмотря на разноречивые показания свидетелей о причастности графа к «бунту 14 декабря», видно, что внук

Екатерины Великой состоял в Южном обществе.

То ли помогло высокое вмешательство (императору Николаю I граф доводился двоюродным братцем), то ли действительно он не успел себя достаточно проявить в «рядах бунтовщиков», но следствие над ним закончилось сравнительно благополучно. Он не был подвергнут ни высылке, ни аресту. Но секретный надзор за ним все же учредили.

В январе 1843 года, находясь в Туле, граф Василий Бобринский встретился в Благородном собрании за игорным столом с крупным оренбургским заводчиком и предпринимателем Дмитрием Бенардаки, которому и «продул в картишки» 2616 душ собственных крепостных из сел Ивановского, Георгиевского и частично из села Петровского Епифанского уезда. И скоро два первых села исчезли с лица земли тульской. Едва сошел снег, Бенардаки, владевший Верхне-Троицким, Нижне-Троицким и Усень-Ивановским медеплавильными заводами в Белебеевском уезде, а также 73932 десятинами земли при них, вывез сюда выигранных тульских крестьян. Новый владелец расселил их на своих землях, приписанных к заводам, и «заставил их работать на своих землях и медеплавильных заводах».

О том, как шло переселение, как встретили и приняли «новоселов поневоле» коренные заводчане, увлекательно повествует в очерке «Никитин починок» писатель-народник Филипп Нефедов (1838—1902 гг.), который живо интересовался жизнью фабрично-заводского населения России и в середине семидесятых годов позапрошлого столетия дважды побывал в селе Верхне-Троицком. Предоставим ему слово: «Немало труда стоило мне отыскать Аднагуловскую степь (именно сюда губернские власти собирались переселить безземельных леонидовцев. — И.Б.), но после долгих расспросов я, наконец, добился результата: в Верхне-Троицком заводе мне указали путь, и я поспешил отправиться... от заводских жителей я еще узнал, что на Аднагуловской степи «объявились» не «дикие», а «какие-то» переселенцы...

Мы выбрались из котловины и неслись теперь рысцой по гладкой степной дороге. Из-за раздвигавшихся гор выбега-

ли нам навстречу свежие и густые зеленыя озими... Неподалеку, впереди показалась деревня, вытянувшаяся в один посад.

— Это Николаевка, — сказал ямщик, — надзызы живут...

— А что за надзызы, ты сказал, в Николаевке?

— Они хрещенные, в церковь ходят. Только у них язык чудной, — что ни слово, все говорят надзысь. «Надысь, — говорят, — становой приезжал недоимку выколачивать», «надысь в волостном драли», — все «надысь». Заводские и прозвали их надзызами.

— Надзызы эти — переселенцы?

— Переселенцы. Из России их пригнали.

— Пригнали?

— Знамо, не по своей воле пришли: помещик их перевел.

— Ты не знаешь, давно это было?

Ямщик задумался.

— Давно! — ответил он помолчав. —

Когда надзызы появились... сколько... реву да плачу тогда по заводу было — не приведи господи!

— А заводу-то что?

— Как же! Чай, надзызов сперва в завод пригнали... Весной из своих местов поднялись, а к нам только к успееньеву дню (то есть в августе 1843 г. — И. Б.) подоспели: не близкая путина, може сколько тысяч верст ехали. Наши-то, сказывала матушка, инды ужаснулись, как надзызы к заводу подошли...

— Чего же ужаснулись?

— А думали, что неприятель подступал... На колокольне ударили всполох... Полторы тысячи душ народа-то!

...

— А немало, сказывала мне матушка, наприямались тогда горя эти надзызы, — начал он. — Пока еще тепло стояло — ничего, перебивались кое-как, жили в телегах и шалашах, а осенью поделали себе землянки, куда на зиму и поселились. Холод, нужду терпели! Только, бывало, и поедят с малыми детками, что на заводе собирают... Много их в те поры и на погост снесли.

... Надел и усадьбы отвели им на другой уж год (то есть в 1844-м. — И. Б.). Разбили сперва на два поселка: Катериновку и Митревку (ныне Катериновка и Дмитриевка Белебеевского района. — И. Б.), а

после душ два ста в Николаевку выселили...».

В 1844 году справили горькое новоселье и первые жители Леонидовки и Малой Николаевки (позднее она стала называться Константиновкой), а на территории современного Белебеевского района появились еще три деревни: Елизаветино (Большой Марьян), Мало-Александровка (Малый Марьян) и Анновка. Все восемь новых деревень огромной горно-заводской империи обрусевшего и разбогатевшего в России грека Бенардаки носили имена членов его семьи.

Заканчивая свой рассказ, назову фамилии, принесенные в наши края из-под Епифани «переселенцами поневоле»: Ануфриевы, Воробьевы, Гребеньковы, Дремины, Ипполитовы, Кирсановы, Лысенковы, Макозины, Никоноровы, Почуевы, Сухановы, Тамочкины, Уколовы, Хазовы, Шубенковы... Все они и сегодня на слуху у октябрьцев.

ХОЗЯИН ШАЙТАН-ПОЛЯ

При императрице Екатерине Второй, которую коренное мусульманское население наших краев уважительно именовало «аби-патшой», широко распространилась, особенно после подавления Пугачевского восстания, спекуляция башкирскими землями. Дворяне, чиновники и офицерство скупали за бесценок у разоренных Крестьянской войной 1773—1775 годов башкир участки наиболее плодородных земель, зачастую огромные, и переселяли на них крепостных крестьян из внутренних российских губерний. Нередко приобретенные земли перепродавались затем крупным помещикам.

Так, в долине реки Ик образовались, например, владения драгунского капитана Ивана Толстого, надворного советника Ивана Рычкова, генеральского сына Осипа Тевкелева, предпринимателя Ивана Осокина — владельца Верхне- и Нижнетроицкого, а также Усень-Ивановского медеплавильных заводов. Не отставали от них капитаны ландмилиции Михаил Тимашев и Борис Мертваго, отставной капитан Степан Кротков и многие-многие другие дворяне. Уместно отметить, что Борис Мертваго, повешенный пугач-



чевцами в родовом имении Троицком (Астродамовке) под Симбирском, имел сына Дмитрия (1760—1824) — ближайшего друга родителей Сергея Аксакова и крестного отца его самого. О своем крестном, «которого вся жизнь была борьба правды и чести с ложью и подлой корыстью», писатель с сердечной теплотой упоминает в «Семейной хронике». Дмитрий Мертваго, в 1787—1807 годах служивший в Уфе советником наместнического управления и, видимо, отличавшийся «изрядной веротерпимостью», стал инициатором учреждения здесь Духовного магометанского закона собрания.

Известно и двойное родство Аксаковых с Кротковыми. Младший брат писателя Аркадий Аксаков (1803—1862), «гвардии прапорщик в отставке», женился в 1836 году на Анне Кротковой (1819—1888) — внучке богатого симбирского столбового дворянина Степана Егоровича Кроткова, который, как отмечалось выше, также неоднократно «прикупал земли» у башкир Казанской дороги в верховье Ика. Вторая линия родства идет через родную тетку «Багрова-внука»: Александра Степановна Аксакова (родилась в 1755 году) была замужем за подпоручиком в отставке Иваном Петровичем Кротковым. Он, в частности, владел землями, на которых через полтора с лишним столетия вырос город Октябрьский. Купчая от 26 августа 1779 года свидетельствует, что «Казыевой тюбы епрыковские башкиры» команды старшины Аптикаея Московова продали земли по рекам Ик, Сюнь и Усень И. П. Кроткову и «его жене, детям и по них наследникам их в вечное и потомственное владение впрок бесповоротно и без выкупу». А ведь это «огромная территория: начиная с горы деревни Акбашево и по вершине Ташлы, оттуда — на устье Нарыш-речки, затем до вершины Туймазы-речки, дальше через Усень, потом через Ик до горы Как-тау (напротив деревни Ильчичбетова) у поселка Подгорный». Иными словами, приобретенные земли располагались на территории Бавлинского (Татарстан), Туймазинского и Шаранского районов нашей республики. Ныне «Епрык» — деревня Япрык в 14 километрах от Туймазов, бывшая когда-

то административным центром Кыр-Иланской волости. В документах она упоминается еще в семнадцатом веке. «Епрыковские» общинники явно продали землю, получив за проданные земли 350 рублей. Всего-навсего! Кстати, и Московка (антропоним, образованный от имени башкирского старшины «Москав, или Мускау Давлеткулова»), о посещении которой мировым посредником Белебеевского уезда, впоследствии писателем Петром Добротворским, и уфимским губернатором Ипполитом Щербатским рассказывалось в документальном очерке «Первый летописец», также принадлежала Ивану Кроткову. Здесь, на тесном правобережном плато Ика, прозванном Шайтан-полем и продуваемом всеми ветрами, к тому времени уже имелись поселения припущенников-тептяр, которые, «тесно прижимаясь друг к другу, в вечных межевых спорах» дали начало деревням Зайтово, Муллино, Нарышево и Туркменево. Записи о них имеются в «купчих крепостях» и актах ревизий восемнадцатого столетия. Названия первых двух образованы от имени и прозвища старшины Кыр-Иланской волости Зайта Муллина. Речки Туркмень и Нарыш с притоком Кору-Нарыш дали названия одноименным деревням: Нарышево и Туркменево. Все эти деревни основали выходцы из Поволжья и Прикамья, гонимые безземельем, нищетой, политикой русификаторства и притеснениями местных богатеев. Так, Нарышево, основанное «пришлыми татарами Бугурусланской стороны» Габдрахманом Якуповым и Тарифом Мингазовым, в 1897 году уже насчитывало 69 домохозяев, на которых приходилось 700 десятин общих земельных угодий.

О хозяине Шайтан-поля — Иване Кроткове, именуя его Каратаевым, Сергей Аксаков писал в «Семейной хронике». «Дядюшка» Кротков везде и всегда «боялся Степана Михайловича (то есть деда писателя — С. М. Аксакова. — прим. И.Б.), а дома боялся жены, вел жизнь самобытную: большую часть лета проводил он, разъезжая в гости по башкирским кочевьям и каждый день напиваясь допьяна кумысом; по-башкирски говорил, как башкирец, сидел верхом на лошади и не слезал с нее по целым дням... стрелял из

лука, разбивая стрелой яйцо на дальнем расстоянии, как истинный башкирец; остальное время года жил он в каком-то чулане с печью прямо из сеней, целый день глядел, высунувшись в поднятое окошко, даже зимой, в жестокие морозы, прикрытый ергаком, насвистывая башкирские песни и попивая от времени до времени целительный травник или ставленный башкирский мед».

Впрочем, и обломовщина быстро Кротковым игнорировалась, если дело касалось приобретения земли. Сергей Аксаков вспоминает, что уже после наполеоновского нашествия у его младшей тетки Евгении Аксаковой... находилась деревушка из двадцати пяти душ, при ней маленький домик, сплоченный из двух крестьянских срубов, на родниковой Бавле, кипевшей форелью (уголок очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли со всякими угодами, купленной на ее имя у башкирцев за самую ничтожную цену, о чем хлопотал деверь ее, сам полубашкирец, И.П. Кротков. И такое ничтожное имение казалось за-служенному воину (в 1813 году Татьяна Аксакова вышла замуж за отставного полковника Василия Васильевича Угличина. — прим. И.Б.) спокойной пристанью, куском хлеба под старость».

А вот дальнейшая судьба хозяина Шайтан-поля покрыта мраком неизвестности. Известно лишь, что лет через сорок после описываемых в «Семейной хронике» событий его землями, а также винокурным заводом и суконной фабрикой владел жестокий крепостник Николай Николаевич Кротков (1797—1873).

ЗАБЫТЫЙ КОНТР-АДМИРАЛ

В одном ряду с военачальниками Башкортостана, такими, как маршал Борис Шапошников, генерал-полковник Анатолий Романов, генерал-лейтенант Иван Ласкин, контр-адмирал Михаил Бакаев, и многими другими должно стоять и имя этого человека, о котором даже его бывшие односельчане знают до обидного мало. Однажды уехав из родных краев, он никогда не возвращался туда и, как говорят ныне спортивные комментаторы, «не

предлагал себя» ни власть предержащим, ни музейным работникам. Более того, считал, что персона его ни для кого не интересна.

Речь идет о контр-адмирале Сергее Ивановиче Куваеве.

О том, что в моей родне есть контр-адмирал, я знал давно. Родство было двойным — дядя Сережа доводился кузеном одновременно и моей матери, и моему отцу, с которым будущего контр-адмирала, помимо уз родственных, с юных лет связывала крепкая дружба. В детстве и юности они были неразлучны, так как жили не только на одной улице с оригинальным названием Выдерга, но даже по соседству, на въезде в узкий и длинный Барановский проулок. Позднее жизнь разбросала их: один стал учителем, другой посвятил жизнь флоту. Но ни отец, ни дядя Сережа не изменят дружбе: они переписывались даже в военное лихолетье, а позднее хоть изредка, но встречались.

В изданной несколько лет назад в Уфе книге документальных очерков «Генералы Башкортостана» имя С.И. Куваева даже не упоминается. Начну с того, что контр-адмирал Сергей Куваев родился 18 сентября 1912 года в селе Рождественском Белебеевского уезда. Основанное на излете девятнадцатого столетия верстах в тридцати от уездного центра переселенцами из Рязанской губернии село давно исчезло с лица земли. Ныне о нем упоминает лишь кладбище в березняке, в центре которого высятся памятники односельчанам, не вернувшимся с войны. 144 фамилии выгравированы на памятнике, в создании которого самое деятельное участие принимал и Сергей Иванович, будучи уже тяжелобольным.

Родители контр-адмирала Иван Никифорович и Ольга Артемьевна, в девичестве Щербакова, крестьянствовали. Жили дружно. Впрочем, после уборки урожая отец уходил на заработки на Нижнетроицкую суконную фабрику, в Белебей, Уфу, Абдулино и даже Москву. Он был хорошим столяром, которого ценили заказчики. Накануне сплошной коллективизации семья Куваевых перебралась в Подмоскovie, где отец работал столяром в железнодорожных мастерских на станции Люблино. Там же слесарил и Сергей,



совмещавший работу с учебой в вечерней школе и собиравшийся продолжить образование на рабфаке.

Но жизнь распорядилась иначе. Комсомол взял шефство над Рабоче-Крестьянским Красным флотом. И молодой железнодорожник Сергей Куваев по комсомольской путевке и еще более по зову сердца стал курсантом военно-морского училища.

Учился Сергей Куваев хорошо. Кстати, позднее он успешно окончил и военную академию. Учиться, по собственному признанию, любил.

...Молодой красный командир получил назначение на Дальний Восток, с тех пор почти вся его военная биография была связана с Тихоокеанским флотом. По душе пришелся он и командирам, и подчиненным. Его уважали за непоказную скромность, простоту характера, а еще более за верность избранному делу и трудолюбие. На флоте эти качества особо ценятся.

Охраняя дальневосточные рубежи Родины, краском Сергей Куваев понимал, что надвигаются грозные события: в воздухе пахло войной. Он наставлял моряков быть готовыми к отражению вражеской агрессии в любую минуту.

Не потому ли благополучно пережил он 37-й и последующие годы истребления командных кадров бериевскими опричниками, хотя основания «быть привлеченным» имелись. Его родной дядя Иван Щербаков, служивший до 1917 года в гвардии и бывший Георгиевским кавалером, Советской власти не признал, примкнул к белому движению и пропал безвестно на полях братоубийственной Гражданской войны.

У меня нет послужного списка Сергея Куваева. Знаю только, что в июне сорок первого он имел звание капитан-лейтенанта. С первых дней Великой Отечественной рвался на фронт, в действующие флоты, но командование посчитало, что он нужнее на Тихом океане. Он выполнял так необходимое для победы над врагом дело — в составе морского конвоя сопровождал караваны грузов, поставляемых США и Канадой по лендлизу.

После войны он много лет служил военным комендантом и начальником одной из военно-морских баз в Советской Гавани. Незадолго до отставки был пере-

веден на Балтику, служил на военно-морской базе в Таллине. Служба его по достоинству оценена: на груди моряка-односельчанина уже в 1949 году надежно «пришвартовались» ордена Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медали.

В сорок с небольшим Сергею Ивановичу присвоили звание контр-адмирала. Если учесть, что со званиями на флоте всегда туго, то можно смело сделать вывод о незаурядных способностях нашего земляка.

— По возрасту я был самым молодым в адмиральском корпусе страны, — вспоминал он, — имел все данные для дальнейшего служебного роста.

Болезнь прервала стремительную карьеру военачальника из Башкортостана. Ему едва ли исполнилось пятьдесят, когда пришлось выйти в отставку. Но сложа руки Сергей Иванович усидеть не мог. Он долго работал в одном из управлений Министерства обороны и даже избирался депутатом Моссовета.

Памятник воинам-односельчанам, на открытие которого рассчитывал попасть Сергей Иванович, был установлен в 1995 году. Впрочем, до 50-летия Победы контр-адмирал не дождался. Он скончался 7 мая 1991 года.

Однажды я увидел на его рабочем столе стопку бумаги, исписанной четким убористым почерком. Хозяин подтвердил мою догадку о том, что пишет воспоминания о своем времени, о друзьях-товарищах и о себе. Какова судьба этих воспоминаний? Были ли они завершены и где находятся сейчас?

В «КНИГЕ ПАМЯТИ» НЕ ЗНАЧИТСЯ

«Шайхутдинов Магсум Гималетдинович, уроженец дер. Сатлык Уфимского кантона Башкирской Республики, 1905 г.р., призван Туймазинским РВК, 275 кавполк 112 кавалерийской дивизии, младший лейтенант, командир взвода конной разведки, погиб 10 июля 1942 г., похоронен: отдельная роща в двух километрах северо-западнее д. Озерки Тербунского района Курской области», — вот так, наверное, был бы представлен в «Книге Памяти» герой моего рассказа. Но не сподобился он

попасть в нее. Я считаю своим долгом рассказать то немногое, что удалось мне разузнать о нем.

В глуши Уфимской губернии затерялась ничем не примечательная башкирская деревушка Саглык, где в крестьянской семье и родился будущий красный командир Магсум Шайхутдинов.

Еще ребенком заслушивался он рассказами о войне. А отец, завершая повествование о ратных делах, всегда повторял древнюю башкирскую поговорку: «Конь познается на скачках, а мужчина в сражениях». Магсуму думалось, что когда-нибудь «придется и ему отчий дом защищать», он готовил себя к этим суровым дням.

Как истый башкир, он с малых лет имел слабость к лошадям. И, подобно многим сверстникам, таил в душе мечту об оседланном коне и сверкающей сабле. Видя, что мальчуган растет настоящим джигитом, отец его Гималетдин-агай довольно улыбался.

Сбылась мечта Магсума. Будучи призванным в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, он попал служить в кавалерию. Надолго его родной семьей стал Отдельный кавэскадрон 34-й стрелковой дивизии. Молодой конник старательно рубил клинком лозу, стрелял из винтовки, на боевом коне вихрем носился по полям учений, постигая древнее искусство конного воина, участвовал в учебных рейдах. И со временем стал кавалеристом в полном смысле этого слова, одним из лучших бойцов эскадрона, уважаемым и товарищами, и командирами.

Ему неоднократно доверялось представлять свою часть на различных соревнованиях, в том числе на окружных учениях и сборах. Передо мною выцветшая от времени и потерявшая на сгибах грамота, врученная «отделенному командиру сверхсрочной службы кавэскадрона 34-й стрелковой дивизии тов. Шайхутдинову в том, что на окружном сборе разведчиков Приволжского Военного Округа в феврале 1930 г. он показал себя политически сознательным и примерным бойцом и на соревнованиях разведчиков конно-лыжных без всадника занял второе место, за что награждается бритвой». Грамота эта с изображением в верхней части ее лихого буденовца, ведущего конармейцев в ата-

ку, бережно хранится в домашнем архиве сына.

— Уйдя в запас, отец связей с Красной Армией не порывал ни на один день. Окончив в Москве Военно-ремонтные курсы усовершенствования командного состава РККА, работал военным зоотехником в объединении «Заготконь» — организации, курировавшейся лично маршалом Семеном Буденным и занимавшейся заготовкой и сбытом пользовательных, племенных и специального назначения лошадей.

В подтверждение сказанного собеседник показал мне еще один документ. В удостоверении, выданном его отцу в Москве 25 декабря 1932 года, говорилось, что предъявитель сего «тов. Шайхутдинов М.Г. командирован в разные районы СССР по работе, связанной с поставкой лошадей для РККА и войск ОГПУ». Впрочем, «разным районам» военный зоотехник Шайхутдинов предпочел родные башкирские края и в предвоенные годы успешно занимался разведением племенных лошадей в Туймазинском районе (в деревнях Райманово, Нижние Бишинды, Уязытамак, Каратово). В 1940-м году перебрался с этой же целью в Муллино, где и услышал о вероломном нападении Германии на любимую Родину.

— Являясь сотрудником объединения «Заготконь», — продолжает свой рассказ Марат Магсумович, — отец носил военную форму, имел личное оружие и породистого жеребца. Хотя и смутно, но помню проводы его на фронт. Простившись с семьей, с набежавшими соседями, ладный и подтянутый, в остроконечной буденовке со звездой, в длинной кавалерийской шинели с красными петлицами и «разговорами», затянутой широким ремнем, с револьвером в кобуре на правом и саблей на левом боку, он лихо вскочил в седло и поскакал по дороге, ведущей в Туймазы. Таким он остался в моей памяти на всю жизнь.

Письма отец писал часто, а самое первое было отправлено со станции Дема, где он учился на курсах кавалерийских разведчиков. Жаль, что не все отцовские письма сохранились...

Но коротка была фронтовая биография джигита из Муллино. До дней победных младшему лейтенанту Магсуму Шайхутдинову дойти не дове-



лось. Июльским утром сорок второго года взвод, которым он командовал, после ночного рейда по тылам противника расположился на отдых в небольшой роще. Не знали бойцы, не знал их лихой и бесстрашный командир, что роща эта была хорошо пристреляна противником. Едва бойцы спе-

шились, как были накрыты минометным огнем. Погибли все. Да, зачастую, по меткому выражению поэта-фронтовика Михаила Дудина, «смерть на войне обычна и сурова...». Имя забытого по ряду причин фронтовика недавно внесено в список на обелиске в поселке Муллино.

Командир Красной Армии граф Толстой

Его отец был самым настоящим графом. В нем же не было ничего аристократического: спортсмен, общественник и просто милый человек с доброй улыбкой. Пожалуй, только высокий рост выделял Александра из «кипучего и могучего» рабоче-крестьянского окружения. У него было много друзей среди спортсменов — ведь он играл в футбол. Хорошо знали его и завсегдатаи танцплощадки в саду Луначарского. Там он и встретил свою Верочку.

Когда в 1938 году Вера впервые появилась в его доме на Цюрупы, ее поразили высоченные потолки и залитая солнцем огромная гостиная. Сколько помнил себя Александр Петрович, этот дом существовал всегда, всегда рядом были мама и старший брат. А вот отца, погибшего в июле 18-го, он почти не знал. Лишь в отрывистых детских воспоминаниях видел он пышные черные усы, которые опускались откуда-то с недостижимой высоты и щекотали его уши и лоб. Вспоминал ли он о своем отце, когда впервые привел знакомить с домашними свою невесту? Думал ли о нем, когда настойчиво просился на фронт? И поминал ли лихом тех, кто когда-то сделал его, четырехлетнего мальчика, сиротой?

В 39-м родилась дочь Оля, которую отец прозвал Лялишной, в 41-м Вера Петровна вместе с дипломом врача получила направление в Бирск. Уже шла война, и Александр Петрович как инструктор физкультурного общества «Спартак», а позже и командир батальона Всевобуча считался призванным в армию. Но он рвался на фронт, и в мае 1942 года Вера приехала провожать мужа на уфимский вокзал. Но

увидела только хвост поезда. Через месяц Саша прислал письмо из Москвы:

18.5.42

Здравствуй, родная Верусенька!

Вот уж неделя, как я живу в части и привыкаю к новой, правда, ранее мне уже знакомой жизни.

Мне было очень горько, что последние минуты вас с матерью не было со мной, но в этом виноват только поезд, который вышел ранее срока, а может быть это и к лучшему, т. к. я не видел мамашиних слез.

Веруська, напиши мне, как в «Спартаке», рассчитались ли с тобой. Это меня очень волнует, ведь без этих денег ты совсем бедненькой осталась.

Как твоё здоровье и самочувствие? Как доехала до Уфы и куда в ней ходила? Как расстались с Лялишной, не плакала ли она? И вспоминала ли о своем отце? ... Кстати, сегодня ей, т.е. «Ойге Кисание Тотой» 2 года 11 месяцев, с чем тебя и поздравляю.

Теперь о себе. Часть наша одна из самых интересных и новых для меня, знающего почти все виды оружия пехотных частей. Жизнь течет по определенному руслу «как часы». В основе всего лежит приказ нашего наркома т. Сталина, который говорит, чтоб каждый военнослужащий был мастером своего оружия, а раз Сталин сказал, то это так и будет. Я конечно, не отстаю от других и наказ возлюбил вытполню с честью.

Регламент нашей жизни таков: подъем 5-30, отбой 10-30, 10 часов занятий, остальное время — туалет, зарядка,

Чечуха Анатолий Львович. Родился в 1957 году в Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт. Автор статей в уфимских и республиканских газетах и журналах.



завтрак, обед, ужин и т. д.... Командный состав — в большинстве молодежь, но знающая и любящая свое дело, живем все дружной семьей с единой мыслью — скорее на фронт бить гадов, у меня так прямо руки зудят, а главное, хочется скорее проверить, правильно ли я учил свой батальон специалистов, что еще нужно для них знать из фронтовой жизни. Ведь я дал слово отделу всевобуча и Баш. обкому ВЛКСМ писать об этом с фронта.

Пока я на правах маленького командира, хотя сказать откровенно, не хвалюсь, чувствую, что знаю не меньше любого из средних, но это придется доказать на деле, а там видно будет.

Привет всем знакомым. Целую. Твой Сашка.

Потом письмо от него получила и мать:

1.07.42

Милая мамуля! Пишу тебе под мерный стук колес, сидя на второй полке «международного» вагона.

Более двух недель прожил я в Москве, нашей единственной красной столице, и как я ни жаждал, но никак не смог побывать в ее центре и полюбоваться на кремль, метро и другие достопримечательности ее.

Все эти дни прошли в усиленной учебе: с раннего утра до позднего вечера мы осваивали нашу новую технику, с тем, чтобы бить врага без промаха, так, чтобы только щепки летели. За время учения я, как и всегда, не ударил лицом в грязь и заработал ряд благодарностей.

Ты знаешь, Мася, в этом отношении я пошел в тебя: уж если учить детей, так отдать им все, что знаешь, а узнать можно многое, если готовиться, т.к. пособий по нашим дисциплинам очень мало.

Жили мы в Москве хорошо, питались здорово, регулярно снабжались куревом. Ребята у меня хорошие, крепко с ними сдружились и работали. Командный состав также на подбор: все молодые ребята, инициативные, с огоньком, особенно комиссар и командир подразделения, последний — старый фронтовик, прошел все фронты.

Настроение у меня хорошее, здоров как бык, и в дальнейшем думаю так же

долго не захвораю, т.к. не зря поется в песне, что храброго пуля боится, смелого штык не берет!

Очень жалею, что во время жизни в Москве я не смог побывать у тети Вали «Черненькой», не побывал потому, что забыл адрес, и как ни пытался, не смог узнать его.

Со мной из Башкирии трое ребят: двое стерлитамакских и один из Уфы, живет он на улице М. Горького в Старой Уфе.

Очень бы хотелось узнать о вашем житье-бытье, но теперь надолго этого не придется. Надеюсь, что все в порядке, и даю слово писать вам, чтобы ты не беспокоилась.

Как Лялюшка? Поцелуй ее за меня и скажи, что «папка Сашка» о ней все время думает и защищает ее счастливое будущее.

Тебя я, мамуля, прошу ради меня и Ляльки, береги себя и кушай лучше, хотя бы тебе пришлось проесть все вещи. Я, как только смогу, пришло тебе деньжат. Пошлю тебе свою морду. Не ужасайся виду: зашел небритый, совершенно не готовясь сниматься, экспромтом, в перерыве между занятиями.

Пишет ли тебе Вера? Если нет, то напиши ей, что она — свинья, т.к. я ее очень просил писать тебе.

Ну, пока, всего хорошего. Всем, всем привет, перечислять нет времени — поезд дает гудки, и тороплюсь опустить письмо. Адреса пока нет. Целую тебя. Шурка.

Эшелон шел на Воронежский фронт. А может, и на Юго-Западный: еще в конце июня здесь, на стыке фронтов, до 80 дивизий гитлеровцев при поддержке 1,5 тысячи самолетов начали наступление, намереваясь захватить богатые нефтью южные районы СССР. В первой декаде июля группа армий «Юг» форсировала Дон и овладела большей частью Воронежа. Тысячи наших бойцов попали в окружение. В этом пекле и оказался необстрелянный расчет Александра Толстого. Больше вестей от него не было.

Письмо Екатерины Александровны Толстой в Наркомат обороны.

— ...Предполагаю, что сын служил в минометных войсках. Он писал из Москвы:

изучаем новые виды военной техники, а дальше, что он заработал ряд благодарностей, его расчет был признан лучшим в подразделении, а миномет — золото. «Будет бить как часы. Пока я — маленький командир».

Вот все, что я знаю о его работе. Последнее письмо сын мой — Александр Петрович Толстой прислал с дороги. Бросил его на станции Кочетовка Воронежской области. «Поезд дает гудки, адреса пока нет», — написал он. На конверте стоит почтовый штемпель станции Кочетовка 1 июля 1942. С тех пор я не имею от сына никаких известий, хотя он тут же в последнем письме добавил: «Обещаю писать часто, чтобы ты не беспокоилась».

Очень прошу Вас написать мне, значится ли сын мой А. П. Толстой в списках убитых или раненых, или пропавших без

вести. Хочу знать правду, как бы горька она ни была для матери любимого сына.

После смерти Екатерины Александровны у нее под подушкой нашли фотографию Александра, принимающего присягу. А еще — бумагу из горисполкома, которую все называли «охранной грамотой»: «По устному распоряжению В.И. Ленина Толстая Е.А. не подлежит ни выселению, ни уплотнению».

В западной части Сергиевского кладбища Уфы есть несколько могил, в которых покоятся уфимские Толстые. Но могила Петра Петровича и его сына Александра там нет. Как нет их, возможно, и во всем белом свете. Отца безо всякой причины убили темной июльской ночью 1918-го и сбросили в воды Камы. Сын попал в жернова самой кровавой войны в истории.

«Мальчики по вызову»

Записки боевого офицера

Опасность — дело, во всяком случае, не мгновенное, как кажется многим, её нельзя сразу проглотить, а придётся принимать понемногу, разбавленную временем, подобно испорченной лекарственной микстуре.

К. фон КЛАУЗЕВИЦ. «О ВОЙНЕ»

Не знаю, кто первым додумался прилепить пожарной службе этот ярлык — «рыцари без страха и упрека». Звучит-то, безусловно, красиво, горделиво так звучит. Увы, среди нас не так уж мало тех, кто на эту фанфарную медь повелся, но жизнь быстро лечит от бесстрашия. Только вот лекарство отмеряет не капельно, потому немало среди нас и «передознутых». Это сейчас прием на службу начинается с психолога: бесстрашных отсекают на дальних подступах. Как и излишне осторожных, впрочем. Безбашенный храбрец — потенциальный труп, осторожный шкурник — повышенный фактор опасности для остальных. И кого ж допускают к прохождению медицинской комиссии придиричьи психологи? Среднячка. Устойчивого к меланхолическим-холерическим шатаниям, с молниеносной реакцией и развитым чувством юмора середнячка. Не романтично? Да. А кто вообще сказал, что экстремальные профессии, к коим относится и пожарная, романтичны? Да те же журналисты и прочие литераторы, которым по роду деятельности положено приукрашивать и преувеличивать.

Порой полезно взглянуть на себя со стороны. Я и поглядываю — на себя, на товарищей своих. Вот сидим мы, победители, после очередного боя — и не спешат к нам восторженные барышни с охапками цветов, не бросаются повиснуть на надежной пожарной шее, не горят желанием поцелуями одарить. Я их понимаю, барышень: нечем тут восторгаться. Вот вам пяток-другой, а то дюжины две-три (в зави-

симости от сложности пожара) мужиков, одинаковых с лица: одинаково грязные, чумадые, расчерченные потеками пота, воды физиономии, одинаково встрепанные, дыбом стоящие волосы. Одеты тоже одинаково: в грязные, мокрые робы (боевки называются). Одинаково затягиваются сигаретами (мало им дыма!), синхронно заходятся в кашле, синхронно сплевывают черными кляксами — особенно зимой, на снегу, это заметно. И пахнут одинаково: мокрой золой, потом, табаком, какой-то едкой химией и еще неопределимым чем-то, но безусловно неприятным. Наверно, так пахнет страх.

Наверно... Потому что собственный страх обонянию не доступен. И табу — разглядывать страх товарища, даже для сравнения. А страшно всем. Животных инстинкт от огня гонит. Человек — тоже ведь животное, самый верхний примат. Самый верхний примат придумал мат, — я не знаю, может, орангутанги тоже по матушке кроют, однако... Однако орангутанги, как и львы, и слоны, и прочая фауна, от огня стараются убежать как можно дальше, а мы в огонь идем сознательно, уважая чувство опасности, но зажимая страх в кулаке. Ненормативная лексика русского языка — наиболее подходящий лингвистический пласт, впитывающий в себя и страх, и агрессию, и лишний, не сглаженный в процессе тушения, адреналин. Потому первые минут десять после боя говорим на русском матерном. Говорим о бытовухе — проверить, все ли рукава скатали, ломтики собрали, фонари и

прочее пожарно-техническое вооружение (ПТВ, по-нашему, по-пожарному) по отсекам разложили. В карауле за каждым что-то закреплено: кто за стволы (в народе их чаще именуют брандсбойтами) отвечает, кто за спасательные веревки, кто за фонари, кто за лестницы. Когда на пожаре несколько подразделений работают (а это все чаще происходит, ниже расскажу, почему так), нетрудно и перепутать «хозяйство». Но это не страшно: что соседи прихватили, то обратно вернется. А вот запасливое наше население пожарные «сувениры», как правило, не возвращает. В доме все сгодится: и групповой, очень мощный, фонарь, и рукав (шланг пожарный) со стволиком — грядки поливать. Да и ломик, и топорик — тоже не повредят. Это раньше на пожар народ кто с ведром, кто с багром спешил — нынче все больше с мешком норовят. Вот и приходится бдиль. Об этом мы журналистам, как правило, не рассказываем: стыдно. За повсеместное падение нравов. Впрочем, мы мало общаемся с журналистами сразу после пожара — не до них, если честно, пока бурлит еще в крови, пощипывает, покалывает непроветренный страх, отрывка пережитой опасности. Журналисты обижаются — мол, мы же тоже работаем. Да кто б спорил. Только вот свинцовый язык отказывается во рту перекачаться, скулы разжимаются с трудом. И очень хочется пить. И послать всех подальше, чтобы эти все подальше и отошли, чтобы не видели, как колбасит тебя постпожарный адреналиновый отходняк. Журналисты — чаще женщины. А женщины хотят видеть героев. А герой должен быть непременно рыцарем, выглядеть прекрасно, говорить прекрасно, и гордо разворачивать плечи, и одаривать ясным взором...

И где бы все это рыцарство в облике и поведении взять... Потаскай на себе амуниции килограммов под сорок летом и до шестидесяти зимой — погляжу, как плечи-то распрямятся. Да в руках еще с полцентнера, когда в разведку идешь — перекособочит не по-детски, где уж тут орла из себя изображать. Журналистам эти мелочи не интересны — им глобальное подавай, масштабное, героическое и желательно эксклюзивное. А у нас — мелочи все. Привычные, насквозь типовые

мелочи, из которых работа и состоит. И каждой мелочи — почет с уважением и внимание по полной. Подшлемник (он же подкащик) — мелочь. А польхнет в лицо мгновенный факельный прорыв пламени, который просчитать практически невозможно, — хреново тебе придется без этой мелочи, когда потечет расплавленный пластик панорамной маски, когда забрало перестанет быть защитой, — вот тогда от этой мелочи будет зависеть многое. Не будет подшлемника — не будет лица. Пока сдерешь покореженную каску (именно в такие моменты ремешок затягивается намертво), маска успеет припаяться к коже. Подшлемник даст лишние пару секунд — отделаешься лишь первой степенью, ну, просто вспухнет морда, покраснеет, как элитный помидор. Ожог первой степени лица, шеи — это не травма даже — обыденность. Вот на особо тяжелых пожарах под каску по два, по три подшлемника и натягиваем. Береженого бог бережет...

Пожар — это бой. Потому существует на свете пожарная тактика, потому и термины употребляются боевые. Пожарные, как никто другой, знают цену характеристики: «с ним я пошел бы в разведку». Именно с разведки начинается тушение. Пожары — они как люди, не бывает двух одинаковых. Никогда не бывает. Ну, как близнецы-братья, которые и похожи неотличимо, и одеты могут быть одинаково, и жесты синхронны, но папиллярные линии на подушечках пальцев не под копирку, у каждого свой рисунок. Даже в типовых помещениях (ну, квартиры стандартные возьмем, к примеру) мебель расставлена по-разному, отделка выполнена индивидуально, у кого паркет, у кого линолеум, у кого пластиковые рамы, у кого деревянные, короче, это называется «разность горючей загрузки помещения». Мелочи, мелочи — именно от них и зависит характер развития пожара. Поэтому, идя в разведку, каждый раз не знаешь, с чем предстоит встретиться. Каждый раз — неизвестность. Лютый напруг каждый раз, сколь бы опытен ты ни был, сколь пожаров ни потушил бы, все равно каждый следующий пожар как первый.

Тактика предписывает внутрь помещения идти звеном, не менее трех человек. Это не три точки устойчивости, — это



голая практика, поскольку тактика пожарная кровью писана. Реальной кровью. Реальными потерями. Трое — минимум. Почему? Потому что ты тяжел и неуклюж в своей амуниции. И летом и зимой под боевкой ватник. Зимой — чтобы не замерзнуть (плюс зимняя утепленная подстежка боевки), летом — чтобы не перегреться, не получить ожогов. В общем, с той же целью, что и два подшлемника под каску. Береженого бог бережет. За спиной — баллон дыхательного аппарата, такой пожарный «акваланг». Это еще с пудик накинй, а то и поболее, в зависимости от модели. Каска не пушинка, пояс пожарный с карабином и веревкой (вдруг через окно по стене выходит придется, да еще и пострадавшего с собой тащить?) — тоже вес. Топорик, лом, фонарь — как без оружия в бой-то? И обязательно — «ствол первой помощи». Его подают прямо от пожарной автоцистерны, сразу же по прибытии. Открываются отсеки, извлекаются скатки рукавов-«шлангов», подсоединяется ствол-«брандсбойт», наращивается так называемая рукавная линия, подается вода — и вперед, звено, в разведку. Неизвестно, что ждет тебя там, внутри, потому вода всегда должна быть под рукой, только рычаг отожди — и ударит тугая струя, сдерживая рванувшийся навстречу огонь. Ствол первой помощи — самим себе в том числе. Рукавная линия с водой — центнер весом. По пятьдесят килограммов на брата. Вот и корячьтесь, мужики, на пару — надо ж третьему руки высвободить для фонаря, для ломика...

Это только в кино героические богатыри прут во весь рост, не сутулясь, любой опасности навстречу. Мы, реальные, не киношные рядовые огненного фронта, — скромнее, проще. Где пригнувшись, где на карачках, а где и на пузе по-пластунски: чем ниже, тем прохладнее, тем целее будешь, если вырвется пламя. Оно тебя лишь сверху лизнет, схватить не успеет, а тут и спасительный водяной зонтик ударит из ствола, отсекая жадный раскаленный язык смерти, охлаждая пыл ее мелкодисперсной струей...

Чаще всего бывает именно так. Но бывает и по-иному. Тоже нередко. Мы ж не киборги, в конце-то концов. Это только задача у нас единая. А силы у организма — разные. Один от пепелящего жара

взмокнет так, что аж на боевке выступит соль, а другой может не выдержать теплового удара. Вроде только что слышал тяжелое дыхание рядом, топот трех пар ног — и вот уже топают только двое, третий лежит. Ты и сам неуклюж и тяжел, и неповоротлив, да обстановка зачастую не курортная: может и подвал быть с пересечением коммуникаций, и чердак, и вообще дыра какая-нибудь чертова, и рушится что-то неподалеку, утюжа ваше звено плотными слоистыми горячими волнами. И задача усложняется: эвакуировать товарища, срочно вытащить из очага, на свежий воздух, к помощи. К жизни. Вот тут твоя защитная амуниция и скажет веское «против», тут и почувствуешь жесткость и скользкость боевки, и громоздкость сбруи изолирующего противогаса. А краги, берегущие твои руки, и вовсе окажутся лишними — долой их, к чертовой матери (впрочем, нет, за пояс — казенное имущество, ага). И время утекает — быстрыми тяжелыми ртутными каплями, и ты чувствуешь, физически чувствуешь, как оно просачивается и улечивается. И есть тут только два варианта. Первый: хватаешь с напарником своего третьего — и вперед ногами, к выходу, к выходу, это если позволяет обстановка в полный рост встать да проскочить без проблем. Второй: пятишься крабиком, волоча тяжеленное, застревающее везде, цепляющееся за все тело, ухватив гольми руками за ремни противогаса (а то и за ноги), — к выходу, к выходу. А третий прикрывает в арьергарде, поворачивая стволлом вперед-назад, — то чуть снижая температуру на пути отхода, то отбиваясь от огня, кусающего за пятки. А незащищенные руки жжет немилосердно, и страх накапывает, иррациональный, дикий, льдистый, кажется, что не к выходу ползешь, что свернул не туда... И прошьет позвоночник морозная игла, и стянет кожу на скулах инеистой коркой, и холодом дернет посреди пекла. И на пределе сил и отчаянья, дико, первобытно, остро захочется жить...

...И ты вываливаешься из дымного марева — просто чуть светлеет перед глазами, прикрытыми закопченным стеклом маски. Чьи-то руки перехватывают, помогают, облегчая твою тяжесть. И все — на воле, вышли. А руки намертво свело на ремнях, и совсем не осталось сил разжать

кулаки, на которых вздуваются уже важные пышные пузыри, как опара дрожжевая подходит, дышит. И с тебя стаскивают маску противогаза, и над товарищем хлопочут уже. И как же чертовски важно, чтобы был этот третий, который вскинет ствол, посылая распыленную струю понад вами двумя. Для того чтобы выжить всем троим.

Первые минуты просто не осознаешь степень опасности. И глубину боли не ощущаешь. Только одно безмерное удивление: надо же, и на этот раз увернулся! Кто-нибудь обязательно сунет сигарету в непослушные, словно чужие губы, кто-то руками займется — «скорую» еще ведь дожидаться надо.

Вот теперь можешь бояться и анализировать свои действия. Рапорт-то все равно надо будет писать — к разбору полетов. А еще — тонкий намек на толстые обстоятельства имей в виду: в твоих ожогах ты сам и виноват. Нарушил технику безопасности, снял краги. Вот потому — шиш тебе, а не страховка, милый. И не надо доказывать, что в крагах ты не вытащишь потерявшего сознание бойца, — на пожарной робе действительно нет ни планки, ни карманов, не за что уцепиться. С одной стороны — гарантия, что в темноте и в дыму сам ни за что не зацепишься, с другой стороны — как ни пиши рапорт грамотно, как ни обосновывай, один хрен ты в нарушителях. И сам виноват. Впрочем, если ты и не виноват, но ожоги получил, залечил и вознамерился компенсировать часть моральных и материальных затрат обязательной госстраховкой, — шишко губу не раскатывай, братец. Страховка тебе положена, если на коже остался хоть один шрам длиннее двадцати миллиметров. А если у тебя лицо-руки в шрамах по девятнадцать миллиметров, не положена страховочка. Так-то вот. С нашим государством в азартные игры лучше не ввязываться. Мы это знаем. И на родину у нас не в обычае обижаться. Да и радость, что все живы, она побольше, чем обидки на родину-маму. А руки — что руки? Заживут. Не впервой.

С державой объяснения — они впереди, а вот с народом объясняться придется прямо не отходя от кассы. Интуитивно чувствуют наши люди, что просто обязаны разделить твоё одиночество, не

дать тебе собственным страхом отравиться, пока сидишь в ожидании квалифицированной медпомощи, держа руки на весу, баюкая добравшуюся наконец-таки до тебя боль. Вот тут обязательно подойдет кто-нибудь из многочисленных зрителей. С упреками. Страх и упрек — они ведь рядом стоят.

Удивительное дело, до чего же грамотен у нас народ! Все тебе на пальцах с ходу разъяснят: и как учить, и как лечить, и как тушить. Тушить мы, конечно, не умеем. Да еще и каноны нарушаем, общечеловеческие. Обязательно сердобольная тетушка упрекнет:

— Сынок, что ж вы живого человека вперед ногами выносите? Грех это — бога гневить. Прямо как нелюди какие!

А ведь правой себя чувствует, потому как действительно права: мы выносим пострадавших ногами вперед. Во-первых, так физиологически удобно: первый хватает под коленки, второй — под мышки, обеспечивая надежную фиксацию даже самого тяжелого «клиента». Во-вторых, у нас же баллоны за спиной! Потаски пострадавшего головой вперед — голову ему баллоном качественно травмируешь в дополнение к уже полученному отравлению или ожогу. Еще нюанс: если пострадавшего тащишь через задымление, то надо обезопасить его от воздействия токсичных продуктов горения. Потому второй натягивает запасную маску на лицо пострадавшего, деля с ним воздух из своего аппарата. Но аппараты они разные бывают. Не ко всякой модели прилагается запасная маска. Тогда отдаем пострадавшему свою. Глубокий вдох — и бегом, задержав дыхание. А не хватит дышалки — цапай на бегу скучными всхлипами «воздух», на две трети состоящий из дыма, да молись, чтобы дым попался не плотный, не черный. И пока будешь выкашливать из легких копоть, родственники или сосед твоего спасенного непременно обругает тебя, козла-нехристя, за то, что вперед ногами живого человека волок. Вот послать бы этих знатоков христианских канонов по известному краткому адресу, а нельзя. Во-первых, кашляешь, во-вторых, грех на погорельцев злиться — у них ведь стресс. А ты на работе. Вот и работай.



К нашему профессиональному празднику (раньше его 17 апреля отмечали, теперь — тридцатого отмечаем, апреля, ага, по новому стилю, типа) журналистские десанты высаживаются в пожарных подразделениях, некоторые даже сутки с нами отдежурить отваживаются в надежде, что все про нашу профессию и нашу пожарную психологию поймут. Нам не жалко, пусть дежурят, места в боевых машинах сейчас много. В результате всех и всяческих реформ и «оптимизаций структуры», больше похожих на эксперименты над живыми людьми, наши караулы изрядно «похудели» численностью. До 1994 года численность дежурного караула, вместе с диспетчером и начальником, доходила до шестнадцати человек. Сейчас — едва десяток набирается, с большим трудом формируя на пожаре одно лишь звено газодымозащитной службы, — ту самую тройку мужиков в противогазах. Вместо полнокровных боеспособных караулов наши машины возят воздух. То-то народ удивляется: стоит табун пожарных машин и горсточка мужиков корячится возле двух-трех автоцистерн. Смешно? Это хорошо, что смешно, — все позитив. Мы и сами посмеемся. Каждый из нас должен теперь быть универсалом — по задумке реформаторов. Мы и тушить должны блестяще, и на воде помощь оказывать, и ДТП разгребать, и кошек доставать с деревьев, и сосульки сбивать с крыш. Такая вот эскадрилья конных водалазов под старым брендом «пожарный караул». И от нас жаждают перманентного 24-часового подвига, однако всем известно, что пожарные сутки спят — трое отдыхают. А еще приезжают поздно, пьяные и без воды. Мы привыкли, мы давно уже не обижаемся и не доказываем никому ничего. Просто работаем. И охотно слушаем анекдоты о себе, героических парнях.

— Алле, это пожарная?

— Пожарная.

— По адресу Матросова, 27, под балконами третьего подъезда я в прошлом году посадил коноплю. Выросла под два метра, но не вытыривает. — Диспетчер сбрасывает трубку. Снова звонок.

— Алле, это пожарная?

— Пожарная.

— По адресу Матросова, 27, под балконами третьего подъезда я и в этом году посадил коноплю. Выросла полуметровая, но вытыривает!!

— Молодой человек, прекратите свои неумные шутки, вы загружаете оперативную линию!

— Эй, пожарная! Не бросайте трубку! По адресу Матросова, 27, как раз в третьем подъезде, пожар. Вы, когда тушить приедете, коноплю мою не потопчите!

Анекдот с бородой. Тогда — другой анекдот, его только в нашем гарнизоне знают. Потому что сами были действующими лицами. Длинный ряд добротных деревянных домов, палисадники, грядки картофельные — все как положено. Лето. Июль. Сухо и ветрено. Две бабульки «уговорили» на пару, по-соседски, полторашку самогоночки. Начали, как водится, молодость вспоминать. Ну и одна обвинила другую (обе уж давненько вдовствуют) в том, что та подолом перед енным мужем-покойником («царство ему небесное, кобелине, прости господи») вертела-вертела да до греха и довертела, соблазнила. Обвиненная соседкушку пинками из дому вышибла, вослед оскорбляя всячески, и погрозила отомстить. И отомстила: облила керосином свой дом и подожгла, чтобы головешки ветром на дом обвинительницы летели. Головешки и полетели. Полетели и пожарные машины. Да вот незадача: сельская улица узкая, дома ставнями на реку красуются, подъехать можно с одной лишь стороны. А там, преграждая дорогу, куражится пьяная старуха, то вилы выставляя, то дергая с плеча мужнину берданку. Кому охота на вилы напороться? А пулю получить? — хрен знает, пустое ружье или заряженное? Обшивка второго дома и кровля уже схватываются, подпаленные головешками. А машины притормозили перед вооруженной мстительницей. И тут обвинительница, не желающая без крыши остаться, предлагает выход:

— Сыно-о-ок, не жалею моей картошки — давай прямо по грядкам!

Обе машины и двинули по картофельным грядкам, как хозяйка предложила. Дом отстояли, но огород, разумеется,

был загублен. Через два дня на стол начальника части приземлилось заявление: «требую возместить мне ущерб, который ваши пожарники причинили, затопив картофельные грядки и поломав кусты малины и смородины черной». Вот такое доброе, душевное спасибо за спасенный дом. А фразочка прижилась в гарнизоне. Очень такая емкая характеристика ситуации, когда на вопрос «Как потушили?» слышишь в ответ: «А, не жалей моей картошки...». И все становится понятно.

...Горит квартира на третьем этаже пятиэтажки. Жильцы из подъезда выбежали, встречают толпой, информируют, мол, в квартире инвалид лежачий, парализованный. Вон его мать и жена стоят. Две женщины, молодая и пожилая, свекровь и невестка. Обе — явно в нетрезвом. У них общее горе: молодой цветущий мужчина, почтительный сын и заботливый муж, парализован в результате аварии, лежит пятый год. На фоне общего горя нашли и общий язык — пили вместе, на две пенсии: свекровь — трудовую и мужнину — инвалидную. Инвалид был трезвенником. И такое порой случается. Получив (от соседей, ибо дамы были, мягко говоря, в шоке) четкие указания, где именно искать лежачего, звено в темпе рвануло в горящую квартиру. Прикрыв инвалида одеялом, на улицу вытащили прямо на матрасе и, не теряя времени, приступили к реанимационным мероприятиям. Успели впритык. Потому удалось завести сердце буквально на второй минуте. Еще через пару тройку минут пострадавший открыл глаза. Двухголосый вой «да на кого ж ты нас покину-у-у-ул?» слышен был на весь квартал. Кто бы остался равнодушным к такому громогласному горю? Добрый человек, начальник дежурной службы пожаротушения, как самый галантный и контактный джентльмен, отправился успокаивать.

— Милые женщины, — проникновенно начал товарищ майор. — Не надо плакать. Все хорошо, все страшное позади. Видите, вот «скорая» подъезжает, сейчас в больницу вашего повезут, он жив! Все хорошо.

— Как — жив? — обе разом перестают рыдать. — Он же не дышал!

— Дак мы же помощь ему доврачебную оказали, откачали, — уверяет товарищ майор, полагая, что тетки рехнулись от горя и просто поверить боятся в счастливый финал.

— Откача-а-али? — дикой рысью прищуривает глаза несостоявшаяся вдова. — Кто тебя, сука, присил, а?..

Дорого обходится джентльменство, ничего не скажешь. Товарища майора у двух разъяренных баб отбивало вшестером, с помощью участкового милиционера. Как потушили? Да «не жалей моей картошки»... Покушение на убийство доказать не удалось. Не удалось пристегнуть и оставление в опасности заведомо беспомощного человека. Причина пожара так и осталась — «неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии»...

Мы любим свой отмененный день пожарной охраны — 17 апреля. Отменен он потому, что советские у этого праздника корни. Именно 17 апреля 1918 года председатель Совнаркома Ульянов-Ленин подписал декрет «О государственных мерах борьбы с огнем». Впервые за всю историю существования пожарного дела ему был придан статус государственной заботы, государственного порядка и государственного контроля. Но то была неправильная, искаженная, тоталитарная демократия, теперь всю кривизну выпрямили. Теперь каждый регион (как в царское время) самостоятельно должен обеспечивать противопожарную защиту населения и территории. Государству же оставлен только контроль. Все правильно. Нечего халявой пробавляться. Да и не видно из Москвы, что горит у вас в Туле, Уфе или Саратове. Ну а коли вам виднее, то вам и тушить. Непробиваемая логика. А вместе с новой логикой и новым порядком — и праздник профессии новую прописку получил, 30 апреля. О семнадцатом помнят «старички» и ветераны. Потому и стараемся отпраздновать по-семейному несуетно. Банька, водочка — вот и весь релакс, братка, вот и весь релакс. Как и после крупных пожаров, — банька, водочка, беседушка. Тут все свои, тут не надо выбирать выражений, тут не надо героические латы на себя натягивать — тут тебя поймут и не осудят...

Первый тост, как водится, за любовь, за дружбу и за пожарную службу. Второй —



за сухие рукава для тех, кто сегодня в карауле. Третий — за тех, кто не вернулся с боевого дежурства. Он, третий, не произносится: просто встают все разом, пьют не чокаясь, стоят молча минуту. Мысленно, как четки, перебираем имена... И — святое дело — перекурить. Потом уже само как-то сворачивает на воспоминания. Мы ведь все помним, до мелочи. И через полтора десятка лет способны накидать план объекта, который тушили. И кто где стоял, и кто командовал, и что приказывали, и чем все это кончилось...

Впрочем, чем же еще все это может кончиться, если «непотушенных пожаров не бывает»? Ликвидацией, конечно. Ликвидация, правда, не означает окончания работы — после нее идут проливка и разборка. Но это уже не важно, хоть и проковыряешься на разборке руин и проливке тлеющего хлама остаток суток, а то и следующие прихватят сменщики. Главное — «ликвидировано» в эфире прозвучало. Значит, можно выдохнуть. Как бы с облегчением. Хотя, опять же, по-всякому бывает после ликвидации. Май девяносто третьего мы вспоминаем часто. Теплый был май, сухой. Детишки в предчувствии близких каникул все больше времени на улицах проводили, забавлялись, выжигая сухую траву. Ох и накатались мы тогда, с пожара на пожар, дробными силами, по пять человек, сутки через сутки дежурили: людей не хватало на обычный режим сутки через трое. Вот тогда и правда бывало — без воды приезжали. Цистерна — тот же самовар, вылили две с хвостиком тонны — и по новой запрапляться ехать. Если поблизости ни гидрантов пожарных нет, ни пожарных водоемов. Разруха уже стояла на пороге, но мы еще держались — на взаимовыручке, дисциплине и боевом уставе. А население, предчувствуя очередную волну тотального дефицита, запасалось впрок нужными в хозяйстве вещами.

...Вызов был типичный, с истерикой и надрывом:

— Ой, скорей приезжайте! Сараи у нас горят, так горят — аж на доме обшив-ка трещит...

— Адрес назовите, пожалуйста.

— ...Да скорей же! Сгорим ведь все!!!

— Адрес ваш назовите!

— Да стекла лопаются уже, где ж ваши пожарники?!..

Это не редкость, к сожалению. Люди, находясь в шоке, забывают и свои имена, и свои адреса. Да и время, которое тратят на дорогу пожарные машины, течет по-разному. Для пожарных — в реальном режиме, для людей, которые ждут пожарных, время растягивается, удлиняется, а то и вовсе останавливается. Но только — время ожидания. Другое время — развития пожара — летит. Оно и правда — летит. По деревянным конструкциям пламя распространяется со средней скоростью 2 метра в минуту. По обоям, по пластику, по отделке модной — до пяти метров в минуту проходит огонь. Стандартная трехкомнатная квартира полностью выгорает за 15 минут. Так что мы не обижаемся, когда наш приезд приветствуется исключительно матерно. Как поется в одном нашем кустарном пожарном творении:

Население встретит ласково,

Как обычно — отменно вежливо:

Иде, мол, шляется?! Ждем вас час уже!

Вас бы только гонять за смертушкой!

На дискуссии нету времени.

Снова гасим обиды сполохи.

У беды и у нашей профессии —

Одинаковый корень все-таки...

Горели дровяные сараи, под крышу забитые аккуратно напильными поленицами. Но дрова — полбеды еще. Запасливое население на всякий случай затаривалось пятилитровыми газовыми баллонами, которые хранились, разумеется, в сараях. Мы никак не могли задавить этот проклятый огонь, потому что не один был очаг, — то тут, то там периодически глухо «хлопало»: лопался от жара очередной баллон-зачачка, гордо вознося над дымным одеялом флаг огня. Возникал новый очаг, и так раз уже, наверно, пятый. Мне пришлось обеспечивать тыл — распределять площадки для маневра пожарной техники, отыскивать дополнительные водосточники: водопровод не справлялся с таким мощным водоразбором, одновременно до двадцати загораний тушили тогда по городу. Не мощные струи лупили из стволов — хилые ленточки брызгали. Заливать бы это пламя метром с пятнадцати,

но не долетает вода под сниженным давлением. Словно посреди плотной деревянной застройки свернулся такой огромный многоголовый Каа и гипнотизирует-издевается: «Бли-и-и-ж-ж-ж-ж-же, бандерлоги, бли-и-и-ж-ж-ж-ж-же»... Чумазые бандерлоги, периодически поливая друг друга для профилактики перегрева, придвигались. А иначе как быть-то? Вот он, твой персональный ад — тут тебе и выжигать грехи твои, бандерлог ты законченный. Даже не столько сараи потушить было главным тогда — не допустить разлета головешек, а следовательно, загораний двенадцатиквартирных двухэтажных деревяшек, обступивших плотненько эти сараи-склады. Вот и корячились. И я кругом виновен, ибо главной задачи, бесперебойной подачи воды, никак не получалось обеспечить. Хоть разорвись. Где-то там в верхах грозный начальник областного управления пожарной охраны тряс за грудки управляющего «Горводоканалом», требуя поднять давление в сети противопожарного водоснабжения. Управляющий приводил свои аргументы: сети старые, гнилые, поднять давление до требуемого — огрести кучу аварий, оставить город без воды. Вот и сошлись — вода и пламень. Это вот и есть классическая безвыходная ситуация: когда каждое принятое решение хуже предыдущего, а выбор решений — крайне ограничен. А тут вообще дилемма вырисовывалась: либо полгорода спалить, либо оставить город без водоснабжения. И каждый начальник — прав. И каждый — вроде интересы горожан отстаивает. Классическая, пардон, задница...

На планшете был обозначен пожарный водоем, ох как пригодились бы нам те полтораста кубов, которые теоретически были обозначены на «водяном» планшете! А практически водоем был завален дровами — разгрузил очередной хозяйчик машину «стульчиков» прямо на горловину водоема. От такой преступной тупости запасливых хомячков да от собственного бессилия взвыть в голос хотелось. Да еще эта толпа числом под сотню, глазевшая и комментировавшая, галдевшая, словно в балагане, раздражала невероятно. Мы задолбались отгонять разновозрастных детей, почтенных домохозяек и праздноша-

тающихся мужичков от привлекательно-го, с их точки зрения, действия.

Ничто так не привлекает человека, как вид текущей воды, горящего огня и наблюдение за работой других. Вот почему пожар — идеально привлекательное зрелище для зевак.

Невозможно объяснить зрителям-обывателям, что пожар — это процесс *неконтролируемого* горения, что обстановка может меняться *резко*, что это — чертовски опасно, наконец. Не внемлют, не воспринимают, лезут в первые ряды. Случись чего — виноваты опять будем мы. Не обеспечили безопасность зевак. И ни одна сволочь не поспешила, как ни призывали, помочь расчистить горловину пожарного водоема. Пришлось отвлечь двоих водителей пожарных автомобилей, нарушение, конечно, да где ж взять рабочие руки, когда все стволами да ломами шустрят. Втроем расшвыряли эти чертовы дрова, поставили цистерну на водоем, дали воду в магистраль, нещадно насилуя насос старенькой автоцистерны. Ну, с водой стало повеселее. Вскоре мы уже передали локализацию, затем — и ликвидацию. Два часа жили тянули, но таки потушили, не допустили перехода огня на жилье. А сараи — ну, дрова купить все же легче, чем новую квартиру, правда?

Устали чертовски, хотелось пить, хотелось переодеться в сухое. Потому процесс проливки решили ускорить: скрутить стволы да и шугануть из рукава на прямую. И разбирать не надо — дровишки сами по «реке» поплывут. Они и поплыли, разваливая заботливо сложенную поленницу, в середине которой, тщательно укрытая от постороннего любопытства, пряталась захоронка на «черный день» — двухсотлитровая бочка бензина, вздувшаяся уже до критического объема, — рвануть могла в любой момент. Мы два часа ходили в обнимку со смертью. Есть такая команда — «Все стволы на меня!». Счастливцев тот пожарный, кто никогда ее не слышал, трижды благословен тот РТП (руководитель тушения пожара), которому за всю службу ни разу не пришлось произнести эти слова... Мы все на том пожаре ходили ярко-красномордыми, разрисованными полосами и пятнами копо-



ти. Казалось, этот «загар» долго будет пламенеть на лицах. Глаза отказывались верить увиденному: РПТ побледнел до синевы, отчего полосы копоти на лице приобрели глубочайший угольный цвет. «Все стволы на меня!» — эту команду выполняют рефлекторно, без раздумий. Наверно, это было зрелищно, наверно, это и есть великая удача телеоператора, — такая яркая феерическая «картинка», когда в каждой капельке дрожит и искрится маленькая радуга... Было не до красоты — я видел лишь перекошенное, искаженное дикой судорогой лицо РПТ и безобразно раздутую бочку, исходящую паром под перекрестными струями воды из пяти пожарных стволов. Мы не успели бы отскочить. Мы не успели бы отодвинуть эту плотную массу зевак, которые с любопытством наблюдали и комментировали. Нам всем хватило бы, рвани эта бочка... Это только в кино непобедимый герой летит в отчаянно-красивом прыжке на фоне огненного вала — рапидом снимают, с замедлением, нагнетают сладковатого сиропного ужаса. Только не страшно это — в кино ведь всегда побеждает «хороший парень», приземляется, эффектно кувыркнувшись, и бодрым шагом отправляется спасать мир. В реале — долетели бы лишь обугленные окорочка. В лучшем случае...

Наши ангелы в тот день не брали выходной — хватило воды охладить закипавший бензин, взрыва не произошло. Хозяина заныканного дефицита отыскать не удалось: никто не признал бочку своей. Мы собрали ПТВ и вернулись в часть — переодеться в сухое и пообедать. Еда в глотку не лезла. Пили чай, курили и молчали. Через час отправили отделение на поддежуривание — мало ли, могла и разгореться где-нибудь недобитая искорка. Тлеющих угольков мы не обнаружили. Как и бочки с горючкой. Нашелся, значит, хозяин. Принял меры. Поди тут докажи теперь что-нибудь...

За ангелов своих терпеливых мы обязательно принимаем по полной. Туго нам без них было бы. А вот интересная хрень: в ангелов-хранителей мы верим как в данность, порой критикуем их за раздолбайство (когда напарываемся на пожаре, не фатально, но чувствительно), однако канонически верующих среди тушил я чего-то не припоминаю. Не то чтобы мы отри-

цаем существование бога или дьявола — просто кристальная вера воцерковленного человека никаким боком не совмещается с тучей наших суеверий. Вот в суеверия мы верим крепко: наши приметы никогда не подводят. В последнюю смену перед отпуском никто не станет чистить каску с боевкой. После отпуска никто не выйдет на смену в новой амуниции и уж ни за какие коврижки не наденет новые сапоги: накличет сложный пожар. Грамотный служака-водитель никогда не примет у коллеги не отмытую после пожара машину. Если ты делился с пострадавшим своей маской, а человек все же не выжил, умер в больнице, — маску заменить, спишут, как и краги, в которых таскал умертвля. Дурные затраты, скажете вы, да и говорите. Толковый старшина пожарной части (как правило, сам из тушил, не получивший на очередной диспансерной комиссии от медиков допуск категории 1 по состоянию здоровья) имеет в кандейке свой «суеверный» запас.

Есть у нас безотказные благие приметы. Есть любимые сапоги, счастливые каски, вещички-обереги. Друг мой, помощник начальника караула, старший прапорщик (такие мужики, сорокалетние опытные тушил, собственно, и являются надежным фундаментом пожарной охраны, особенно если начальник караула — вчерашний лейтенант-выпускник), тушил как-то летнюю кухню на частном подворье. То лето выдалось тоже сухим и жарким, дерево пересохло — к прибытию подразделения кухня, как мы говорим, «стояла свечой». Газовый баллон объемом 50 литров, частично уже использованный (что только повышало опасность взрыва), находился, как и положено, снаружи. Но при таком значительном развитии пожара утешеньем это было слабым. Магистральную линию тянули от реки, с пожарного пирса, метров 200 расстояние до горящей кухни. В распоряжении лишь одна цистерна (вторая — на пирсе), от нее и подали два ствола, воды достанет лишь минут на 5-7 работы. Тут важнее всего — принять грамотное решение, наиболее эффективно распорядиться этими пятью минутами. «Ствол — на баллон, ствол — на меня!» — скомандовал помначкара, друг мой Сашка, и шагнул к баллону, натягивая вторую пару краг, чтобы не жечь

до костей ладони. Трех минут ему хватило, чтобы отсоединить уже слегка «приварившийся» к арматуре редуктор. Катить горячий баллон нельзя — только волоком тащить, предельно аккуратно, не трясти, дабы не нарушить хрупкое равновесие внутреннего давления. Двое бойцов-ствольщиков сопровождали на должном удалении, стараясь лить Сашке на руки. «Стволы на баллон, мудаки!» — рычал прапорщик. Не до береженья ладоней, когда в любую секунду можешь взлететь и рассыпаться по округе десятком фрагментов. (Неаппетитно — да правда ведь.) Баллон был благополучно оттащен в дальний безопасный угол территории. Тут и вода в цистерне закончилась, и лупанули тугие жгуты из разветвления-рака от проложенной магистрали. И баллон остудили, и дом с баней отстояли. Кухня, конечно, сгорела — тут уж ничего не поделаешь, меньшим приходится жертвовать во имя большего.

Крепкая не по годам старуха-домовладелица все это время стояла в дальнем углу своего хозяйства, у забора, держа в раскрытых ладонях что-то непонятно-темное, и сухие коричневые губы беспрестанно и беззвучно шевелились. Сашка рассказывал, что ему, на удивление, было совсем не страшно. И штанишка, что характерно, — не намочла, как это обычно случается. Рефлекторно это случается. И практически у всех в подобных ситуациях. А тут — и сухо и не страшно. И бабуля не истерит, не мельтешит, не указывает, в обмороки не падает — стоит себе в уголку, шевелит губами. Спокойная...

Когда все закончилось, когда разложили ПТВ по отсекам машин, скатали мокрые рукава, перекурили, проплевались, просмеялись, Саня подошел к хозяйке, чтобы записать необходимую информацию для составления акта о пожаре. (Пожар — это не только боевая работа, это еще и хренова туча всяческой писанины.) Хозяйка четко и внятно отвечала на вопросы, а Сашку раздрало любопытство: что за непонятный предмет у нее в руках? Почти черный, похоже, металлический, толстый. Чуть меньше ладони размером... И интересно жуть как, и спросить почему-то неловко. Когда Саня уже упрятывал блокнот с записями в карман куртки, бабушка, словно почуяв его невы-

сказанный интерес, спокойно сообщила: «Я молилась за тебя, сынок. За святое дело ты встал — да сохранит тебя Господь в целости телесной, в покое духовном. Возьми-ко вот, на береженье». И развернула тот непонятный предмет, что все время держала в ладонях. Это оказалась древняя медная икона-триптих, потемневшая до того, что отштампованные лики с трудом угадывались. Бабушка ловко отсоединила составляющие и протянула Сашке среднюю часть триптиха.

— Спасибо, бабушка. Только к чему мне? Я ж даже и не крещеный, вряд ли мне икона поможет.

— Благословение Господне поможет всегда, — убежденно произнесла бабушка. — Нешто скажешь, не помогло нынче? — Саня припомнил и сухие штаны, и отсутствие страха. И скорость, с которой потушили этот пожар. Покосился на мирно лежавший в дальнем углу баллон. Все свидетельствовало в пользу бабулиной правоты и веры. Однако, предчувствуя жесточайшие насмешки, которыми одарят его любопытно наблюдавшие за сценой сокараульники, Саня сделал еще одну попытку отказать:

— Бабушка, иконка, наверно, старая, ценная. Ей лет сто, наверно. Я не могу такую ценность принять. Да и вам она дорога, мне совесть не позволит, нехристю.

— Иконке этой за четыреста годков, сынок, — спокойно парировала старуха. — Наш род из каких только бед не выручала. И сейчас вот — выручила. Не гневи Бога, прими, когда от души дар. Только чистить не вздумай — как есть, так пусть и будет с тобой.

Сашка взял тяжеленький, темный, странно теплый прямоугольник, положил в нагрудный карман, поблагодарил неловко. Старуха с достоинством поклонилась и троекратно перекрестила отъезжающие автоцистерны.

В дороге Сашкино второе отделение вдоволь наштуилось по поводу подарка. Друг мой, вопреки обыкновению, не отругивался. Ребята вскоре перестали юморить — не интересно, когда оппонент молчит. Зато в части, на пересменке, когда сдавали дежурство, зубоскалили уже два караула. К Сашке намертво прилепилось погоняло «Святой нехристь», со време-



нем утратившее вторую часть. Кличка Саню, честно говоря, подбешивала порой, потому он огрызался излишне резко. Мол, лучше уж Святым ходить, чем Паленой жопой, как некоторые (ага, было дело, было: попал боец под взрыв форсунки подогрева на участке лесохимического производства, 400-градусным «утюжком» приласкала его взрывная волна — боевку вплавило в кожу, отдирали со спины под наркозом, а прозвище на память осталось о том пожаре). Я вот, кстати, Генке слегка завидую. У него эдакие фасонно-узорные ягодицы получились, не стыдно в бане такой отметиной пошверкать. А мне, когда мебельную фабрику тушили, обидней всех не повезло. Рванула емкость с мебельным лаком, нас расшвыряло метров на семь. Ну, кому лицо припало, кто руку сломал, а меня с разгону шмякнуло о створку заводских ворот, аккурат задницей на сварной засовище. С месяца просидел на больничном: невозможно было на ногу наступить, седалищному нерву хорошенько досталось. Да с полгода еще прихрамывал на правую. Вмятина на заднице, люмбалгия хроническая — тоже память, правда, не хвастанешь в кругу коллег. Но и за то спасибо, что погоняло не прилепили, а то ходил бы с какой-нибудь ахтунговой погрехухой, типа «Дырявой жопы»... Не, на фиг-на фиг, лучше уж Паленая! Не говоря уж о Святом.

Иконку Сашка с дежурства домой принес, показал жене. Любана рассудила мудро: мол, от доброй души даренное во благо и будет. И сама положила мужу во внутренний карман камуфляжки, когда на следующее дежурство собирала, старинную медную иконку. Лишь месяца два спустя подметили в части странную закономерность: все три караула горят, как залеченные, по два пожара за смену — обязательный минимум. А четвертый, Сашкин, обходят пожары. Если и выезжают из расположения части, то только на проверку исправности водосточников, объезд территории или поддежуривание после чужих пожаров, да и на тех работать не приходится, не разгораются. Вот ведь чудо! И Сашкино погоняло — Святой — приобрело другое звучание, уважительное. Начальником части в те поры был пожарюга в третьем поколении, жестко-

ватый, несуетный, очень грамотный профессионал, не сентиментальный ни разу, но к суевериям и приметам относившийся с должной почтительностью. Наполучивший «на коврах» у начальника немало кренделей за возросшее количество пожаров, товарищ подполковник подумал на досуге да и принял нестандартное решение: «одолжить» Святого с оберегом во второй, самый напряженный караул. Издал соответствующий приказ и объявил на разводе: вот, мол, грешники, Святого вам на оздоровление оперативной обстановки. Шутки не получилось: замученные тушили смотрели с надеждой. Смешно, но эти сутки они провели в расположении части: не было пожаров.

Работать, пусть и временно, в чужом карауле — не сахар. Каждый караул — это ведь семья, со сложившимися привычками, подначками и, самое важное, устоявшимися рабочими «связками», когда не надо говорить, когда понимаешь по жесту, по взгляду. Такие связи приказом не передаются, они шкурами палеными, костями ломаными, связками рваными нарабатываются. В общем, кочевать по другим караулам — неуютно, морально некомфортно. Пробовали иконку на разводе передавать, как палочку финишную, на удачу — не работает! Только в комплекте со Святым Александром. То ли так крепко было благословение бабкино, то ли и правда намоленность иконы роль сыграла немалую, то ли этот оберег снимал какой-то барьер в подсознании, даря повышенную ловкость, обостренность реакции, но факт остается фактом: из таких ситуаций Сашка на пожарах выворачивался без единой царапины, что это похоже было на чудо. А еще — благодать свыше волной распространялась. И без иконки у друга моего лично им спасенных людей было немало (а спасенных в составе звена я даже в расчет не беру), одних детишек — 15 душ мы к сорокалетнему юбилею Сашкиному насчитали. А за последние шесть лет, перед уходом на пенсию, этот счет возрос более чем вдвое. Все, кого Саня вытаскивал, выживали, даже четырехлетний пацанчик с ожогом тела площадью 60 процентов. Медики считают эту травму несовместимой с жизнью, а вот — выжил! И на благодарности Саня счастлив: когда провожали его на пенсию, делали газету

стенную, простыню такую в половину караулки. Из личного дела отскерокопировали письма матерей, в которых просят начальника части поблагодарить такого замечательного пожарника, да еще в архивах пропаганды порылись — надыбали стопку «заметок о нашем мальчике». Половина газеты из этих благодарностей. Счастливый человек. За это мы тоже выпьем 17 апреля — за счастье, за удачу, за благодарность.

Я вот за 18 лет в пожарной охране ни разу персонального «спасибо» в свой адрес не услышал. Грамотами от руководства, от организаций всяких-разных, чьи объекты тушили успешно, от мэрии, от губернии, от министерства — хоть квартиру оклеивай. Парадный мундир надеть не позорно, у меня там особо уважаемый (понимающими людьми) знак ЛРПО («Лучшему работнику пожарной охраны»), прежний еще. Не новомодный — с факелом который, алый, а не голубой. Часы у меня — наградные, почетные. Погонь нестыдные, статус приличный. А вот... «спасибо» от тех, ради кого жилы рвем, ни разу не довелось услышать. Не почтили такой наградой. Пустяк, да? А мне вот обидно, даже по-детски как-то. Значит, искренне, если по-детски. И так же, по-детски, хочется увильнуть он неприятного — от предпраздничного журналистского десанта. У них, я понимаю, тоже работа. Им, я понимаю, тоже погусарить, как и нам, хочется, фитиля вернуть коллегам по перу, раскрутив какого-нибудь старого тушила на героический эксклюзив. Про награды их интересуется, про спасенных, про ощущения. Что я могу рассказать? Помню ли я своего первого спасенного? Помню.

...Серые клочковатые сумерки — раннее утро такое, предснежное небо, набухшее скорой метелью. Ветер переменный — дымный хвост мотается в разные стороны, засыпая снег хлопьями тонкой сажки. Грязное покрывало на снегу, женское тело на покрывале. На голове — колтун из опаленных, спиральками скрученных волос, вспухшее лицо, приоткрытый рот забит рвотными массами. Мерзкий запах перегара перекрывает все прочие запахи. Пьяная виновница пожара, нередкое явление. Я не умею определять возраст таких пострадавших (до сих пор, кстати, не научил-

ся). Но это и не важно. Не важно даже и то, что самостоятельного дыхания и пульса у нее нет. Важно то, что «скорая» прибывает не скоро: только выехала бригада, по нашим дорогам минут двадцать плюсовать — и то в случае, если водитель хорошо знает район и сможет выбрать короткий путь. А я вот вытащил такую карту: «клиническая смерть». Но клиническая смерть — это не пресловутый «экситус леталис». У пострадавшей еще активно реагируют на свет зрачки — я уже приподнимал веки, светил фонарем. Я вытащил — мне и откачивать, другие заняты. Это сейчас в нашей экипировке есть спецприспособления для искусственной вентиляции легких. Тогда качали дедовским способом, рот в рот. Куском бинта вычищаю рвотные массы из полости рта, насколько смогу дотянуться пальцем, перекидываю тело через колено, стараюсь вытрясти как можно больше вязкой дряни, забившей гортань. Ну, отрываю еще кусок бинта, сворачиваю втрое, накидываю на ее губы и... «вдо-о-ох»...раз-два-три-четыре (ритмично жму на грудину, делая непрямым массаж сердца)...«вдо-о-ох»...раз-два-три-четыре...«вдо-о-ох»...раз-два-три-четыре... Господи, сколько я могу еще выдержать? Желудок подпирает горло так, что я с трудом проталкиваю воздух в собственные легкие. А мне еще в ее легкие воздух проталкивать надо. Как я ненавижу эту пьяную клинически мертвую бабу и черт-те где застрявшую «скорую»!

— Молодца, молодца, — слышу я сквозь вагу одобрение старшего помощника начальника штаба пожаротушения. — Пульс редкий есть. Качай, качай — сейчас пена должна появиться.

— Я н-не могу-у больше, — с трудом подавляя спазм, мычу я.

— Можешь! Давай-давай, сейчас я тебе помогу, минутку подержись. — И исчезает. Может, на минутку, мне кажется, на целую вечность...

...«Вдо-о-ох»... раз-два-три-четыре... «вдо-о-ох»... раз-два-три-четыре... Точно — появилась пена... всхлип какой-то невнятный... Не могу я больше!!! Мягкая сила ненавязчиво перемещает меня вбок куда-то, я упираюсь ладонями в стену дома, слышу «молодца, дышит твоя крестница» — и меня начинает трепать жестокая рвота. Я стою, нелепо раскорячившись, упира-



ясь в стену, и извергаю с каждым выдохом фонтаны кисловатой горечи. Нет никакой радости, гордости никакой нет — за возвращенную жизнь. Нет и стыда — просто безудержная рвота.

— Работнички чертовы! Алкашня гребаная! Ни стыда ни совести, понажрутс до усрачки, твари... За что вам только зарплату платят, да вас, скотов, сажать надо за пьянки!

Вы думаете, это соседи по адресу виновников пожара? Хрена. Это я — пьяная скотина, блюющая вместо того, чтобы героически тушить. Я отлепляюсь от стены, делаю шаг — я сейчас скажу этой женщине, что она ошибается, что... очередной фонтан вылетает чуть не на полметра... Женщина брезгливо отскакивает, продолжая матерно критиковать меня в частности и всю нашу службу в целом...

Что, вот об этом рассказывать любопытным журналистам? Да я скорей удавлюсь. Или вот тоже — любимый вопрос: «А о чем вы думаете, когда человека спасаете?». Хм... Я не думаю, я Киплинга декламирую.

*День-ночь, день-ночь.
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь.
Все по той же Африке.
И только пыль — пыль-пыль
Из-под шагающих сапог,
И отдыха нет на войне...*

И вот этот куплетец гоняю, гоняю по извилинам... пока не сменит меня «скорая», или пока не задыхит самостоятельно мой очередной крестник. Этот ритм идеально подходит к циклу первичной реанимации. И отвлекает от рвотных позывов. Меня мутит как в первый раз. Только когда детей откачиваю — не выворачивает. Но Киплинга все равно декламирую. Тот еще реаниматолог, Киплинг-то...

Еще один бородатый боян: «*Мальчики по вызову. Круглосуточно. Звонить 01*». И песня есть с такими словами. Правда, называется «Первый поцелуй», но мы регулярно нарушаем авторское право. Автор на нас не сердится — наш человек, заместитель начальника отдела службы и подготовки личного состава. Единственная в России женщина на традиционно мужской должности в пожарной охране. Мы

похожи с автором, под копирку буквально. Ее тоже мутит в процессе реанимации, иначе она не смогла бы написать так:

*Выдох-вдох делил ты поровну...
Вот, изрядно запоздавшая,
Твоего увозит «скорая»
На лечение пострадавшего.
И до фильтра, в три затяжки, комком,
Сigaretой причаститься спешишь,
Чтобы с губ скорей стереть табаком
Той, **другой**, прикосновенье Души.
А над городом плывут облака...
И собратья по профессии
Поднесут тебе водяры стакан —
Для душевной дезинфекции...*

Профессиональные поэты и композиторы пишут, конечно, песни о пожарной охране. Только мы не поем эти песни. Они слишком красивые. Слишком плакатные мы герои в этих идеально выстроенных, «идеологически правильных» произведениях. А мы не герои. Обычные мужики, в меру пьющие, не в меру порой матерящиеся, с чувством юмора, с материальными проблемами, с сорванными спинами, с нервами потрепанными. И мы очень привязаны к своей работе. Несмотря на регулярный адреналиновый передоз, на ломовую моральную и физическую усталость, мы очень ценим свою профессию. За то, что только тут мы каждой клеткой уверены, что рядом идущий не предаст, не бросит; сжигая руки, будет держать веер водяной защиты, пока не минует опасность.

*Может, просто острее мы чувствуем
на решающем направлении,
Что иная цена назначается,
что чужой не бывает беда.
Мы не то чтобы люди особые —
это просто такая профессия,
Что, единожды будучи избранной,
забирает тебя навсегда...*

Просто как все... ни тебе пафоса, ни тебе героики — обыденность. Вот такие песни мы и собираем по всему пожарному Интернету, обмениваемся с коллегами, сливаем на диски и слушаем на своих посиделках. И подпеваем. Потому что в этих безыскусных словах и живет правда о нас, круглосуточных «мальчиках по вызову».

«Будем стоять, пока живы!»

По следам фронтовых записок Константина Симонова

«Комиссар 172-й дивизии Черниченко рассказал нам, что лучше всего у них в дивизии дерется полк Кутепова, занимающий вместе с другим полком позиции на том берегу Днепра и обороняющий Могилев. Мы, посоветовавшись, решили ехать в полк утром».

Так начинался очерк писателя Константина Симонова «Будем стоять, пока живы!», опубликованный по случаю 25-летия обороны Могилева в газете «Известия» 19 и 21 июля 1966 года. Первая его часть идет под рубрикой «Из фронтовых записок», вторая снабжена подзаголовком «Комментарий к фронтовым запискам».

Меньше суток К.Симонов с фотокорреспондентом П.Трошкиным пробыли в боевых порядках 388-го стрелкового полка, но события этого дня запомнились ему на всю жизнь. Накануне, 13 июля 1941 года, в тяжелом бою полк под командованием Кутепова сжег 39 фашистских танков.

Да, храбро дрались бойцы полковника Семена Федоровича Кутепова, который послужил впоследствии писателю прообразом героя двух его книг — генерала Серпилина...

Слева и справа от Могилева гитлеровцы форсировали Днепр. Четырнадцать суток шел непрерывный бой. Судя по всему, 388-й полк погиб почти целиком. Симонов считал своим долгом в комментариях к фронтовым запискам назвать хотя бы имена некоторых бойцов, сохранившиеся в его блокноте. Свой очерк о событиях, связанных с обороной Могилева, автор заканчивает следующие

ми словами: «Кто знает, может быть, кто-то из этих людей все-таки еще отзовется».

— Панорама поля боя с разбитыми немецкими танками, запечатленная на фотографии, сопровождавшей воспоминания писателя, показалась мне знакомой. Да и обращение Симонова к оставшимся в живых участникам обороны Могилева подбодрило меня. Словом, послал я ему письмо, — вспоминает ветеран войны уфимец Николай Владимирович Пантелеев.

По прошествии некоторого времени получил ответ:

«Москва, 6 апреля 1967 года.

Дорогой товарищ Пантелеев, извините, пожалуйста, что не мог Вам сразу ответить, — уезжал. Сейчас только что приехал и вновь уезжаю.

Хочу сразу сказать, что я получил ряд писем от оставшихся в живых участников Mogilevских событий. Сейчас я пробую их систематизировать и составить список адресов этих товарищей с тем, чтобы я мог им взаимно сообщить о том, кто из оставшихся в живых откликнулся на мою публикацию, чтобы все они смогли связаться друг с другом. Но это потребует некоторого времени. Так что прошу еще чуть-чуть набраться терпения; видимо, через месяц с небольшим я сделаю эту работу. Тогда Вам напишу и сообщу адреса.

Еще раз простите за задержку.

С товарищеским приветом уважающий Вас Константин Симонов».

Эпистолярное наследие писателя Симонова огромно. Он всегда проявлял необыкновенное чувство такта и уважения к людям, попавшим в поле его зрения.

Чемляков Виталий Михайлович родился в поселке Хэ Надымского района Тюменской области. Окончил факультет журналистики Уральского университета им. М. Горького. Работал в СМИ Свердловской, Тюменской областей и РБ. Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт». Лауреат республиканских конкурсов спортивных журналистов. Член Союза журналистов России.



Письмо на имя бывшего фронтовика Пантелеева — еще одно тому свидетельство.

Письма, приходившие в ответ на его выступления, посвящали писателя в тайны еще не раскрытых судеб и подвигов. К сожалению, переписка писателя с одним из тех, кто грудью встретил врага под Могилевом, прервалась в самом начале. Но высказанное К. Симоновым еще при жизни пожелание, чтобы фронтовики-ветераны смогли связаться друг с другом, исполнилось.

В результате предпринятых розысков Н. В. Пантелеев, спустя более тридцати лет после тех памятных событий сорок первого года, получил весточку от бывшего полкового комиссара Л. К. Черниченко, по совету которого К. Симонов с фотокорреспондентом выезжали на участок обороны 388-го полка. В письме к нашему земляку Л. Черниченко, в частности, замечает: «11—13 июля 1941 года, Вы должны помнить, были самые сильные бои с главными силами танковых войск Гудериана».

Как же не помнить такое! Именно 13 июля был убит начальник штаба 200-го отдельного артдивизиона Беляев и его, новоиспеченного выпускника Подольского артиллерийского противотанкового училища, командира взвода лейтенанта Пантелеева назначили на эту должность. Их артдивизион был придан 388-му стрелковому полку и находился на самых танкоопасных направлениях.

...Николай Владимирович вновь и вновь обращался к роману К. Симонова «Живые и мертвые». Многие страницы книги воскрешали в его памяти события июля сорок первого года. Вот, например, такой эпизод.

«Раннее утро. Батарея 45-миллиметровых пушек заняла позицию близ железнодорожной линии Могилев — Осиповичи. Впереди среди деревьев показались мотоциклисты, легковая машина, средний танк. Они были уничтожены. Началась танковая атака. Подпустив гитлеровцев поближе, артиллеристы открыли огонь. Один из танков дернулся, подбитый точным выстрелом, развернулся на 180 градусов. На его корпусе бойцы увидели надпись «Берлин-Москва». Четыре пехотные и танковая дивизии, дивизия СС «Рейх», полк «Великая Германия» и другие немец-

кие части наступали на Могилев. Верховный Главнокомандующий отдал директиву командующему 13-й армии, в состав которой входил полк Кутепова: «Город Могилев сделать Мадридом». По свидетельству маршала Г. К. Жукова, упорная оборона 13-й армии в районе Могилева значительно затормозила продвижение врага на Рославльском направлении».

— Обстановка на участке обороны дивизии была сложной и напряженной, — вспоминал Пантелеев, — нашему артдивизиону приходилось каждую ночь менять огневые позиции, нас выдвигали на самые «горячие точки», где могли внезапно прорваться немецкие танки. Во время одного из таких перемещений вдоль бобруйского шоссе, выбирая место для установки пушек, мы увидели обелиск. Надпись на нем гласила: «1812. Памяти героев. 11 июля 1812 года на сей позиции Фатово-Салтыковка произошел бой русских войск императора Александра I, 7 корпуса генерал-лейтенанта Раевского с французскими войсками императора Наполеона под началом маршала Даву». История повторялась спустя 129 лет чуть ли ни день в день. Мы обнажили головы перед памятью героев, постояли в молчании и вернулись к своим орудиям.

В итоге многодневных боев 388-й полк понес большие потери. Остро ощущалась нехватка патронов и снарядов. К этому времени гитлеровцы овладели Смоленском, подошли к Ельне и угрожали Вязьме. Части, оборонявшие Могилев, оказались в глубоком тылу врага, лишенные поддержки людьми и боеприпасами. В интересах сохранения оставшихся сил командование отдало приказ об отходе.

К. Симонов, по собственному признанию, последние годы занимался дневниками военного времени. Как знать, поживи он подольше, из-под его пера вышли бы фронтовые воспоминания, пополненные живыми свидетельствами участников тех кровопролитных боев, среди которых был артиллерист Пантелеев. Фронтовой писатель и после своей смерти не покинул героев могилевской обороны. По завещанию создателя ярких проникновенных книг о Великой Отечественной войне его прах был развеян на Буйническом поле, где произошла ожесточенная, особо памятная автору очерков

о могилевской обороне схватка с врагом. Там установлен камень-валун, на котором высечена надпись: «К. М. Симонов (1915—1979)».

«Артиллеристы умирают на лафетах» — было неписанным правилом защитников Могилева. Воины 200-го противотанкового дивизиона, как и все, сражались до последнего снаряда. Командир дивизии генерал-майор Романов дал приказ об отходе: «Будем выходить из окружения, просачиваться через немецкое кольцо группами и поодиночке».

Лейтенант Пантелеев, еще находясь в поле, стал объектом охоты двух немецких солдат, которые намеревались взять его в плен. Ведь за пленение офицера гитлеровцам полагалась хорошая награда.

«С криками «Хальт, хальт, офицерен!» немцы устремились за мной, — пишет в своих воспоминаниях ветеран. — Я решил скрыться от них в городе. Забегав во двор шелковой фабрики, я влетел в первые попавшиеся двери и оказался в большом темном без окон помещении, напоминавшем склад. Меня немцам в темноте не было видно, а мои преследователи на фоне открытых дверей проецировались как на экране. Мне ничего не стоило уложить их выстрелами из пистолета. Немцы это прекрасно понимали и действовали с опаской. Постреляв для острастки из автоматов по углам помещения, они удалились. На втором этаже я обнаружил небольшую конторку со старым, с провалившимися пружинами диваном. Кабинет этот имел два окна. Одно выходило во двор фабрики, а из другого был виден крутой берег Днепра, по склону которого густо росли деревья и кустарники, с той же стороны был невысокий деревянный забор в десятке метров от фабричного здания.

Смертельно уставший, не спавший в боевой обстановке несколько суток, я на диване провалился в сон и проспал до поздних сумерек. Проснулся от шума и громкого разговора на немецком языке. Выглянул в окно, выходящее в фабричный двор. Увидел группу немцев, скорее всего из числа хозяйственной команды. Подъехала легковая машина, из нее вышел офицер и приказал, как я догадался, проверить все помещения фабрики. Положение мое оказалось критическим. Дорога была каждая минута. Тогда через

окно в стоящих кругом немцев я кинул гранату, а сам бросился к противоположному разбитому снарядом окну, по водосточной трубе спустился со второго этажа, перемахнул через забор и побежал вниз к Днепру. Сзади раздались крики, автоматная стрельба. Но я под прикрытием кустарников спустился по крутому склону к реке и оторвался от преследователей. Долго шел вдоль берега в надежде найти лодку в прибрежных кустах. Наткнулся на бревно, с трудом столкнул его в воду и на нем, гребя руками, переплыл на другой берег. Ориентируясь по звездам, направился на восток. Пытаясь перейти линию фронта, был ранен».

Залечивая рану, в деревне Желивье Чауского района Пантелеев повстречал группу бойцов и младших командиров своего 200-го отдельного противотанкового батальона, многие из них тоже были ранены. Дав бойцам подлечиться и отдохнуть после непрерывных боёв и скитаний по оккупированной территории, лейтенант Пантелеев из числа бойцов и местных жителей организовал небольшой партизанский отряд, оборудовав в лесу землянки. Но его не покидала мысль перейти линию фронта. В пути Пантелеев заболел тифом. Товарищам удалось поместить его в больницу райцентра Чаусы Могилевской области как местного жителя. Однако у гитлеровцев он попал под подозрение.

Вместе с большой группой местных сельчан он был взят и отправлен на принудительные работы в Германию. Пантелеев поначалу работал на кирпичном заводе у хозяина-поляка в довольно неплохих условиях. Но, совершив побег, из этого «рая» попал в настоящий ад. Им стал концлагерь Ноенгамме в 25 километрах от Гамбурга. Фашистский концлагерь был организован по принципу «уничтожение работой». Узники до изнеможения трудились на полях и в заводских цехах, их гоняли на расчистку территории после бомбовых ударов английской авиации, а с приближением советских войск — на рытье противотанковых рвов. Повседневные будни заключенных — это голод, террор, постоянная угроза жизни. Их могли унижить и избить по любому поводу. В санчасти проводились медицинские эксперименты. В ревири (больничном отде-



лении) лежали люди, которые «даже ресницей не могли пошевелить». Узников сотнями расстреливали и сжигали в печах крематория.

*Эсэсовский ангел-хранитель
Над нами, как демон, стоял
И часто в святую обитель
Без жалости всех отправлял,*

— с горечью писал об этом лагерный поэт. Курский парень нашел в себе силы и мужество три долгих года выжить и не сломаться в этих нечеловеческих условиях.

По мере приближения фронта фашисты начали эвакуацию лагерей, чтобы, как звучал приказ СС-рейхсфюрера, ни один заключенный не попался живым в руки союзников. Тысячи узников концлагерей пали жертвой этой новой волны террора. Ликвидация концлагеря Нойенгамме произошла во второй половине апреля 1945 года, когда английской армией была занята большая часть северной Германии. Лейтенант Пантелеев оказался в составе эшелона, прибывшего в город Фленсбург. Из английской зоны оккупации ему наконец удалось попасть к своим.

И вот у бывшего узника на руках справка о том, что он прошел спецпроверку органами СМЕРШ по первой категории и ему подтверждено звание лейтенанта. Пантелеева направляют на Урал, где он продолжает службу в армии в должности начальника штаба батальона, дислоцированного на станции Алкино под Уфой. Не прошло и нескольких месяцев, как Николай Пантелеев чудесным образом находит мать, брата и сестру, которые были эвакуированы в столицу Башкирии. Здесь же он встречает свою будущую жену, прибывшую в Уфу с заводом резиново-технических изделий из Ярославля. Вскоре офицер демобилизуется и, наконец, начинает свою мирную безоблачную жизнь. Еще до войны, наряду с учебой в артиллерийском училище, Пантелеев заочно закончил Московский статистический институт, получив диплом инженера-экономиста. Николай Владимирович долгие годы работал в тресте «Нефтепроводмонтаж», затем руководил одной из лабораторий нормативно-исследовательской станции объединения «Союзнефтеавтоматика». Как раз тогда состоялось мое первое знакомство с

этим интеллигентным, обходительным, воспитанным в лучших офицерских традициях человеком. Ветеран вел переписку с советом клуба «Вечный огонь», созданного в школе №28 Могилёва. Боевой артиллерист поименно помнил всех выживших в боях за этот многострадальный город однополчан и вел переписку с ними, их родственниками, живущими в России и за рубежом.

А в последние годы ему стала поступать корреспонденция из Германии от сотрудников мемориального музея концлагеря Нойенгамме, где в годы войны содержались узники из России, Польши, Белоруссии, Украины и других стран. Как бывший заключенный фашистского лагеря, Николай Владимирович получил денежную компенсацию от национальных фондов «За обоюдное согласие и примирение», созданных в Германии. С интересом прочел присланную по почте книгу активистов общественного союза «Круг друзей мемориала концлагеря Нойенгамме», где опубликованы воспоминания узников из бывшего Советского Союза. Ведь все, о чем они пишут, он пережил сам.

О ветеранах Великой Отечественной говорят: хорошо посеяны. И в свои 88 лет Николай Владимирович был бодрым и деятельным. Писал фронтовые воспоминания, ходил по своим неотложным делам, ни на кого из домашних не перекладывал своих забот. Сожалею, что нынче мне не удалось поздравить его с Днем защитника Отечества. Сердце ветерана перестало биться в ненастную пору первых чисел февраля. Когда друзья и родственники провожали Николая Владимировича в последний путь, звучала траурная музыка из телефильма, снятого сотрудниками мемориального музея в Нойенгамме. На экране домашнего телевизора по дорожкам лагеря скорбными колоннами проходили сотни убеленных сединами бывших узников из разных стран. Они словно прощались с очередным навсегда ушедшим товарищем. А на алой подушке лежали награды лейтенанта Пантелеева: орден «Знак Почета», орден Отечественной войны, медали Георгия Жукова, «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил».

Воспоминания длиною в жизнь

К 100-летию Ивана Сотникова

«У времени, пронизанном нашим сознанием, есть свои законы, свои тайны и свои прихоти. Оно всеильно и отдаляет, и сближает явления и события, глубоко просвечивая их суть, их главный смысл, обнажать всю диалектику войны, всей жизни, раскрывая свои свойства и парадоксы.

Как искусный ваятель оно способно отсекают все лишнее, необязательное, менее значительное, сохраняя лишь все самое существенное, способно либо ускорять, либо замедлять движение событий, даже как бы замирать и останавливаться. Пробуждая в нас силы ума и души, оно помогает глубже постичь меру человеческого благородства, подвига и меру человеческого падения и несчастья, заставляя нас то восторженно ликовать, то безудержно негодовать, а порой и содрогаться от страданий и неизбежной скорби. И все через память...»

Это первые строчки из незаконченно-го романа-хроники Ивана Сотникова, над которым он работал. Перед своим 80-летним юбилеем 12 февраля смахнул скупую слезу по поводу смерти своего однополчанина и друга из Курска, а 23-го его самого уже не было с нами. Все случилось внезапно. Днем ему рукоплескали в лектории, а вечером это самое «безжалостное время» вдруг остановилось.

«Постичь меру», «восторженно ликовать», «содрогаться от страдания», «все через память»... я могу подписаться под каждым его словом!

Совсем недавно, выезжая на задание редакции, я разговорилась с водителем об Уфимском моторостроительном объединении. Оказывается, в 70-х он работал на этом предприятии. И с каким-то благоговением вспоминал выступления Ивана Сотникова: «Как жарко, вдохновенно он рассказывал о Брестской крепости, о ее героях. Мы начинали видеть

все как будто своими глазами. У меня сохранилась книга писателя. Берегу ее до сих пор».

Вот она – народная память. Я постоянно сталкиваюсь с ней. Коллега из пресс-центра Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги Сергей Спатар как-то радостно принес мне книжку Сотникова из далеких 60-х с личной росписью автора, узнав, что я являюсь внучкой писателя.

Военное поколение – в нем загадка, в нем удивительная статья, в нем – яркая вежа времени. Тому пример и мой дед, военный писатель Иван Сотников. Не устаю им восхищаться. Очень рада, что помнят его добрую и долгую жизнь коллеги, друзья, читатели, стар и млад.

Ведь фронтовик – это практически звание. Человек, побывавший на фронте, уже по-другому оценивал жизнь и ее качества, его поступки тоже были другими. Мне в деде всегда нравился его задорный оптимизм. Его умение доказать, что все, чем он обладает, лучшее – семья, дом, работа, любимое дело.

Да и сам он был самым лучшим – другом, помощником, рассказчиком. Ведь его истории о событиях Великой Отечественной собирався обычно слушать весь мой класс. В эти мгновения все обладали его необъятным сердцем, его верой в прекрасное будущее, его бесстрашием и дерзостью в боевых операциях.

Как он все успевал? Я не говорю о творческой миссии. Нет, просто обыкновенный день: работа на уфимском моторостроительном, выступления как лектора-международника, литературные встречи со студентами и школьниками, помощь конкретным людям (общественная приемная), да еще настоящий любитель-садовод.

А еще он не делал реверансы перед временем – и это тоже качество характера.



Так уж выпало, что его 80-летие пришлось на время оголтелого максимализма по отношению к былым заслугам ветеранов, особенно тех, кто держал в руках сталинские знамена. Бессмысленным, безбожным напором было серьезно обижено целое поколение. И неоконченный роман о 41-м, рукопись, которую он спешил напечатать, грешившая, по мнению обществу, стойким ароматом патриотизма, так и осталась лежать на его рабочем столе.

Еще один штрих к портрету моего деда, писателя Ивана Сотникова, опять-таки качество характера или даже принцип жизни – это «открытое забрало», рука, протянутая тем, кому необходимо помочь. Так, в свое время он привел в литературу много молодых начинающих авторов.

Его любимая песня как никогда хорошо отражает не только его жизненную установку, но и установку всего военного поколения – «Я люблю тебя, жизнь», – помните, такой проникновенный голос Марка Бернеса. Да, эти люди умели лю-

бить жизнь, они научились ее любить по-настоящему в том черно-красном пекле войны, что пришлось пережить, в том стоне и крике страны, в том времени испытаний.

Что удивительно, когда я смотрела на деда, и в его 70, и в 80 лет, меня не пугала возможность постареть, стать невостробованной в этой жизни, посеять грусть в глазах и печаль в сердце. В какие бы переделки ни бросала его судьба, порой очень жестокая, он всегда был солдатом Победы, оптимистом вопреки всем невзгодам, молодым и энергичным до безобразия, как бы назло тайным врагам. Я часто думала: может быть, это война научила его такому противостоюнию. А может быть, ему повезло с учителями, с людьми, которые его окружали в разные периоды жизни. Он не жил для себя, он жил для других.

23.02.1943

Марусеника, родная моя, хоть и далеко, но такая близкая дорогая, любимая! Сегодня сразу получил от вас с дочуркой 3 письма. Очень доволен. Праздник у нас сегодня. А тут столько событий и перемен. Я не могу обо всем написать тебе, но приеду, расскажу, родная моя.

Любимая моя, береги здоровье, не трать нервы по пустякам. Приеду – успокою, заласкаю, расцелую свою родную крошку. Милые мои, у нас такая горячка. Кажется, началось большое дело. Мимо огромные обозы с бомбами. То и дело вылеты. Небо в раскатах. Недалеко часами слышны канонады. Вечером, утром. На западе сплошное зарево, небо все красное.

Родная моя, так хотел бы тебя обнять, приласкать, побыть вместе, поговорить, защитить ласками. Я приеду, мое солнышко, обязательно.

19.05.44. Карпаты.

Родная, хорошая моя! Не писал 6 дней, действовали на этот раз по тылам. Сейчас полк не в боях, во второй линии обороны, в 2 км от переднего края. У нас временное затишье, но оно предгрозовое.

Очень грустим о родных местах. Только тут по-настоящему познаем их цену. Обнимаю, целую дочку. Пиши больше о вас, подробнее.

Я все еще жив и здоров. Воюю, и кажется, не скоро еще конец: так привык, что в родной стихии. Да хоть бы такая стихия скоро и кончилась. Ждем великих событий. Мы тоже не остаемся в стороне и будем их участниками. Обнимаю, целую много, много. Берегите себя.

12.09.44. Карпаты.

Дорогие мои. Вот уже 18 дней мы вночь в непрерывных наступательных боях, в горах. Это трудная и тяжелая война, но наш русский солдат удивительно вынослив, а вся Красная Армия – безотказно действующий механизм. Много сел и деревень, городов, гор, высот и ущелий занято нами. Часто поднимаемся выше облаков, живем в облаках, когда даже днем ничего не видно, а ночью такой мрак, что чернее черни. Но не бывает здесь страшно...

31.10.44

Дорогие мои, хорошие, любимые! Пишу с далекой, далекой земли. Позади Украина, Бессарабия, Румыния. Прошли все Карпаты и Трансильванию. Побывали в Чехословакии. Наступаем в Венгрии, вышли на берега Тиссы. Я долго не писал, были тяжелые бои. Многие воины сложили головы. Но нас окрыляет близость победы. Пусть мы рядом со смертью, но на войне иначе и не бывает.

4.02.45

Дорогие мои, любимые, родные. Представьте, с гор неожиданно мы свалились в долину, стремительным натиском сбили противника, он бежит, и мы захватили населенный пункт. Нам негде было обогреться, замерзли, а здесь тепло, люди, хлеб. Ничего, что потом всю ночь поливала огнем артиллерия противника, мы были все же в тепле, на отдыхе. Сейчас мы перевалили Высокие Татры, самая высокая точка 2662 метра, перевалили в горную пургу. Все ближе и ближе мы к германской границе, скоро будем в Германии.

15.05.45

Дорогие мои, любимые! Вот мы и победили! Поздравляю вас с великим праздником Победы.

16.08.45

Марусеника, одолевает непонятная тоска, смена войны на мир вызвала странную реакцию. Мы так привыкли воевать и не умеем все еще жить мирно.

Я росла без отца, дед для меня был всем. С ним было радостно и светло. Он был только моим. Так же, впрочем, как и для мамы, – самым родным, ближе всех. Она доверяла ему все свои тайны. Самые теплые ее воспоминания: это бор в Алексине, лесная солнечная дорожка, 7-летняя девочка на отцовских плечах – высоко, уютно, маленький человечек чувствует себя защищенным и в то же время парит над землей...

Мой дед и бабушка, Иван да Марья Сотниковы, прожили вместе 57 лет. Они даже умерли в один и тот же год с разницей в несколько месяцев – просто одному нечего было делать на этом свете без другого.

Они для меня живы и сейчас: в делах, в письмах, в предметах и в памяти. И как хочется вновь и вновь прокрутить назад кинолентку жизни. Я перебираю ордена и медали. Здесь и военные, и те, что он получил за трудовую деятельность в мирное время. А я бы наградила его орденом за преданность, храбрую верность однажды избранной семье. Наградила бы совершенно искренне. Думаю, что мои родные были бы со мной согласны...

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ ИВАНА СОТНИКОВА

Иван Владимирович Сотников родился 12 февраля 1908 года в семье рабочего-железнодорожника станции Скурадово Тульской области. Окончив школу, работал ремонтным рабочим, секретарем сельсовета, учителем, инспектором народного образования, директором средней школы и филиала педагогического института. Несколько лет работал в алексинской газете, Тульской области, был специальным корреспондентом газеты «Рабочий Москвы». В 1930 году окончил заочное отделение литературного факультета Государственной Акаде-



мии художественных наук. В 34-м – заочный курс московского института иностранных языков и перед войной – 2 года аспирантуры при Московском пединституте.

Участвовал в защите Москвы, в освобождении Украины, Молдавии, стран Восточной Европы. Был дважды ранен. За военные заслуги награжден орденами Красного Знамени, Кутузова третьей степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени и 2-й степени, орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», а также несколькими польскими и чехословацкими медалями. Завершил войну в звании полковника.

С 1933 года выступает как очеркист, литературный критик и публицист. С 1952 по 1960 г. – ответственный редактор альманаха «Литературная Башкирия».

Наиболее значительными из его книг о войне являются дилогия «Днепр могу-

чий» и трилогия «Свет всему свету», издававшиеся в Уфе и Москве массовыми тиражами. Его книга «Немеркнущее пламя» вышла на румынском языке в Бухаресте.

Перу писателя принадлежат и многие другие книги. О вьетнамской войне им написана повесть «Мальчишки из Сайгона». Героическому труду посвящены книги очерков «В кипении будней», «Люблю тебя, жизнь», роман «Время не останавливается». Последний роман «На бой бессмертный» не закончен.

Длительное время писатель работал среди моторостроителей. Их труду посвящены книги «Чудо-камень», «Завод мой – гордость моя», «Наша с тобой биография» (последние две в соавторстве с М. Володиным).

Он немало занимался переводами с башкирского: повести «Станный человек» З. Бишевой, «Родник» С. Кулибая, роман «Майский дождь» А. Валеева.

Мой лес

Воспоминания ученого-лесоведа

ЛЕС ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ Предисловие единомышленника

В период «хрущевской оттепели» замечательный советский писатель Евгений Шварц написал своего знаменитого «Дракона». Потом по этой пьесе Марк Захаров снял фильм с тем же названием и с Олегом Янковским в роли Дракона. После этого фильма тех, кто знает о благородном средневековом рыцаре Ланцелоте, что победил Дракона, стало больше...

Сегодня эрозия почв — один из самых страшных Черных Драконов. Она слизывает своим шершавым языком самый плодородный слой почвы и прогрызает в живой коже Земли глубокие раны — овраги, которые, как метастазы, расползаются по тысячам гектаров пашни. И у нас есть свой Ланцелот — лесовод Юрий Федорович Косоуров. Он «укротил» 200 оврагов и создал более 2000 га рукотворных лесов на месте мертвых рытвин. Ланцелот-Косоуров победил Черного Дракона.

Юрий Федорович — один из замечательных представителей старшего поколения, тех кристально честных людей, для которых интересы общего были во сто крат важнее, чем личные.

Студенческие годы Ю.Косоурова совпали с тяжелым периодом советской биологии. В 1948 году прошла печально-знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой Т. Лысенко и «мичурунская биология» одержали «победу». Пять лет до этого в тюрьме умер великий генетик Н.И. Вавилов. Настали смутные времена, когда нельзя было говорить о том, что наследственностью управляют гены, и о многом другом, что составляет фундамент теоретической биологии. Время было особое, тоталитарный менталитет был силен, а в «лысенковщину» и в «мичурунскую биологию» большинство верило не меньше, чем в товарища Сталина.

Лысенко между тем претендовал на руководство не только всей аграрной, но и лесной наукой. Брался то за одно, то за другое, причем прежде чем до конца проваливалась первая инициатива, уже шумел по поводу второй. Одним из его проектов была широкомасштабная лесомелиорация.

Лесомелиорация — наиболее экологичный вариант влияния на сельскохозяйственные территории, что было известно со времен В.В. Докучаева. И план создания гигантской сети лесополос право на жизнь имел. Но расти лес в степи может далеко не везде (это знаем и мы по Хайбуллинскому району), нужны специальные сложные технологии накопления влаги вокруг лесополос.

У Лысенко всегда все было просто. И на этот раз он принял «творческое решение» — главной лесомелиорирующей породой выбрал дуб и велел сажать его гнездами. В гнездах, по его мнению, молодые дубки помогут друг другу (ведь он отрицал внутривидовую конкуренцию). И, наконец, эти посадки он предложил засеять покровной культурой — пшеницей, чтобы она заглушила сорняки и защищала от них молодые дубки. По его мнению, это было еще и выгодно: при посадке леса не снижалась площадь зерновых.

Вот на долю дипломника Косоурова и выпала сомнительная «честь» рассказать об «успехах» нового способа посадки леса на территории Одесской области. Осмотрев многие гектары посадок, выводы он получил не те, что хотели лысенковцы: покровная культура иссушает почву, дубки в гнездах растут плохо.

Отчет Косоурова лысенковцам не понравился, его долго «таскали», и формулировки ему пришлось смягчить, хотя ос-



новой вывод об отрицательном влиянии покровной культуры на молодые сеянцы он отстоял. Самого Лысенко, кстати, он видел и слышал за эти годы не менее пяти раз. Запомнил, что это был грубый человек, который постоянно всем «тыкал».

Обострения конфликта Косоурову избежать не удалось, и он собрался уехать подальше от «панов» — лесничим в один из районов Московской области. Но его пригласили в аспирантуру во ВНИИЛХ. Научным руководителем его стал крупный ученый-лесовод академик А. Жуков. В 1952 году Косоуров стал аспирантом. Тема его работы была опять-таки связана с «великими преобразованиями природы» — с созданием ветрозащитных лесонасаждений вокруг только что построенного Волго-Донского канала. Ветры там дули такие сильные, что баржи разворачивало поперек канала.

Было ясно, что на таких засоленных и сухих почвах сам по себе лес расти не будет. Разработанная Косоуровым технология посадки включала бороздование и обильный полив по бороздам. Было испытано 30 видов деревьев и кустарников и отобраны те из них, которые смогут расти. Про свою работу в условиях 40-градусной жары Косоуров вспоминает так: «Каждый день выпивал двадцать литров чая — кипятил по четыре пятилитровых кастрюли...».

В 1956 году на заседании Ученого совета, на котором председательствовал В. Сукачев, Косоуров с блеском защитил кандидатскую диссертацию. И его направили на работу в Уфу. Вся дальнейшая биография Юрия Федоровича связана с Уфой и Башкирской лесной опытной станцией (БашЛОС). На хорошего коня всегда грузят много поклажи, а конь из Косоурова был что надо. И работой загружали его постоянно, причем он иногда вел одновременно до трех тем, написал за время работы не менее полусотни пухлых отчетов, десятка рекомендаций, почти две сотни научных статей и опубликовал очень содержательную монографию «Овраги и крутосклоны» (Уфа, 1996. 166 с.). Кроме того, более 20 лет он был секретарем партбюро БашЛОС.

Работая в БашЛОСе, Косоуров очень много сделал по изучению тополей в естественных насаждениях. Он нашел попу-

ляции осины, не имеющей сердцевинной гнили и потому дающей прекрасный материал для строительства домов, и удивительно быстрорастущие тополя-осокори в поймах рек. Выявил он и естественные популяции шиповника с повышенным содержанием витамина С в плодах. Он отыскал в Башкирии так называемую капкорешковую березу, из утолщений ствола которой можно делать поделки не хуже, чем из карельской березы. И все-таки главным делом его жизни было, конечно, почвозащитное лесонасаждение.

Залесенные овраги больше не растут, а воды, стекающие в них с полей, очищаются от твердых частиц и растворенных в них удобрений и пестицидов. Под пологом деревьев и кустарников разрастаются лесные травы. В посадках много птиц. Одним словом, Косоуров залечивал раны земли и создавал в степи оазисы леса с прудами, в которых ловят рыбу, купаются и из которых берут воду на разные хозяйственные нужды.

Юрий Косоуров разработал технологию посадки леса на склонах крутизной до 40°, которые превращались в ступеньки-террасы. Нарезать террасы на крутом склоне — задача не из легких, но Косоуров и его помощники-трактористы делали это с блеском. Он вспоминает, что однажды его рукотворные леса осматривали лесоводы из Канады. Увидев эти ряды деревьев, которые сидят на склонах как зрители в амфитреатре, канадцы сказали: «Не обманывайте нас, вы нарезали террасы техникой на воздушной подушке!» Пришлось разбудить тракториста, отдохавшего в вагончике. И этот умелец показал канадцам, что можно обойтись и без специальной техники обычным гусеничным трактором.

Косоуровские леса — достопримечательность республики, их показывали десяткам делегаций, которые посещали Башкортостан из разных регионов России и многих стран мира. За эти работы Юрий Федорович получил почетное звание заслуженного лесовода БАССР, а в 1991 году был удостоен Государственной премии РФ.

Мне довелось видеть эти посадки уже в конце 1990-х годов. Деревья росли прекрасно, и, что самое удивительное, под их пологом было полно «детворы» — моло-

дых сосенок, лиственниц и берез. Обычно в лесопосадках деревья сами себя не возобновляют, есть даже у нас «теоретики», которые обосновывают это. Похоже, Юрий Федорович знает не только лесную науку, но и какое-то «заветное слово». А может быть, просто прекрасно знает экологию тех видов, которые высаживает, и умеет создать для деревьев комфортные условия.

При создании лесопосадок проявились все лучшие качества Косоурова — ученого и человека, истинного натуралиста, умеющего понять, что нужно дереву, чтобы оно росло, и, напротив, что сделать с овражной рытвиной, чтобы она перестала пожирать пашню. И при этом он всегда оставался «крепким мужиком», умеющим не только расторопно организовать работу, но, если нужно, поработать лопатой и сесть за рычаги трактора.

ОТКУДА Я РОДОМ

В 2008 году мне исполняется 80 лет. С любой точки зрения — это солидный возраст, который диктует необходимость подвести некие итоги пребывания на Земле. Иначе можно и опоздать.

Насколько я знаю от родителей, бабушки и бабушки, «вышли мы все из народа». Дальше третьего поколения мне ничего неизвестно. Знаю, что фамилия произошла от названия строительной детали — косоура. Косоуры — это две наклонные балки, в которые врезаются ступеньки лестницы. Возможно, мои предки были плотники, изготавливавшие косоуры.

Мой отец Федор Иванович по специальности был агрономом, всю свою жизнь работал в сельском хозяйстве. Женился он в 1924 г. на моей будущей матери Елизавете Павловне. В семье у них было пятеро детей.

Родился я в с. Архангельском Ульяновской области в ноябре 1928 г. Это село я не помню, так как отец, работая агрономом, довольно часто менял место работы

А вот доктором наук Юрий Федорович стать не захотел. Не стал тратить на это время. «Лучше еще один овраг лесом засадить!» — отвечал он друзьям и коллегам.

С 1992 года Юрий Федорович на пенсии. Он поселился поближе к своим лесам и прудам в деревне Дюртиули Шаранского района. Хотя в Уфу наведывается часто.

Любит бывать в школах, про лес рассказывать. Как-то спросили у него, почему он так любит свою специальность. И ответил им современный Ланселот: «Вот повар. Какой он ни будь искусник, что бы он ни наготовил, все равно съедят и забудут. А лес, который посадил лесовод, останется навсегда. Он будет расти даже тогда, когда и лесника давно не будет».

Косоуровских лесов людям останется много. О его жизни можно сказать, несколько изменив название одного в прошлом популярного фильма, — лес остается людям.

Борис Миркин

из-за переводов и бытовой неустроенности.

Первые мои воспоминания относятся к 1932–33 гг., когда наша семья жила в райцентре Базарный Сызган (ныне Ульяновская область). Помню железнодорожную станцию, составы с тряпьем — вторичным сырьем для текстильной промышленности. Это были годы начала коллективизации, годы тяжелого материального положения, связанного с недородом и засухой. К нам в дом чередой шли нищие, и мама, подававшая им милостыню, была вынуждена говорить: « Не прогневайся! Больше нет».

Коллективизация шла плохо. Запомнилась частушка, которую распевали на вечерке: «Трактор пашет глубоко, а земля-то сохнет, весь Базарновский колхоз к голоду подохнет».

Дальнейшие воспоминания относятся к райцентру Вешкайма (ныне также Ульяновской области). Мы жили в бывшем барском доме с колоннами, превращенном в коммунальную квартиру. Около дома был старинный парк с липами и сиренью. Он граничил с церковью, обне-



сенной добротной кирпичной изгородью. В церкви постоянно шла служба, и мы, ребята, нередко заходили туда и присутствовали на церемониях, посвященных церковным праздникам, венчанию и отпеванию покойников.

Барский парк для нас, ребят, был местом игр. В старых дуплистых липах гнездились галки, скворцы, другие птицы, и мы собирали яйца для коллекций, выдувая содержимое через отверстия, сделанные на концах яйца. В летние вечера в парке играл духовой оркестр, чаще всего — старинные вальсы.

В зимнее время любимым занятием детей было катание с горки у пруда на лыжах и коньках. Коньков заводского изготовления почти ни у кого не было. Самодельные коньки состояли из деревянного бруска, подбитого снизу полозом из металлического прутка. Подвизывались коньки веревками, стягивались плоской бараньей косточкой. Пруд, на котором катались, был загнившим, из воды выделялся болотный газ — метан, пузыри которого собирались подо льдом, ребята пробивали лед и поджигали газ — образовывались языки голубоватого пламени, отчего опалялись воротники и шапки, а иногда брови и ресницы ребят.

Первым своим знакомством с миром полей, лесов, речек я обязан своему отцу Федору Ивановичу. По утрам мы выезжали на тарантасе, бывали в хозяйствах, где первые тракторы, управляемые еще неопытными трактористами, пахали колхозную землю. Помню, что спрос с них был строгий, — за глубину вспашки, за огрехи, за пережог горячего. Возвращались домой иногда поздним вечером, я дремал, укрытый отцовским плащом. В этих поездках я с интересом наблюдал за встречавшимися птицами, выскочившими на поля зайцами и лисицами. Отец же приобщил меня к рыбалке. Тогда еще человек не очень сильно влиял на природу. Животный мир был богаче, чем сейчас.

Детские впечатления от природы и сельской жизни настолько сильно западали мне в душу, что позже, когда я приехал в Москву и стал учиться в лесотехническом институте, то буквально тосковал по природе. Токование тетеревов, кукование кукушки или даже крик пе-

туха, услышанные в прилегающем к городу лесу, вызывали у меня сладостные воспоминания о детских годах и сельской жизни.

Беззаботное детство быстро закончилось. Это было связано с трудностями жизни. Мы плохо одевались, питание было недостаточным, даже белый хлеб и сахар для нас являлись роскошью. За тем и другим были очереди, их не всегда можно было купить. Да и зарплата у отца была для нашей семьи в 5—6 человек небольшой.

Весь народ жил плохо. Как сейчас помню раскрытые зимой сельские дома. Тогда большинство крестьянских домов крылись соломой, которая в засушливые годы скармливалась голодному скоту. Окна вместо стекла часто были заткнуты тряпками. Отощавших коров держали в морозную пору в избах, которые, как правило, состояли из одной комнаты, где стояла русская печь, стол, лавки, деревянные нары, а над печью располагались полати, на которых всю зиму сидели старики и дети, не имевшие одежды и обуви для выхода во двор.

В летнее время деревянно-соломенные постройки в деревнях часто горели. Один такой пожар, когда сгорела вся деревня, мне пришлось видеть. Погорельцы, взявшись за руки, шли вдоль дымящихся пепелищ с воем и причитаниями. Эта жуткая своей безысходностью картина произвела на меня, семилетнего мальчика, сильнейшее впечатление.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

1 сентября 1936 года я пошел в школу. Учился я всегда хорошо, любил рисовать и вел дневник погоды. Любил, как и все ребята, военные песни, которые распевали на уроках пения.

Особенно запомнился мне 1937 год, который заставил меня быстро повзреть, хотя мне шел только девятый год. Мы оказались свидетелями репрессий, учиняемых работниками отделов НКВД. Началось все с закрытия церкви, ареста священника. Мы наблюдали, как с церкви сбрасывали колокола. Отныне колокольного звона, к которому был

привычен православный народ, больше не существовало. Церковь была разворована, началась разборка кирпичной ограды, разламывание семейных склепов в церковной ограде, где были захоронены, видимо, люди дворянского происхождения. Происходило и разграбление могил на местном кладбище. Тут и там валялись на земле человеческие черепя и кости.

Последовали аресты районных руководителей, обвинявшихся во вредительстве. В здании клуба вершился скорый суд, на котором многие приговаривались к расстрелу. Гнетущая обстановка, ожидание ареста коснулись всех. Осенью 1937 г. мой отец, тогда беспартийный, приказом директора МТС в числе семи человек был объявлен врагом народа и уволен с работы. Потянулись жуткие дни ожидания ареста, семья осталась без средств существования, хозяйства у нас не было никакого. Мы буквально голодали. К счастью, приказ директора был отменен, и все были восстановлены на работе. Все это я переживал вместе с родителями, часто не спал по ночам.

Оставаться в Вешкайме отец не захотел, и мы переехали в Мулловский совхоз, здесь отец работал старшим агрономом, а с начала войны до ухода в армию — директором МТС.

Поселок Ребровской МТС находился в живописной местности недалеко от массивов леса, через него проходила зеленая балка, в верхней части которой были пруд и мельница. Лес делал нашу жизнь интересной и зимой и летом. Зимой — коньки, лыжи, санки, летом — купание, рыбалка, походы в лес за ягодами и грибами. Я рано приобщился к охоте и рыбной ловле. В военные годы ружье и рыбалка спасали нас от голода.

ВОЙНА

Хорошо помню 22 июня 1941 года, речь В.М. Молотова, мобилизацию людей, автомашин, сразу повзрослевших сверстников. Начались долгие и трудные годы военных испытаний, которые заставили заниматься огородами, выращивать картошку. Мы завели корову, овец и кур, что было большой поддерж-

кой при введении карточной системы на продовольственные товары. Уже в 13 лет я научился косить, траву возили на самодельной тележке, сушили, копнили, укладывали в стога. Заготавливали дрова.

С 1943г. я оказался старшим в семье и, естественно, всю мужскую работу пришлось вести мне. Был я маленького роста, помню, в магазине взвешился на весах — вес 39 кг, а было это летом 1944 г., мне шел шестнадцатый год.

Особенно трудно было с хлебом. Его полагалось по 300 г на иждивенца, он был плохой, с добавками. Довольствовались суррогатным хлебом, который пекла мама из сушеных картофельных очистков, перемолотых в ступке, из сушеных липовых листьев, крахмала, полученного из перезимовавшей в поле картошки, колосков, собранных в поле после уборки.

В военные годы резко возросла численность уток, тетеревов, глухарей, лисиц, волков, что, очевидно, было связано с отсутствием охотников. Особенно досаждали волки, разгуливавшие даже днем у дорог, деревень, нередко нападавшие на домашний скот и собак. Часто по дороге в школу или обратно я видел группы волков, бредущих гуськом след в след по полю рядом с дорогой. Темными зимними вечерами и рано утром слышался вой, волки заходили в селения, забираясь в хлева, раздирая в клочья овец и собак.

В весеннее время я любил ловить рыбу на маленькой речке под названием Вырган. Уходил туда с вечера, брал ружье, полущубок и, поставив снасти, разжигал костер, и когда земля под костром прогревалась, отодвигал его в сторону, убирал угли и, надев полущубок, ложился спать. Другим любимым занятием был сбор грибов. Мы хорошо знали съедобные виды: сморчки, строчки, подберезовики, подосиновики, маслята, рыжики, сухие, настоящие грузди, белые, лисички, сыроежки. В урожайные годы собирали лесные орехи (лещину), дубовые желуди, последние подмешивались в хлеб, делали желудевый кофе. И, конечно, близость леса не оставляла нас без малины, земляники, клубники, костяники.

В школе, начиная с 6-го класса, мальчиков стали обучать военному делу. По



достижении 16 лет нас приписали к военкомату, мы прошли медицинскую комиссию, всеобщ по программе молодого бойца. Мы любили свою армию и были патриотами. Многие ребята, не дожидаясь срока, убегали на фронт, иногда их возвращали, иногда они примыкали к войсковой части и становились сынами полков. Мы же ждали, когда исполнится 17 лет, с этого возраста брали в армию. Война закончилась в мае 1945-го. Мне было 16 с половиной лет.

9 мая в райцентре был грандиозный праздник. Вино лилось рекой. Его продавали из больших 200-литровых бочек с помощью литрового черпака, каким обычно разливают молоко. Везде слышались песни, играли гармошки, люди плясали, обнимались и тут же многие плакали, вспоминая не вернувшихся с войны.

Отец мой уцелел. Призванный в 1943г. в армию, он, до того необученный рядовой, был направлен в качестве агронома в подсобное хозяйство Ульяновско-

го танкового училища. Осенью 1945 его демобилизовали и в октябре того же года мы на полutorке, погрузив свой небольшой скарб, переехали в совхоз, расположенный на левом берегу Волги под Ульяновском.

Пролетали последние дни школьной поры. Но вот экзамены сданы, аттестат зрелости в кармане, надо выбрать дальнейший путь в жизни.

ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

Куда пойти учиться? Весь июль я изучал справочник для поступающих в высшие учебные заведения. Родители не вмешивались, предоставив мне полную свободу в выборе будущей специальности.

Ближе всего мне был лес — сказались детские и школьные годы и общение с лесом. Значит, в лесотехнический, на лесохозяйственный, в Москву!

Подав документы, узнал о большом конкурсе (более 10 человек на место) на этот факультет. Вернувшиеся из армии ребята шли вне конкурса. Шансов было мало. Нас, абитуриентов, поместили в общежитие. В комнате было 16 человек. Условий для подготовки к экзаменам не было. Но по всем четырем предметам я получил пятерки. И был зачислен.

Поезда из Ульяновска ходили в Москву тогда через день. Народу на вокзале было очень много. Лишь 3 сентября я сел в товарно-пассажирский поезд, тогда он именовался «500-веселый». Этот поезд, где пассажиры сидели и лежали на полу товарного вагона, дойдя до Рузаевки, вдруг неожиданно свернул на Рязск, где простоял трое суток. В Москву он пришел только 9 сентября.

В вестибюле института на доске объявлений висел приказ директора В.В. Протанского об отчислении студентов, не явившихся к 1 сентября на занятия. Среди отчисленных была и фамилия студента 1 курса лесхозфака Ю.Ф. Косоурова.

Спас положение предъявленный мной железнодорожный билет вместе с объяснительной запиской. Меня восстановили и дали общежитие. Началась мос-

ковская студенческая жизнь, полная впечатлений, знакомств с однокурсниками, с преподавателями. Наш курс оказался сильным, многие ребята впоследствии стали известными специалистами в области лесоводства, докторами наук и профессорами, администраторами.

Шел 1946 год, первый послевоенный, но не менее трудный, чем военные, это был засушливый неурожайный год. Продукты выдавались по карточкам: хлеба — 550 г в день, сахара — 900 г, жиров — 880 г на месяц. Началась полугодная студенческая жизнь, но, тем не менее, новая, интересная, столичная. Стипендия, насколько я помню, была 175 руб. в месяц. Буханка хлеба на рынке стоила 100 руб. Ясно, что прожить на эти деньги нельзя. Мы иногда подрабатывали, ходили разгружать вагоны.

Питание разнообразием не отличалось: кипяток в полулитровой стеклянной банке, сахар, хлеб. Выручали родители. Когда получали посылки, все делились друг с другом. Варили суп, кашу. В ходу был рыбий жир, который мы получали в аптеке по поддельным рецептам — бланки их нам поставлял один из студентов, жена которого была врачом. Нелюбимый в детстве рыбий жир в первые студенческие годы я мог есть ложками с кашей или просто с хлебом. Общежития тех лет — деревянные брусчатые двухэтажные коргуса, расположенные недалеко от института. Комнаты были рассчитаны на 10—12 человек. Отапливались они дровами, дрова пилили и кололи сами студенты. Дежурные топили. Дров не хватало, в морозные дни было холодно. Часто отключался свет.

Московский лесотехнический расположен в 20 км от Ярославского вокзала. Связь с Москвой хорошая: постоянно, через считанные минуты, идут электрички. По выходным, а иногда и на неделе, мы ездили в Москву, посещали музеи, (в том числе Третьяковку), театры и кино.

В 1947 г. Москва отмечала свое 800-летие, в котором мне пришлось участвовать. Впечатление — грандиозное. Красная площадь полна веселого народа, много военных. Вечернее небо в разноцветных фейерверках, на заростате подсве-

ченный прожекторами огромный портрет И. В. Сталина. В те годы в Москве не разрешалось фотографировать, заметивший фотографа милиционер вынимал пленку и засвечивал ее. Тем не менее, мы умудрялись, оглядевшись, украдкой фотографировать достопримечательности столицы.

В том же 1947 г. отменили карточную систему — можно было свободно покупать без нормы хлеб, сахар. И в наш рацион вошла красная икра. Она, помню, была по цене 25—37 руб. за килограмм.

По окончании 4-го курса нас ждали лагерные сборы. Студенты всех факультетов МЛТИ, других московских вузов выехали под Владимир в лагерь пехотного училища. Жили в палатках, которые протекали, в дождь спать было невозможно. Привыкать к дисциплине было нетрудно, все было интересно, кроме ночных занятий, бессонные ночи я всегда переносил плохо.

Вернувшись в Москву, я узнал, что нас, студентов-лесоводов, по заданию Главного управления полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР направляют на обследование лесополос, созданных по гнездовому методу всеильного в те годы академика Т.Д. Лысенко. В стране шло выполнение сталинского плана преобразования природы.

Мне довелось участвовать в совещании с участием Т.Д. Лысенко, который давал нам, участникам предстоящего обследования, последние установки. Академик сидел в президиуме и фактически вел совещание. Он курил и на пачке «Казбека» делал какие-то записи, то и дело прерывал выступающих репликами, вопросами, говоря всем «ты». Его голос был сильным, казался простуженным. Все поведение академика свидетельствовало о его руководящей роли в советской биологии, хотя критика его теоретических позиций уже набирала силу.

Меня и еще двух студентов из МЛТИ направили в Одесскую область, в течение двух месяцев мы обследовали полезащитные лесополосы в 19 колхозах. Материалы обследования были сданы в Главное управление. Они легли в основу моего дипломного проекта.

В те годы молодые специалисты были обязаны отработать определенный



срок в тех районах страны, где была в них необходимость. И несмотря на относительно высокий средний балл, позволявший мне остаться в столице, я выбрал место лесничего Песочинского лесничества Михневского лесхоза Московской области.

После успешной защиты дипломной работы я уехал в свой последний месячный отпуск на Волгу. Впереди была новая, теперь уже трудовая жизнь.

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

Приехав в Москву в Управление лесного хозяйства, я неожиданно узнал, что на меня из ВНИИ лесного хозяйства поступила заявка. Мне предлагалась должность научного сотрудника в отделе степного лесоразведения. Ларчик открывался просто: руководитель дипломной работы

С.А. Ростовцев, узнав о том, что в отделе степного лесоразведения срочно требуется научный сотрудник, знакомый с защитным лесоразведением, сообщил обо мне директору института. Я был зачислен на должность и.о. ст. научного сотрудника с окладом 880 руб. в месяц.

Меня сразу же отправили в командировку с целью сбора материала об успешности гнездовых посевов дуба и гнездовых посадок сосны.

Я должен был оценить эффективность предложенного академиком Т.Д.Лысенко гнездового способа посадки защитных лесонасаждений. Лысенко был агрономом, а не лесоводом, его идея была обоснована им же сформулированным «законом» о межвидовой борьбе и внутривидовой взаимопомощи. Он полагал, что дуб, высеянный желудями в лунки и гнезда, при густом стоянии будет лучше чувствовать себя и противостоять конкуренции со стороны других видов. Кроме того, чтобы не вести прополку сорняков, которые могут заглушить дубки, одновременно лесополосы предлагалось засеивать овсом или пшеницей. Таким образом, как считал Лысенко, достигается двойной эффект: выращивается дубовая полезная лесополоса и с этой же площади собирается урожай зерновых культур.

Тогда Лысенко был в зените, его поддерживал сам Иосиф Виссарионович. Но факты — упрямая вещь. Росли дубки очень плохо, недостаток влаги давал себя знать. А вот там, где зерновые не высевались и где велась прополка, дубки росли заметно быстрее.

Наши данные были против рекомендаций Лысенко. Е.Д. Годнева вызывали к руководству, требовали изменить выводы. Он переживал, но настаивал на своем и даже заболел. Мне со всеми бумагами пришлось ехать в Главное управление самому, собранные материалы были подвергнуты тщательной проверке, но поколебать наши выводы не удалось. До смерти И.В.Сталина оставался еще год, на позицию института оказывалось сильное давление сторонниками Лысенко.

Впрочем, и после смерти И.В.Сталина Лысенко вплоть до 1964 г. не уступал своих позиций благодаря поддержке его Н.С.Хрущевым, который сказал, что не

знает человека, который лучше Лысенко разбирается в сельском хозяйстве. Ему даже предоставили возможность продолжать научную работу в Ленинских Горках в должности старшего научного сотрудника, где он занимался теперь проблемой повышения жирности молока у коров.

Моя жизнь во ВНИИЛХе делилась на весенне-летний и зимний периоды. Первый был связан с командировками в районы, где занимались защитным лесоразведением. Я участвовал в закладке так называемых промышленных дубрав в Астраханской области. Замечу, что идея выращивания дубовых лесов в сухой степи шла вразрез с выводами выдающегося отечественного агролесомелиоратора Георгия Николаевича Высоцкого. В итоге Высоцкий пришел к выводу, что деревья в сухой степи могут расти только при условии получения дополнительной влаги, и потому рассчитывать на то, что в астраханской степи вырастет лес, да еще промышленного значения, бессмысленно. Тем не менее, работы шли, были организованы специальные лесозащитные станции (ЛЗС), и наш институт был подключен к решению этой проблемы.

Степь, где мы работали, была ярко-зеленой, повсюду цвели тюльпаны, встречалась редкая птица стрепет и даже попадалась дрофа. Мы не успевали выполнять задание, тепло шло так быстро, почва высыхала, и рассчитывать на хорошую приживаемость и всхожесть не приходилось. Помню, как привезенную во флягах воду рабочие быстро расходовали, а пить все равно хотелось: сухой жаркий ветер и солнце буквально обезвоживали тело. Муки жажды не сравнить с муками голода. Приходилось даже пить ржавую воду из тракторного радиатора.

В 1952 г. мне пришлось обследовать защитные лесонасаждения в лесхозах Сталинградской и Ростовской областей. В это же время вступил в эксплуатацию Волго-Донской судоходный канал имени В.И.Ленина. Он был проложен по степи, где сильные ветры мешали прохождению судов. Было принято решение высаживать по обоим берегам лесные ветрозащитные полосы. Однако сухие солонцеватые почвы требовали особой технологии выращивания этих лесонасаждений.

Институт леса АН СССР для выполнения этой проблемы организовал Волго-Донской стационар.

АСПИРАНТУРА

Мне было предложено поступить в аспирантуру при ВНИИЛХе по специальности «агролесомелиорация». Надо сказать, что это предложение я принял без энтузиазма, т.к. считал, что мое место в лесу, а не в науке. Тем не менее, я взял отпуск для подготовки к осенним вступительным экзаменам и уехал к родителям в Ульяновск. Случилось так, что я заболел ангиной и с осложнением на почки попал в заводскую больницу, где пробыл до конца отпуска и к экзаменам не готовился. Приехав в институт, я обнаружил, что место мое в аспирантуру для меня сохранили, а всех конкурентов «завалили». Пришлось засесть за учебники, мне дали дополнительный отпуск и путевку в дом отдыха «Ушково», находившийся под Ленинградом. Экзамены сдал успешно и 15 января 1953 г. я стал аспирантом.

Научным руководителем мне назначили замдиректора ВНИИЛХ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Анатолия Борисовича Жукова. Впоследствии он стал академиком и директором Института леса АН СССР в г. Красноярске. Все говорили, что мне повезло с научным руководителем. Я и сам знал об этом.

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. Горе свалилось на весь народ, на всех, казалось без исключения, советских людей. Шли траурные собрания. Мне, кандидату в члены КПСС, поручили выступление на митинге в институте. Многие плакали. Мы, аспиранты, не спали ночами, обсуждали вопрос, кто может возглавить страну, и не находили ответа. Мне довелось участвовать в похоронах, с венком от коллектива ВНИИЛХ мы поехали в Москву. С трудом добрались до площади Дзержинского, встали в огромную очередь, тянущуюся к Дому Союзов. Очередь почти не двигалась, было холодно, наступила ночь. Доступ к телу был закрыт. В эти дни в Москве в давке на улицах, ведущих к месту прощания, по-



гибло или получило увечья очень много людей.

Но постепенно жизнь входила в свою колею. Нам, аспирантам, надо было учиться, выбирать тему диссертационной работы. Намечалась экспедиция на Волго-Донской судоходный канал по линии Института леса АН СССР. Меня пригласили принять в ней участие. И ранней весной 1953 года мы прибыли на место будущих работ. Подобранный под опыты участок находился на левом берегу канала между 3 и 4 шлюзами. Мы провели планировку площади, вспахали, нарезали поливные борозды. Из Москвы и других мест завезли посадочный материал, по возможности хотели испытать как можно больше видов деревьев и кустарников.

Вначале все шло хорошо. Все, кто входил в состав стационара, — лесоводы, почвоведы, студенты-практиканты из Тимирязевской сельскохозяйственной академии, лаборанты, — работали с утра и до вечера без выходных, так как весна здесь скоротечна, погода становится ясной, сухой, неблагоприятной для приживания саженцев.

Но летом 1953 г. была объявлена амнистия в связи со смертью вождя. Канал строился не только с помощью шагающих экскаваторов — по всему каналу стояли лагеря заключенных. Заключенные работали и в самом Сталинграде, город в те годы представлял большую стройку. Амнистированные в те дни буквально заполнили город и окрестности, включая эксплуатационные поселки канала. Появились они и на ЛЗС. Их принимали на работу, они требовали от руководства жилье, аванс. Наступили жуткие дни воровства и грабежей.

В довершение всего лесозащитные работы, проводимые в соответствии со «Сталинским планом преобразования природы», были вскоре приостановлены Н.С. Хрущевым, ЛЗС расформированы и наши опыты зависли в воздухе — без финансирования работать никто не будет. Выручило Управление судоходного канала, которое было заинтересовано в результатах наших опытов: сильные степные ветры мешают судоходству, канал нуждается в зеленых насаждениях, а потому нам выделяли небольшие деньги на рабочих.

Климат Сталинградской степи показал себя сразу же: сухие, ветреные, почти безоблачные дни действовали на нас изнуряюще. На участке, где мы работали, от солнца негде было спрятаться, спасал канал, то и дело мы лезли в воду, но вода была теплой, в ней плавали арбузные корки, да и суда шли непрерывно. Жара нередко доходила до 38—40 градусов, все время хотелось пить. До места работы ездили на грузовой машине «ГАЗ-51» с тентом, а потом, когда ее отправили в Москву, приходилось добираться либо на попутных машинах, либо пешком.

Закончив полевой сезон 1953 года и сдав экзамены кандидатского минимума, я готовился к сбору фактического материала по диссертации.

И вот диссертация написана, отпечатана, переплетена. По совету А.Б. Жукова, я представил ее на защиту в Институт леса АН СССР. Там я сделал предварительный доклад, работа была обсуждена и допущена к защите, теперь осталось ждать очереди. Срок учебы закончился 15 января 1956 года, и меня направили на работу на Шиповскую лесную опытную станцию в Воронежскую область на должность старшего научного сотрудника.

В 1956 году состоялся 20-й съезд коммунистической партии страны. Он произвел на нас ошеломляющее действие. Мы слушали доклад Н.С. Хрущева о культе И.В. Сталина и не могли воспринять его: слишком глубоко сидела в нас многолетняя пропаганда величия и непогрешимости вождя. Трудно было понять, как страна подчинялась человеку, совершившему столько преступлений против своего народа.

БашЛОС

В Шиповый лес я не поехал — мне было предложено место старшего научного сотрудника на Башкирской лесной опытной станции в Уфе. Я согласился, так как знал, что Уфа — большой город и столица Башкирской автономной республики, и не ошибся — Уфа и Башкирия мне понравились.

Я приехал в Уфу поездом. Весь мой багаж состоял из ящика из-под спичек, в

котором вместе с постелью и книгами лежал радиоприемник Бердского радиозавода, завернутый в подушки, а также велосипед, купленный во время работы на канале.

Сразу же по прибытии в ЛОС мне поручили две темы: «Селекция осины на устойчивость к сердцевинной гнили» и «Фенологические наблюдения за сезонными явлениями и развитием древесной и кустарниковой растительности».

А между тем наступило время, и я женился. Это произошло 7 июля 1956 года. Невестой стала красавица Эдда, только что окончившая лесохозяйственный факультет Башкирского СХИ и проходившая преддипломную практику на лесной опытной станции.

Началась семейная жизнь. Наш дом и еще несколько деревянных домов принадлежали станции, находились в дендропарке, летом это было царство зелени и пения птиц, зимой — прекрасные условия для лыжных прогулок.

В апреле 1957 года у нас родилась дочь Марина. Я стал в ответе еще за одного человека. Забот прибавилось. А на следующий год 15 сентября у нас родился сын Андрей, заботы удвоились, а 16 апреля 1963 года — утроились, родился еще сын — Алексей.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

После опубликования основных выводов диссертации меня пригласили в Москву на защиту. Она состоялась 4 декабря 1958 года на Ученом совете Института леса АН СССР под председательством академика В.Н. Сукачева.

Голосование было единогласным, и в апреле 1959 года я получил из ВАКа диплом кандидата сельскохозяйственных наук. В истории Башкирской ЛОС я стал первым кандидатом наук, если не считать профессора П.А. Положенцева, работавшего на ЛОС в довоенные годы по совместительству. Степень дала возможность удвоить, а потом и утроить зарплату по сравнению с неостепененным сотрудником, хотя и она не позволяла семье жить без постоянного ощущения недостатка денег на самое необходимое. Помогал огород, одно время мы держали даже козу,

так как в продаже не всегда было молоко, необходимое детям.

В эти годы я продолжал заниматься осиной. Мне также поручили тему по изучению так называемой капокорешковой березы. Что это такое? Большинство людей знают о карельской березе, древесина которой в разрезе имеет очень красивый рисунок. Впервые она была обнаружена в Карелии, откуда и название. В пятидесятые годы широкую известность приобрели художественные изделия вятских мастеров, которые использовали в качестве сырья не карельскую, а капокорешковую березу, у которой красивый рисунок имеет не стволовая древесина, а древесина, образованная скоплением спящих почек. Эти скопления имеют вид утолщений в прикорневой части ствола, а также на ветвях. Когда запасы капокорешковой древесины в лесах Кировской области стали иссякать, ее стали искать и закупать в других местах. Обнаружили ее и в Башкирии. Ценное сырье стало уходить из республики, и правительство предприняло меры по организации художественных промыслов в Башкирии. Потребовалось изучение биологии этой березы, а также способов введения ее в культуру.

В течение двух сезонов я много исходил и изъездил лесов на Южном Урале, где по небольшим речкам встречалась эта береза. Было установлено, что капокорешковые образования встречались в основном на березе пушистой главным образом в местах интенсивной пастбы скота.

В 60-е гг. мне поручили тему по топилям, включая местные виды — осокорь, черный и серебристый, а также по ивам. Кроме того, с 1960 по 1963 год в мой план была включена тема по витаминным видам шиповника. Работы было много, она требовала постоянных разъездов. С моими помощниками В.А. Марушиным, С.М. Хазиагаевым, В.К. Игнатенко (все выпускники БашСХИ) мы объездили многие районы республики, включая поймы рек Белой, Камы, Демы, Уфы, собрали большую коллекцию особо ценных форм шиповника коричневого (майского), заложили маточные участки — плантации, вели учет их урожайности и витаминности. Мы сотрудничали с Уфимским вита-



минным заводом, его директором Д.Я. Сошниковым — большим патриотом получения витаминов из местного растительного сырья.

Часть отобранных форм нам удалось привезти в Шаранский район, где вблизи с. Дюртюли в 1965 г. был заложен на приовражных землях опытный участок БашЛОС. Эти посадки с участием шиповника целы до настоящего времени. Ныне этот участок стал государственным памятником природы РБ площадью 44 гектара под названием «Дюртюлинский овраг».

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ

С 1968 года я полностью перешел на разработку приемов борьбы с оврагами. В качестве первого стационарного опытного участка был выбран участок в землепользовании колхоза имени Ф.Энгельса Шаранского района вблизи с. Дюртюли, где приовражные лесонасаждения были высажены мной еще в 1965 году. Сразу же были начаты первые опыты по строительству противоэрозионных гидротехнических сооружений в оврагах и посеву семян деревьев и кустарников на их откосах.

Начались годы большого труда, преодоления препятствий, сомнений, чередовавшихся с радостями, маленькими успехами и удовлетворением. Поддерживал дружный коллектив туймазинских и шаранских лесоводов, механизаторов, работников сельского хозяйства и местных властей. Не было проблем с отводом земли под лесонасаждения и выделением рабочих. Лесомелиораторам очень хорошо помогли местные школьники и учителя.

Фронт работ по борьбе с эрозией почв расширился. Были организованы передвижные механизированные отряды в Туймазинском, Шаранском, Стерлитамакском, Баймакском и др. лесхозах, которые проводили весь комплекс земляных и лесомелиоративных работ, в проектировании которых я также часто принимал участие. Облесение крутосклонов велось и в других районах, куда мне не раз приходилось выезжать. На первые результаты нашей работы обратило вни-

мание Министерство лесного хозяйства БАССР. Министр М.Х. Абдулов не раз приезжал к нам. Я очень благодарен этому истинному рыцарю башкирского леса.

Начиная с 1972 г. наши лесопосадки стали школой для лесомелиораторов вначале Башкортостана, а затем и всей страны. Летом 1974 года состоялось Всероссийское совещание лесоводов. Его участники на шести «Икарусах» проехали по объектам Туймазинского лесхозобъединения. Подводя итоги семинара, участники положительно оценили технологию и большие объемы работ, однако усомнились в том, что лесокультуры хорошо будут расти на бедных и сухих склоновых почвогрунтах.

В 1989 г., через 15 лет, в Туймазинском объединении было проведено еще одно Всероссийское совещание лесоводов. В нем приняли участие и некоторые из тех, кто был участником первого совещания. Мнение всех лесоводов было единодушным: проведенное облесение эродированных крутосклонов дало блестящий результат: лес на смытых землях растет успешно, их разрушение прекратилось, лесомелиоративный эффект налицо.

В работах по облесению оврагов и крутосклонов принимали участие десятки энтузиастов — научные сотрудники БЛОС, работники лесхозов, директора, учителя и учащиеся школ. Ключевой фигурой в этих работах всегда был тракторист, который должен был подготовить плацдарм для наступления леса на местообитания, разрушенные человеком. Со мной работали многие мастера своего дела. Расскажу лишь об одном из них.

Более двадцати лет мне пришлось работать с бульдозеристом Туймазинского лесхоза Ямилем Хисматуллиным. В нашу задачу входило строительство земляных гидросооружений — водозадерживающих и водоотводных валов, дамб, плотин, прудов с целью испытания их эффективности в борьбе с оврагами. Я сразу обратил внимание на этого человека — очень добросовестного, ответственного и трудолюбивого.

Воду, как говорится, не обманешь, гребень вала, плотины должен быть стро-

го горизонтальным. Мы работали по нивелиру, ставили вешки, по которым ведется насыпка. Интересно было наблюдать, как Ямил, насыпав и затрамбовав тело вала, выскакивал из кабины и, видя на глаз неровности, руками быстро-быстро разравнивал их. Его желание сделать свою работу «со знаком качества» было настолько естественным, заинтересованным, что весной каждого года он старался приехать и лично убедиться, как созданное сооружение сработало во время паводка.

Многолетняя работа Ямиля была отмечена двумя орденами Трудовой Славы, а в декабре 1991 г. ему вместе с группой разработчиков была присуждена Государственная премия РСФСР. Вручал нам удостоверение и медали вице-президент РСФСР А.В. Руцкой. Когда после этой процедуры наша группа фотографировалась на память вместе с Руцким, Ямил подошел к нему и, положив руку на его плечо, сказал: «Александр Владимирович! Мне до пенсии еще 10 лет, мой бульдозер пора списывать, дайте указание на получение нового, мы обещаем кончить все овраги в районе!» К сожалению, мы не получили ни памятные фотографии, ни бульдозер.

Я и сам по возможности бываю на местах строительства гидросооружений и лесных посадок, созданных 25–40 лет назад с моим участием, все они, как правило, хорошо сохранились, сомкнулись кронами, образовалась типичная лесная подстилка, появились свойственные лесу травы, грибы, птицы и звери. А главное, благодаря лесонасаждениям прекратились эрозионные процессы на почве. Овраги — побеждены!

СВОИМИ РУКАМИ

Начиная с 1968 года, когда я вплотную стал заниматься проблемами облесения овражно-балочных, крутосклонных и приречных земель, с ранней весны и до поздней осени наша группа постоянно была на местах проведения опытов.

Еще во время работы на Волго-Донском судоходном канале мне посчастливилось общаться с Николаем Федотовичем

Созыкиным. Это был специалист по лесной гидрологии, опытный и грамотный ученый. Он внушил мне одну ценную мысль, которую я взял на вооружение. Она заключалась в том, что мы, лесоводы, оставляем после себя посадки, которые и являются в течение многих десятилетий показателем нашей работы. История лесоводства знает множество примеров как удачных, долговечных лесных посадок, так и провалов.

Существуют сотни публикаций, авторы которых делают правильные выводы и формулируют ценные рекомендации для производства, однако практика их не приняла. В чем тут дело? Ответ, мне думается, таится в самом слове «внедрение», поскольку по своему смыслу оно предполагает сопротивление, и надо приложить немалые усилия, чтобы что-то продвинуть, заменить старое привычное на еще не испытанное новое.

Если хочешь получить положительный результат в лесоводственной науке, то надо делать все своими руками, не перекладывая работу на кого-то другого.

Именно такая организация внедренческих работ позволила нашей станции силами лесхозов остановить в общей сложности около двух сотен овражных вершин, восстановить лесную растительность на нескольких тысячах гектаров овражно-балочных, крутосклонных и приречных земель. Два из созданных мною опытных участков в 1985 г. были объявлены государственными памятниками природы Башкирии.

Башкирской лесной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства в 2007 г. исполнилось 75 лет. В ее активе много нужных для лесной отрасли научных разработок и рекомендаций. В этот юбилейный год головной институт принял решение о ликвидации БашЛОС из-за отсутствия средств. Полагаю, что оставить республику, где лес занимает почти 40 % территории, без научного решения лесных проблем не годится.

И еще. Я очень опасаясь, что наши леса могут быть отданы в частное пользование. Это нанесет им непоправимый урон.



ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

Жизнь позади. Если говорить в целом, она удалась, хотя ее нельзя назвать легкой.

Удалась потому, что не подвело здоровье, ведь прожить почти восемь десятков в условиях далеко не идеальных не всем дано.

Удалась потому, что в отличие от своих предков я имел возможность учиться, получить ту специальность, к которой стремился, и работать по ней многие годы. Дело, которым я занимался, — посадка, разведение леса — не пропало даром: лесонасаждения, созданные с моим участием, успешно растут, и, надеюсь, будут расти еще многие десятилетия.

Удалась потому, что я, как и должно быть на Земле, смог создать семью, вырастить хороших детей, воспитывать внуков.

Всему приходит конец. Ставлю и я точку в описании своей жизни, в которой лес, друг мой, был главным героем. Ему я старался отдать много из отведенных мне на Земле времени и сил. Надеюсь, что все, что мне удалось сделать по своей специальности, пойдет на пользу лесу — этому чудесному творению природы. И пусть насаждения, созданные лесоводами по разработанной с моим участием технологии, многие десятилетия украшают прекрасную землю Башкирии и защищают ее от всех невзгод и опасностей.

Еще раз о любви

О книге Рами Гарипова «Февраль. Буран...»,
перевод Айдара Хусаинова

Маленькая книга — всего-то дюжина переводов. Честная книжка — каждое стихотворение дано и в оригинале: мол, смотрите, сравнивайте, переводчик не боится сравнения.

Хотя перевод по сути своей как раз исключает страх. Ведь перевод — это любовь.

Любовь, стукнувшая внезапно, сбившая с шага, с вялого ритма будней. Просто обнаруживаешь вдруг, что сердце бьется не в такт настенным часам, а колотится в унисон чужому непривычному пульсу. Начинаешь замечать собственное дыханье, — оттого, что оно перестало быть твоим. И уже не получишь покоя, пока не сольешься с любимым, пока не дойдешь до конца.

Как всякая любовь, перевод — сладостный и мучительный труд, отчаянное, почти безнадежное движение сквозь блеклые пески стершихся слов. Путь сквозь буран, — когда обычное человеческое непонимание, сопротивляясь, поднимается смерчем, застилает глаза, забивается в уши. И единственный ориентир в опустившейся тьме — едва уловимые сигналы другого сердца, там, далеко впереди. Дойдешь ли до цели? Случится ли чудо? Или, заплутав, ткнешься к ближайшему очагу, скомавав незавершенные строки своих следов?

Конечно, Рами Гарипов провоцирует на перевод. В него так легко влюбиться, особенно, если сердце уже источено ядом поэзии. Рами Гарипов — истинный поэт, искренний, равнодушный. Великий. Большой человек с бесхитростной и от-

крытой душой ребенка. Он жил как поэт и погиб, как положено поэтам, — в расцвете лет от разрыва сердца. И, наверное, поэтому до сих пор — хотя прошло более тридцати лет с его смерти — у него так мало хороших переводов на русский язык: соответствовать очень трудно. Непросто понять, сложно передать живое биение жизни его слов. И по-настоящему страшно пойти за ним — как бы ни любил! — до предела. До конца, за которым — взрыв и уход навсегда.

Как написано его последнее стихотворение «Февраль. Буран»! Оно и не написано вовсе — выдохнуто, прерывисто, предсмертно. Строки, как снег: словно сдувает одну за другой с каждым порывом ветра. Вот уже осталось в конечной всего одно слово... А вот и его смахнуло — вместе с поэтом. Буран. Февраль.

Через несколько дней — 12 февраля — Рами Гарипову исполнится сорок пять, еще через восемь — 20 февраля 1977 года — его не станет. Он уйдет внезапно, неожиданно для всех, кроме себя.

Казалось бы, просто непогода разыгралась накануне дня рождения, отсюда и тоска. Но нет, — как невыносимо знание! — сорокапятiletний мужчина пытается и не может смириться с неизбежным. Как вытерпеть эту жизнь?! Как вытерпеть смерть? Ледяной буран сбивает с ног, за ним весна, но уже без поэта. Стихнет ветер, возликует мир. Но — без Рами. Останутся только строки, между которыми беззвучная мольба: «пронеси эту чашу мимо...».

Мы, читая, становимся нескромными свидетелями нестерпимой человеческой

Чураева Светлана Рустемовна родилась в 1970 году в новосибирском Академгородке. Печата-
лась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Бельские просторы». Автор нескольких книг
переводов и прозы: «Ниже неба», «Последний апостол», «Юматово» и др. В соавторстве с В.Бог-
дановым написан и опубликован роман «Если бы судьбой была я...». Пьеса «Фокусы с белыми
мышьями» поставлена в БГТК. Член СП РБ и РФ. Лауреат республиканских и всероссийских ли-
тературных премий. Лауреат открытой международной премии «Исламский прорыв».



муки и пугающего величия. Невыносимой нежности и, наконец, силы смирения. Поэт с последним словом кротко опускает голову под гильотину последнего в эту зиму бурана... И толпа читателей замирает в ожидании финального — фатального — порыва ветра в открытое сердце. Мы уже знаем наверняка: сейчас поэт упадет, а он писал — еще живой, предчувствующий, но живой.

Как передать это все на другом языке? Как пережить заново? И уцелеть?

Не знаю. Айдар Хусаинов рискнул. Ринулся навстречу быстротечной любви, поймав настроение, интонацию, образ. И Рами Гарипов, попав в объятия переводчика, сбавил свой отчаянный бег, чуть успокоился. Плавными, как падающий снег, стали расхристанные бураном строки, закрывая, отдаляя от нас поэта. Стихла пронзительная исповедальность, и нет-нет да и скрипнет неестественно легшее слово. «В нем нет коварства, я же говорю». Это «я же говорю» — не от Рами, он никогда бы так не сказал — просто для рифмы, походя. Кстати, в поэзии Рами Гарипова вообще редко встречается «Я».

Айдар Хусаинов — матерый, опытный переводчик, нарастивший творческую мускулатуру, способную удерживать рвущиеся в полет стихотворения такого творца, как Рами Гарипов. Удержать и подарить читателю.

Он подошел к этому переводу как положено — в белой рубахе, помолвившись. Исключив из дела корысть, по любви. С ним плечом к плечу встала отважная Зухра Буракаева — автор подстрочного перевода. Айдар признает, что Зухра проделала огромную, практически научно-исследовательскую работу, не только дословно переводя каждое стихотворение, но и разбирая его «до молекул».

Айдар и Зухра бросили вызов лирике Рами Гарипова. И одержали победу — сборник готов. Стихи зазвучали на русском языке — не всегда чисто, но достаточно точно. Настолько, насколько точно вообще можно передать по-русски такой, к примеру, фразеологический оборот, как «Яблоко моего глаза», в значении «самое родное, дорогое и сокровенное». Любовь случилась, стихи на русском живут. Стихи ли это Рами Гарипова? В очень большой степени — да.

Айдар — поэт большой несуетной и неспешной души. Конечно, ему трудно разогреть градус своего темперамента до самоуничтожительного горения Рами. Но в этой работе он, безусловно, — мастер.

Когда я только взяла в руки эту маленькую книжку, еле сдержалась, чтобы не пошутить про ее размеры. От Рами Гарипова осталось такое наследие — черпай пригоршнями! Но, прочитав, поняла, что больше, чем двенадцать его стихотворений, переводчику выдержать трудно. Некоторые из этой дюжины очень сложны для перевода. Причем наиболее сложны как раз простые по форме, безыскусные стихотворения. Так велик разбазн «улучшить», усложнить подобное «примитивное» на первый взгляд произведение! Но — в том-то и соль! — при «усложнении» такой перевод обречен на провал, он безнадежно теряет очарование. Айдар очень точно поймал народную, почти песенную, интонацию причитания «Чтоб не думал, не гадал», не стал демонстрировать на нем литературные изыски и создал мелодичную, завораживающую вещь:

*Чтоб не думал, не гадал,
Есть ли день, есть ли ночь?
Чтоб тебя не вспоминал —
Есть ли день, есть ли ночь?*

Айдар не стесняется рифмовать «сказал» и «сказал», «плечи» и «плечи» — он раздувает дыханье. И ему это удается. Так, что из некоторых строк даже вырывается пламя, как из настоящих гариповских. Айдар колдует аллитерациями, шаманит ритмом, не всегда исконным: вдруг начинается импровизация, но — хорошая, берущая за душу, органичная для этих стихов.

Перевод кончается, как любовь. Оставляя плоды, — нечто третье, как результат слиянья двоих. В данном случае даже — троих. Ведь без Зухры Буракаевой книга наверняка получилась бы иной. Далеко не каждый пошел бы навстречу такой опаляющей любви — Айдар и Зухра пошли. Они, уверена, вышли из этой книги другими. Они получили в дар пророческую силу Рами Гарипова, а мы одарены его стихами.

Встреча

Рассказ

Старшина Иван Ермаков совместил мушку и целик, задержал дыхание и плавно выбрал спуск. Гулко ударил выстрел, приклад старенькой мосинской трехлинейки толкнулся в плечо. Темная фигурка впереди нелепо взмахнула руками, когда винтовочная пуля настигла ее, сделала несколько неуверенных шагов и во весь рост растянулась на грязном снегу, перепаханном танковыми гусеницами и разрывами снарядов.

Ермаков передернул затвор. Дымящаяся латунная гильза отскочила вправо, добавившись к целой россыпи своих товаров, лежащих под ногами старшины, и зашипела на снегу.

— Получите, гады, — сквозь зубы сказал старшина и опустил винтовку. Больше стрелять не имело смысла — расстояние было слишком велико.

Еще одна атака отбита. Уже третья на сегодня. Гитлеровцы снова отступили, оставив на снегу изрядное количество убитых и с полдесятка чадающих танков, обгоревших, с лопнувшими гусеницами, откинутыми люками, через срезы которых перевешиваются тела танкистов в серо-зеленых и черных комбинезонах.

Ермаков устало прислонился спиной к стенке окопа. Сейчас передышка будет часа в два-три, а потом снова ползут. Хотя... Он посмотрел на небо. Скоро стемнеет. Глядишь, и обойдется сегодня. Не пойдут же они в прорыв ночью, в самом-то деле...

Рота Ермакова стояла под Москвой уже неделю. То есть, конечно же, не стояла, а держала оборону, и, собственно, не рота это была, а полк, но только по названию. Сформировали месяц назад, передав в состав полка остатки бригады, которая пять месяцев назад (неужели прошло всего пять месяцев? Не верится!) встретила передовые части вермахта в Белоруссии. Бригаду тогда уничтожили почти подчистую, последние три сотни бойцов, ведя непрерывные арьергардные бои, вышли к своим и едва успели получить оружие и пополнение, как их снова бросили в бой. А потом новое отступление.

Месяц назад, когда полк был на марше, из-за облаков начали вываливаться «юнкерсы». Советских истребителей в небе не видели уже давно, еще с адски жаркого лета, зенитного прикрывтия не имелось, и скрыться в поле тоже было некуда... Тогда-то от полка и осталась рота. В таком составе и пришли под Москву. И здесь получили приказ: «Стоять насмерть!».

Вот и стоят. Уже неделю. Три десятка атак отбили, пережили несколько артналетов и бомбардировок с воздуха, но за линию советских окопов не прошел ни один немец.

Выручало то, что рота Ермакова стояла севернее направления главного вражеского удара. А там, в нескольких десятках километров к югу, было намного жарче —

Лапицкий Денис Брониславович родился 4 июня 1977 года в г. Уфе. Окончил истфак Башгос-университета. Работал в школе, в газете «Нефть Башкортостана». Прозаик, публицист. В настоящее время зам. главного редактора газеты «Истоки».

детектив • фантастика • приключения

даже сейчас слышалась гулкая канонада гаубичных залпов, по несколько раз на дню туда шли эскадрильи немецких бомбардировщиков, чтобы обрушить на укрепления защитников столицы, огрызающиеся огнем зенитных орудий, тонны тяжелых бомб. Бригады и дивизии превращались в полки, полки в батальоны, батальоны в роты, роты выкашивало подчистую, до последнего человека, — но они держались, перемалывая вражью силу..

— О чем задумался, Михалыч? — рядом с Ермаковым в окоп спрыгнул Федор Митрофанцев.

— Да так, ни о чем. А ты за куревом небось?

— А то, — ответил Митрофанцев, жадно следя за тем, как Ермаков достает из-за пазухи кисет с табаком и сложенный в несколько раз газетный лист.

— Твой-то где? — поинтересовался Ермаков, отрывая от листа две полоски желтоватой бумаги. — Те, трофейные?

— А-а, — отмахнулся Митрофанцев. — Скурились давно. Да и дрянные они были, не то что твой самосадик. Да ты побольше, побольше сыпь, не жмись!

— Тебе и этого много, — добродушно усмехнулся в усы Ермаков, протягивая Митрофанцеву согнутую желобком бумажку с насыпанным табаком. Потом ловко свернул самокрутку, закурил и показал Митрофанцеву надпись на кисете, вышитую рукой школьницы: — Видишь, написано: «Доблестному бойцу Красной Армии»? А ты, Федька, хоть и боец, но не доблестный пока что!

Федька ничего не ответил, он самозабвенно раскуривал самокрутку, выпуская облака синеватого дыма, при этом внимательно рассматривая равнину, на которой стояли выгоревшие коробки немецких танков и были разбросаны серые кляксы — тела вражеских солдат.

— Сползаем? — сказал он. — А, Михалыч?

Ермаков прищурился, глядя вверх присыпанного снегом бруствера.

— Давай, Михалыч, — подначивал Федор. — Может, консервов каких найдем или шнапсу ихнего... Шнапс, конечно, дрянь, но на морозе любая дрянь сгодится.

— Хорошо бы пару автоматов взять, — закончил более практичный Ермаков. — Я сегодня, по-моему, двоих автоматчиков снял.

Автомат бы действительно пригодился. На дальней дистанции, конечно, ему с винтовкой не тягаться, но если немцы подойдут близко...

Ермаков глянул назад-направо — туда, где в распадке укрывалась полевая кухня. Из распадка уже поднималась тонкая струйка дыма: повар Мельниченко начал готовить ужин. За этот час бойцы должны успеть сползть на поиски трофеев. Он загасил в снегу микроскопический окурок.

— Ладно, — сказал старшина. — Пошли. Сеня, прикроешь?

Боец, сидевший в пулеметном гнезде в десятке метров от Ермакова, ничего не говоря, кивнул и хищно поводит из стороны в сторону стволом «максима».

Ермаков рывком перебросил тело через бруствер окопа и пополз вперед, волоча за собой винтовку. Митрофанцев полз следом, продавливая хрусткую корку наста.

До первых тел было метров двадцать. Эти метры Ермаков с Митрофанцевым преодолели за несколько минут: ползти приходилось с передышками, потому что наст не выдерживал тяжести человеческих тел и приходилось постоянно выбираться из довольно глубокого снега. Холодные рассыпчатые комья набивались в рукава, валенки, попадали за шиворот, где сразу же начинали таять, растекаясь холодными ручейками, что, естественно, вовсе не доставляло удовольствия.

Вот и первые. Лежат здесь уже с неделю, от мороза стали звонкие, как поленья. Глаза у некоторых выклеваны, а больше никаких признаков смерти и не видно. Что же здесь весной-то будет, когда снега сойдут, — подумать страшно...

Ермаков наметил себе четверых; один лежал возле тоненькой березки, неведомо как уцелевшей здесь, на поле, которое почти ежедневно утюжили танки, где рвались сотни снарядов, еще двое лежали рядом с воронкой от авиабомбы, а последний, четвертый, скорчился возле танка со сбитой башней — три дня назад, когда немцы пытались прорваться при поддержке двух десятков танков, ротный запросил огневую поддержку, и артиллерийская батарея, укрытая за рошей, четверть часа перепыхивала поле снарядами. На поле в тот день осталось семь машин: пять сожгли артиллеристы, еще два подорвали гранатами.

Полчаса спустя Ермаков устало ткнулся лицом в снег, охлаждая разгоряченный, мокрый от пота лоб. Больше всего ему сейчас хотелось в баню — исходить потом на полке, до остервенения тереться жесткой мочалкой, хлестаться березовым веником, обливаться горячей водой. А потом напиться чаю — из ярко начищенного самовара, с сахаром вприкуску... Но чего нет, того нет. Есть только кусок серого мыла, найденный в ранце одного из немцев.

Кроме мыла, Ермаков нашел две банки консервов и отличный нож в чехле из бычьей кожи. Был еще один автомат и пара патронташей с узкими матерчатыми пеналами под магазины.

Ермаков уже подполз к танку со сбитой башней, чтобы осмотреть ранец четвертого намеченного фашиста, как вдруг...

— Не стреляйте, дядя, — раздался дрожащий голос.

Ермаков откинулся назад, перехватив винтовку и водя стволом в поисках источника голоса.

— Не стреляйте, дядя, — повторил голос, — не надо...

— Покажись! — хрипло сказал Ермаков. — Покажись, ну!

Из-за танка неуверенно высунулся мальчишка — маленький, вряд ли старше девяти лет. Он высоко поднял руки, показывая открытые ладони. Одет был мальчишка в странного вида исподнее, белую курточку и штаны, разрисованные яркими зверями. Это была явно не лучшая одежда для зимнего вечера: пацана била крупная дрожь. Да и голос дрожал скорее от холода, чем от испуга.

— Ты как здесь очутился, малец?

— Н-не знаю, — поежился мальчишка. — А где я?

— Ну ты даешь, — Ермаков поднялся на ноги, снял с себя полушубок и набросил на плечи мальчишки. — На вот, грейся.

Потом посмотрел на ноги ребенка. На них были мягкие тапочки с тряпочными мордами веселых зайцев. Н-да, дела... ничего не говоря, он подхватил пискнувшего ребенка на руки, закинул на плечо ранец с трофеями и трехлинейку и зашагал к окопам, при каждом шаге проваливаясь в снег по колено.

— А где я? — повторил мальчик.

— Где-где... — Ермаков дернул подбородком, указывая вперед. — Вон там Москва.

— Война идет?

Ермаков даже остановился от удивления.

— Да уж почитай больше пяти месяцев. Ну ты даешь, брат...

— Битва за Москву, — прошептал мальчишка. — До победы еще три с половиной года...

Неожиданно он наморщил нос и всхлипнул.

— Мама...

— Э-э, малец, не реви, — попытался его успокоить Ермаков и, не найдя ничего другого, вложил ему в ладонь винтовочную гильзу. — Найдется твоя мама... Тебя как звать-то, малец?

— Илюша, — ответил мальчишка, не прекращая всхлипывать.

— Илюша... — Ермаков усмехнулся. — Илья, значит. Имя-то богатырское, а решешь... А меня — дядя Ваня. Сейчас придем к нашим, чаем тебя напоим, повар, наверное, уже ужин сготовил, а завтра в тыл тебя отправим, понял?

Сзади послышалось тяжелое дыхание, а потом Митрофанцев хлопнул Ермакова по спине:

— Ты чего, Михалыч, очумел? Во весь рост ведь прешь, дура!

— Смотри, я пацана возле танка нашел, — сказал Ермаков, поворачиваясь к Федьке.

— Где?

— Да вот же... — Ермаков откинул край полушубка, уже чувствуя, что... Мальчишка исчез. — Ничего не понимаю...

— Да ты, наверное, не мальчишку, а шнапс нашел, да? — расхохотался Митрофанцев.

— Да иди ты, — отмахнулся Ермаков. — Говорю тебе, был пацан, и все тут!

— Где же он сейчас?

— А я почему знаю? — Ермаков натянул полушубок и, перехватив поудобнее винтовку и автомат, зашагал к окопам.

* * *

Женщина вошла в детскую. На кровати, свернувшись калачиком под толстым одеялом, спал мальчик. Женщина заботливо подоткнула одеяло, потом наклонилась над постелью и ласково взъерошила темные волосы мальчика.

— Дядя Ваня, — прошептала мальчик, не просыпаясь. — Мама...

Женщина нахмурилась. Какой еще дядя Ваня? Насколько она знала, среди родственников не было никого, кого бы звали Иван. Вот разве только ее дед, которого она, правда, никогда не видела, потому как он погиб еще в 1941 году, под Москвой. Да, его звали Иван. Иван Ермаков.

Она еще раз погладила мальчика по голове, поцеловала в лоб и вышла из комнаты, погасив ночник.

Если бы она заглянула под кровать, то увидела бы насквозь мокрые домашние тапочки. А если бы разжала пальцы правой руки мальчика, сжатые в кулак, то нашла бы винтовочную гильзу.

Но она не сделала ни того, ни другого.

* * *

Танк медленно приближался. Гусеницы клацали, перепахивая снег, башня медленно поворачивалась, хищно поводя коротким стволом.

Иван Ермаков стянул проволокой связку гранат. Башню, конечно, не снесет, но если удачно бросить, то экипажу конец. Только взорваться гранаты должны под днищем.

Он вдруг вспомнил слова того мальчишки, которого подобрал два дня назад и который так странно исчез. Как он сказал? «До победы еще три с половиной года». Пацан явно был русским. «Значит, мы победим, — подумал Ермаков. — Пусть через три года, пусть даже через тридцать лет, но мы победим».

Прищурившись, он смотрел на приближающийся танк. А когда тот навис над окопом, Ермаков выдернул чеку и рывком бросился вперед, под низкое уязвимое днище...

Роль курицы в жизни человека

Рассказ

Из пучины предыдущей жизни я вынырнул с прекрасным восточным сосудом в руке. «Слушайся и повинуйся!» — услышал я, распечатав сосуд и выпустив вьющийся кольцами дым, принявший облик черноокой гурии из мусульманского рая. И я послушался и повиновался — женился на ней, почти не рассчитывая когда-нибудь привести ее к повиновению.

«Я тоже не целую в губы», — сказала, играя, моя новоиспеченная жена Софа, когда я облобызал ее шею, и я понял, что мне суждено играть роль жидкости, готовой принять форму любого сосуда, или огня, мерцающего в нем. И так я играл долгое время, роясь в остатках вчерашнего литературного навоза, подкрепляя им свои импровизации, пока не влюбился. Для жены же вовсе не составляло труда говорить стихотворным языком влюбленных из арабских ночей. И, путаясь в тонких смыслах стихов и бретельках ее ночной рубашки, можно сказать, ощупью, я приближался к познанию девы сосуда. «Как мне стыдно!» — воскликнула жена, закрывая лицо руками, и стыд ее разгорался вместе с моей страстью.

Наутро Софа рассказала мне о своих предыдущих мужьях. В прошлом тысячелетии, когда Софа была обыкновенной пионервожатой в средней школе, на нее обратил внимание ее будущий первый муж Виктор, лектор из общества «Знание». Виктор страдал от своего интеллектуального двоемыслия, и после каждой лекции о международном положении ему приходилось восстанавливать свой внутренний баланс, для чего он прикладывался и выражался. Лектор пытался уравниваться также с помощью рукоприкладства, однако с первого же раза немедленно получил от Софы по рогам, а затем и самые рога, что, конечно, тоже было обидно. Обижаясь, лектор всегда лез в бутылку, а однажды в состоянии сильнейшего опьянения умудрился загнать Софу в плетеную бутылку из-под болгарского сухого вина. Так бедная девушка превратилась в джинна с женским обличьем. Возможно, даже остатки паров этого проклятого Каберне причинили ущерб ее психическому здоровью. «Именно тогда я стала открытой для зла, — рассказывала она, — и я поклялась: кто влюбится в меня, будет смотреть на меня снизу вверх».

Эта некорректно сформулированная клятва имела странные последствия, поскольку Николай Николаевич, второй муж моей жены, профессор, специалист по вымершим цивилизациям, принимал все слишком буквально. Чтобы смотреть на Софу снизу вверх, ему приходилось быть в буквальном смысле внизу, что было неудобно, учитывая его строение. Считая свою жену птицей высокого полета, он смотрел на нее именно снизу вверх, и поэтому, не считая себя равней, он все пробавлялся в своем низу какими-то чужими женами. Станным было то, что этими женами профессор любил заниматься где-нибудь в палисаднике с видом на балкон своей квартиры и, наслаждаясь чужой близостью, он был близок также к своей жене, мечтая о ней и вслух называя ее по имени, упоенно взирая на свой шестой этаж. Конечно, «джинна» знала об этом и, видя его глаза, обращенные к ней сквозь колючки

шиповника, тихо скорбела. Его членство в партии должно было удержать его в каких-то рамках приличия, однако не удержало, в результате Николай Николаевич членства лишился. Пришлось Софочке даже колдануть, чтобы партия вернула этому бывшему члену свое широкое лоно.

Сделав доброе дело, Софа закупорилась в свое плетеное узилище и сиганула на дно. «Прошло 1000 лет, и я поклялась: кто влюбится в меня, испытает унижение», — рассказывала Софа. Ее третий муж, Серж, студент юридического факультета, работал дворником, имея в виду через десять лет получить ведомственную квартиру в свое полное распоряжение. И так же, как и я, со дна помойки жизни он выудил чудесный, наполненный Софой, сосуд, казалось бы, улыбнулось счастье, ведь найденная тара превратилась в роскошный терем, замаскированный в виде типовой квартиры под крышей небоскреба в переулке старого города. Однако он не знал о клятве, в соответствии с которой дева сосуда обращалась с ним совершенно по-свински. Чрезвычайно ласковая с ним в присутствии третьих лиц, оставаясь с ним наедине, она превращалась в фурию с феминистским духом, и хотя в интимном плане кое-что позволяла себе (иногда даже все), ему же не позволялось ничего. Вероятно, тактические успехи сильного пола имели место, но слишком серьезный характер мешал правоведам закреплять их в стратегическом плане, и каждый раз победа над феминисткой заканчивалась тем, что Софа говорила: «Этого не было и быть не могло, больше ты ко мне не подойдешь, если дорожишь своей мечтой».

В этих словах заключалась семантическая загадка, так как мечтой жизни Сержа было получение жилья. Правовед переживал, потому что, во-первых, его супружество с женой-колдуньей выглядело сомнительным в глазах закона, тем более что прописки у него не было да и быть не могло: ведь нельзя же прописаться в квартире, которая нигде не числится. С другой стороны, быть квартирантом в доме своей жены тоже было чем-то странным с точки зрения формы. Из всех чудес на свете Серж добивался от Софы только одного: чтобы волшебный восточный дворец, в котором он воцарился, оказался бы на балансе какого-нибудь ЖЭУ и чтобы он мог ходить к управдому с разными жалобами. Этого чуда он пытался добиться любовью, помогаясь в ответ Софиных милостей подлейшим образом, попрошайничая, унижаясь и радуясь своему унижению. Со временем он отказался от языка как средства коммуникации ради общения более полнокровного. Кончилось все курьезно. Однажды Серж предательски залез к Софе под одеяло во время ее сна и уже готов был зареветь от полноты чувств, как вдруг Софа проснулась и сбросила его с себя с презрительным словом «осел», и Серж жалобно заревел-таки, превращаясь в осла.

Разумеется, став четвероногим, он не мог претендовать на роль мужа, и его пришлось с сожалением отпустить. Софа рассказывала мне о своем приключении, как бы заново все переживая. «Мне жаль, что я поступила так с Сержем, — говорила она, — как ты думаешь, любит ли он меня, думает ли обо мне?»

Странно было видеть в этой покорной наложнице, какой она была в постели, несносную придиру Мальвину, воспитывающую повзрослевшего Буратино. За столом она любила говорить: «Ешь аккуратно, не пачкай скатерть», а я, как нарочно, комплексуя из-за своих застольных манер, везде оставлял пятна. Если я бывал особенно неловок, например, разбивал люстру головой, у жены вырывалось: «Я так и знала! Удивительно, какой ты можешь быть грациозный слон!» Боясь повторить судьбу несчастного правоведа, я пропускал «слона» мимо ушей, и тогда она говорила: «Что же ты молчишь? Мне скучно. Скажи, о чем ты думаешь?» Через некоторое время Софа бросалась мне в объятия со словами: «Милый, я схожу с ума по тебе. Если ты не возьмешь меня сей же час, мой воин, между нами будет все кончено». И, конечно же, мой сосуд любви раскрывался мне, и гасло электричество, опускалась

кромешная мгла, и было вдруг рукой подать до звезд. «Я ночь, я нега и нежность, удел твой быть в звездное небо влюбленным», — пела мне моя Сафо. И правда, она страшно любила напускать мрак, будучи частью темных сил. Обыкновенно мы обедали при свечах, и я быстро привык к колдовской игре теней на стенах маленькой кухни, на постоянно опущенных тяжелых шторах, на гранях хрустальных бокалов, которые хозяйка любила покусывать в страсти, на чашах китайского фарфора, в которых всегда что-то булькало, даже когда они громоздились грязной горкой под столом.

Наверное, ожидание, знание чуда превращает его просто в приятную вещь, лишнюю волшебной неожиданности. Я привык с некоторой даже снисходительностью входить в нашу темную квартиру, зная, что Софа ждет меня и прячется где-нибудь в немыслимом месте, например на елке среди игрушек и украшений. Из ручья, где купалась нимфа, я варварски волочил ее к своему шатру, привязав веревкой к луке седла, и лишь там, расстелив ее поудобнее, пировал, чавкая как можно громче, а затем как бы с леню и деланым пресыщением предавался любви. Азиатским обхождением я старался прельщать и все больше привязывать ее к себе. Софа же становилась все веселее и игривее, и игривость Софы доходила до того, что, провожая меня на работу, она махала мне с балкона не рукой, а ногой, обнаженной в любое время года. «Я слишком тебя люблю, мой всадник, — говорила жена, — чтобы остаться с тобой, и, когда кончится лето, я провожу тебя до твоей дороги, пахнущей дождем и полынью, и ты будешь навсегда моим, только когда уйдешь совсем». Я отмалчивался, полагая, что это говорится из высших чувств. Слишком холодно и бездушно мне было без жены, слишком ненужно куда-то уходить.

Впрочем, от судьбы не уйдешь. Странно только одно: чтобы отвратить человека от большой беды, судьба непременно выбирает какую-нибудь мелочь, пустяк, кротовую нору, вырастающую до размеров горы.

Однажды, вернувшись с работы, я не застал Софу дома и, прождав изрядно, решил поужинать один. В духовке я обнаружил трех еще не остывших жареных цыплят. Я съел одного цыпленка и уже обсасывал косточки, как вдруг она вошла с приятным на вид молодым человеком. Вглядевшись, я узнал знакомого мне по фотографиям Сержа. Увидев меня за столом, Софа закричала нечеловеческим голосом, как будто я что-то разбил: «Ты все испортил, а ведь после ужина я собиралась обсудить кое-какие правовые вопросы с Сержем, а тебе бы только дорваться до курицы!» «Я уже сыт, а для вас осталось как раз два цыпленка, — сказал я, — а если вам нужен третий, я его вам найду». И я пошел искать. Конечно, тогда трудно было найти не то что цыпленка, а даже дохлую курицу, и с моей стороны это была опять же игра. Мне было обидно: почему все-таки Серж, разве я не способен дать правовой совет для человека не от мира сего и гожусь только для любви в варварском шатре, и если речь действительно идет о правах, то жареные цыплята здесь ни при чем.

Вернувшись домой, я застал правоведа в своей постели. «Мы долго тебя ждали и, не дождавшись, легли, — сказала жена, встречая меня в пеньюаре. — Сержу трудно ночью добраться домой, ведь он живет далеко, и поэтому он будет спать с нами». Серж приветственно помахал мне рукой, как бы приглашая, но не слишком навязываясь, и тихонько ржал. «Это гадко, это даже невозможно», — пробормотал я и осел на пол. Пока же я собирался с мыслями, Софа ласково шепнула мне в ухо: «Пойми, ведь я его так третировала и даже превратила в осла, когда он был моим мужем, что сейчас мне хочется унизиться перед ним, показать, что я много гаже, подлее, чем это бедное животное, к которому ведь нельзя же серьезно ревновать, правда?» «А как же я?!» — возопил я. «Ты умный, ты сильный, ты поймешь», — от-

ветила она. И я старался это осилить, лежа на бетонном полу балкона, куда через некоторое время просочилась через запертую дверь Софа и легла подле меня. «Я люблю тебя, мой Гайавата, — сказала она, — не слушай меня никогда и не отпускаяй никуда».

Через некоторое время у нас собрались гости, бывшие мужья Софы и ее нынешние почитатели, а также некоторые дамы, приходящие обычно без приглашения. Мужья, которые вначале чинились, после фуршета расслабились и наперебой ухаживали за Софой, милостивой и благосклонной ко всем. Назло ей я ухаживал за своей соседкой справа, и как-то так получилось, ухаживая, я скушал нечаянно ее порцию жареной курицы. Забившись в истерике, соседка закричала, что сожалеет только о том, что курица не досталась более честному человеку, чем я. Я же ничего не понял, кроме того, что совершил какой-то преконфузный промах.

Гости разошлись раньше обычного, и мы молча легли спать. Около полуночи я проснулся от жажды. Софы рядом не было. Что-то неуловимое изменилось, только я не мог сразу понять что. Страшная тяжесть сдавила мне грудь: я вспомнил сон, который видел только что. Я сидел в каком-то тропическом саду, рядом с Софой, которая улыбалась мне и нежно протягивала чашу с фруктами. Я взял яблоко, и вдруг оно превратилось в курицу, которая захлопала крыльями и вспорхнула мне на грудь. «Нет», — сказал я. «Да, — сказала Софа, — я так и знала, что ты выберешь курицу, ведь ты не любишь меня». «Боже мой, Софа, — сказал я, — ты сама отчасти курица, если не понимаешь, что для меня значишь».

С тех пор, как я проснулся, я не видел более моей жены. Я не хожу на работу и только и делаю, что брожу по квартире, из которой вывелся весь волшебный дух. Все изменилось, молчит вентилятор даже в самые ветреные дни, беззвучно работает старик-холодильник, под кухонным столом рассыпались в прах чудесные китайские чаши, засохли цветы, несмотря на все мои старания. Исчезли все звуки, и все же душа моей жены еще здесь: по-прежнему дышат ее любовью записки, которыми исколоты все обои; в зеркале, испачканном помадой, можно еще прочесть по-английски «мой дорогой олень»; и, когда я прохожу мимо него, мне чудится убегающий профиль женщины, и постель еще хранит тепло ее тела, и, просыпаясь в слезах, я знаю: она была здесь и любила меня всю ночь.

Задуй, ветер, закрути вентилятор и верни мне мою звездную ночь.



НА КОНКУРС
«Мир, в котором ты живёшь»

Екатерина Власова, 13 лет

БАБОЧКА

Ей было почти 14... Это странно, что столь юная девочка имеет в голове такие глубокие мысли. А ей нравилось думать так, как не думает никто. Она летала в облаках, сидя у окна своей комнаты.

На улице светило яркое солнце, а синее небо так и манило к себе. Но для прогулки было слишком холодно, а девочке так не хотелось надевать это дурацкое огромное пальто, в котором она походила на медведя. Несмотря на отсутствие возможности насладиться зимней свободой, девочка была счастлива. Нет, у нее не было спутника жизни, у нее не было богатых родителей, у нее было мало истинных друзей, она была просто счастлива. Почему? Да ни почему. Просто была прекрасная, первая за долгое время свободная суббота, и девочка могла позволить себе сидеть у окна своей комнаты и летать в облаках, которых не было.

Вдруг прямо за окном мелькнуло что-то маленькое и желтое. «Лучик», — подумала девочка. Но это не могло быть лучиком, солнце светило с другой стороны и никак не могло попадать в окно. Да и внизу некому стоять с зеркальцем, отражая солнце ей в окно. Она взгляделась повнимательнее и увидела бабочку. Да, на карнизе, прямо на снегу, сидела бабочка.

Девочка не могла поверить своим глазам. Откуда посреди зимы, в Москве, да еще и так высоко, взялась бабочка? Но ярко-желтая бабочка действительно сидела за стеклом перед ней. Девочка не очень уверенной рукой открыла окно, подцепила горстку снега, на котором сидела бабочка, и аккуратно, чтобы не навредить насекомому, положила ее на подоконник. Бабочка по-хозяйски расправила тонкие желтые крылышки и вспорхнула с подоконника. Девочка заворуженно смотрела на это маленькое желтое чудо.

Бабочка летала по комнате, и все, на что она садилась, представлялось девочке в новом свете. Все в комнате приобретало яркие краски и словно начинало излучать свет и тепло. Сделав несколько кругов по комнате, бабочка села на картинку, висящую на противоположной от окна стене. Эта картинка всегда очень нравилась девочке. На ней на переднем плане был изображен зеленый лимоновый лес, а потом открывался очаровательный вид на полянку, которая, казалось, сливалась с прозрачной речушкой, доходившей до самого горизонта.... Девочке всегда так хотелось побывать в таком месте, но где его взять, тем более сейчас?

«Ты хочешь?» — услышала она голос внутри своей головы, но не свой. Голос был приятный, глубокий, звонкий, не высокий и не низкий.

«Да, хочу», — подумала девочка, не раздумывая.

Бабочка вспорхнула с картины и начала летать вокруг нее, оставляя за собой след из золотых искр. Глаза девочки расширились, когда картина начала увеличиваться, растекаться по стенке и приобретать форму арки в человеческий рост. Бабочка совершала все большие и большие круги, пока вход в лес не приобрел окончательные очертания. До девочки донеслись тихий шелест ветра между деревьями, песня птиц, журчание спокойной речки...

Бабочка подлетела к девочке, облетела ее и зависла перед аркой, как бы приглашая войти. Та сделала несколько неуверенных шагов вперед и застыла, закусив губу. Бабочка настойчиво качнулась в сторону арки. Девочка уже более уверенно подошла вплотную и опять застыла, глядя на бабочку и словно спрашивая ее мнение о том, что ждет девочку в ее мечте. Бабочка еще раз качнулась в сторону арки. Девочка улыбнулась, уверенно кивнула и, с озорным огоньком в глазах, шагнула в арку. Бабочка, довольная зашелестев крылышками, уселась на край арки. Провожать девочку было незачем, она найдет дорогу сама.

В лесу было сказочно хорошо. Девочка вдыхала запах спелых, свежих лимонов вместе с легким, чистым воздухом... Она никогда раньше не была в таком замечательном месте и не думала, что когда-нибудь побывает. Лес был светлый и ровный, словно за ним постоянно кто-то ухаживал, хотя не было и следа рук человека. Если дать природе волю и условия, она сделает все безупречно. Тонкие веточки гладили ее лицо, а лимоны так и просили, чтобы она их сорвала. Почему лимоны? Потому что солнце тоже желтое, а желтый — самый радостный и теплый цвет в мире. Это, пожалуй, ее любимый цвет, наравне с зеленым и голубым. А в ее мечте, в этом лесу, и были только эти цвета. Зеленые деревья и трава под ногами, а над головой — чистейшее синее небо... Девочка не могла налюбоваться. Тропинка вела ее в глубь леса, и девочка начала забывать Москву.... Нет, это было неплохо, ведь это не навсегда. На дереве она увидела пару голубеньких птичек, мило щебечущих между собой. На стволе одного из лимонных деревьев показалась игуана, высунула язык, спрятала его обратно и уползла вверх по стволу. Девочку это рассмешило. Какие же эти животные все-таки забавные! Вдруг она услышала мяуканье позади себя. Ну вот кошек в джунглях точно быть не может. Она обернулась и увидела свою кошку. Комочек счастья, наверное, прыгнула в арку за хозяйкой, а те-

перь испугалась изобилия переполняющих лес новых для котенка запахов, но, увидев хозяйку, приободрилась и быстро подбежала к девочке, и прыгнула к ней на руки.

«Что ты тут делаешь?» — да, девочка именно подумала.

«Я за тобой побежала...» — и кошка тоже именно подумала.

Даже не удивившись случившемуся, девочка с кошкой пошли дальше по мягкой зеленой траве, влекомые предвкушением чего-то волшебного, приятного, запоминающегося.

Постепенно лимонные деревья начали редеть и расступаться, а тропинка плавно слилась с полянкой, на которой росло несколько лимонных деревьев, а трава под ногами была мягкая и зеленая, еще зеленее и мягче, чем в лесу. Над головой распростерлось чистейшее голубое небо, а на небе светило самое желтое солнце из всех, что девочке доводилось видеть. Девочка разглядывала место своей мечты, восторженно затаив дыхание. Кошка разделяла ее удовольствие, спрыгнула с рук девочки и побежала по траве. Вдруг девочка рассмеялась и побежала за ней. Обе они бегали по этой мягкой траве вокруг деревьев, а потом повалились на землю. Где-то рядом журчала речка. Кошка встала и прошла несколько метров в сторону, откуда слышалось журчание.

«Посмотри». Девочка перевернулась на живот и подползла на локтях к кошке. Они оказались на берегу маленькой, совсем не глубокой речушки, едва больше ручья. А на противоположном берегу продолжалась полянка с лимонными деревьями. «Пойдем!» — девочка вскочила и спустилась к речушке.

«Я не лезу в воду!»

Девочка подхватила кошку на руки и вприпрыжку побежала через речушку. Дно речки было каменистым, в гладкой гальке. Вода была холодная и свежая, едва доходила девочке до колена. Течение было совсем слабым, и повсюду сновали маленькие золотые и голубые рыбки. Смеясь, девочка вышла на берег, с умиротворенно урчащей у нее на руках кошкой. На этом берегу было еще прекраснее, чем на том. Такой же луг, усеянный лимонными деревьями, но леса не видно. Казалось, что он бесконечен...

Под одним из деревьев девочка увидела человека, который гладил сидящего у него на руках рыжего кота. Девочка переглянулась со своей белой кошкой и двинулась в сторону человека. Подойдя поближе, она поняла, что под деревом сидит мальчик чуть старше ее, и остановилась в нерешительности. Он поднял на нее глаза.

«Что стоишь, подходи, садись». — Так вот чей это был голос!

Девочка села рядом, прислонившись к стволу дерева.

«Что ты здесь делаешь?»

«Гуляю с Джин, ем лимоны, наслаждаюсь природой».

«А как ты попал сюда? Ведь не через арку в моей комнате?»

«Нет. Я здесь и был. Я отсюда», — он указал место, на котором сидел. Девочку это ничуть не удивило.

«Тебе здесь нравится?»

«Еще бы! Я обожаю это место, здесь как в мечте».

«Давай дружить?»

«Давай», — девочка отвлеклась и посмотрела на него. У него были мягкие черты лица, немного смуглая кожа, русые короткие волосы и глубокие зеленые глаза, как у нее. Это странно, но она уже начала доверять ему. Ей даже показалось, что она знает его всю жизнь и что он ее самый лучший друг. Так и было.

Они разговаривали обо всем на свете. Казалось, что она никогда и ни с кем так долго, откровенно и непринужденно не говорила. А ведь она действительно ни с кем так не говорила! Он понимал ее с полуслова, и она его. Они честно говорили все, что думают, их ничего не смущало. Они вместе с кошками бегали по траве между деревьями и плескались в речке, правда, без кошек, как дети. Они не замечали, как летит время. Для всех четверых не было ни времени, ни пространства, ничего, кроме бесконечной радости и счастья. Это было самым настоящим осуществлением мечты. Ничто не могло омрачить этот зеленый луг, это солнце, это небо, эту реку и эти лимонные деревья. Они не заметили, как наступил вечер. Пробежав еще круг по траве, они, радостно смеясь, упали на траву и стали смотреть в вечеряющее небо. Оно стало нежно-фиолетовым, с розовыми и оранжевыми оттенками, а солнце прибрело прощальный, но радостный красноватый цвет. Кое-где засверкали первые звездочки, а у самого горизонта еще была голубая полоска дневной радости. «Я очень люблю закаты, они такие красивые!» — сказала девочка, крепко обняв свою кошку. «Я знаю, я тоже», — сказал он и улыбнулся: «Но тебе пора».

«Да, и правда», — она только сейчас осознала, что весь день, с самого утра, гуляла в этом замечательном месте, ничего не сказав родителям. Они, наверное, волнуются. Но вдруг к ней в голову пришла более пугающая мысль, даже слезы уже хотели навернуться на глаза: «Ой! А я что, больше не смогу сюда попасть? Мы больше никогда не увидимся?»

«Кто сказал, что не сможешь? Конечно сможешь, если очень сильно захочешь. И мы обязательно увидимся», — он успокаивающе положил руку ей на плечо. — «А теперь иди, тебе пора».

«Увидимся», — она встала, взяла кошку на руки и пошла. Перейдя через речку, она остановилась, оглянулась и помахала ему. Он все так же лежал на одном локте, поглаживая Джин по спине, и улыбался. Она тоже улыбнулась и пошла дальше.

Она с чистой душой прошла луг и вошла в лесок. Несмотря на то, что с наступлением вечера в лесочке стало заметно темнее, ей было не страшно. Деревья по-прежнему улыбались ей, и солнце еще светило в спину. Кошка урчала у нее на руках, а девочка уже выходила из арки в свою комнату...

Она внезапно проснулась и не поняла, где она находится. Девочка протерла глаза, потянулась и оглянулась вокруг. Она сидела у окна своей комнаты, а на подоконнике рядом с ней спала ее кошка. За окном была вечерняя Москва. Девочка задремала, сидя у окна своей комнаты, а теперь пыталась вспомнить. Она посмотрела на противоположную от окна стенку и увидела свою любимую картину на прежнем месте. В комнате не было ничего особенного, если не считать странного звука. Девочка обернулась на звук и увидела, что в окно стучится желтая бабочка. Та летала за окном, оставляя за собой след из золотых искр, привлекая вни-

мание девочки. Убедившись, что девочка на нее смотрит, бабочка полетела вниз, призывая девочку следить за ней. Девочка прильнула к окну и изо всех сил старалась не потерять из виду маленькое желтое пятнышко. Но вскоре пятнышко растворилось, что сильно расстроило девочку. Но не могло же все так просто закончиться! Девочка еще раз посмотрела вниз и снова нашла бабочку. Она сидела на плече человека, который держал в руках рыжего кота, улыбался и махал девочке рукой... Она метнулась в коридор, надела большое красное пальто и побежала на улицу, абсолютно не заботясь о том, как она выглядит.



*Радмила Хусниярова
ученица 8 класса гимназии № 84*

САЛАВАТ ЮЛАЕВ

Осень. Середина ноября.
Лёгкий снег кружится над Уфой,
В парке загрузили тополя,
Накрываясь жёлтой листвой.

Город мой из солнца и дождей,
Он могуч, силен и очень рад:
Каждого из множества гостей
Радостно встречает Салават.

Днём он солнце держит на руках,
Ночью звёзды падают в ладонь,
Доблесть, смелость, мужество в глазах,
Рвётся к небесам проворный конь.

Всадник с героической судьбой,
Переживший смерть и блеск побед,
Мирно охраняет наш покой
От напастей, горестей и бед.

*Эвелина Нартдинова
ученица 8 класса гимназии № 84*

МОКРЫЙ ГОРОД

Целый вечер дождик льёт,
Напрягаясь, струны рвёт.
Пламя розовой свечи
Улыбается в ночи.

Мокрый город стал пустым,
Он окутан в серый дым,
Нет тепла и нежных слов.
Город синих-синих снов.

Там, в заоблачной дали,
Звёзды будто корабли.
В луже плещется луна,
Скучно ей, она одна...

Город мой совсем устал.
Вскоре дождик перестал.
Небо жемчугом блестит,
Сонный город сладко спит.

Ольга Кайгородова, 16 лет, школа № 42

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ

Какую задачу ставит наш век? —
«Достоин ли жить на Земле человек?»
Сказать ли природе спасибо ему?
За что убивал он? Чтоб жить самому?
Что натворить люди в силе теперь?
Ведь под угрозой и птица, и зверь!
Сколько же можно жить за счёт них?
За радость, за счастье, за жизни других?
Бомба, ракета, мина, ружьё!
Природа страдает, мир губит её!
Земля плодородна была здесь когда-то...
Нет больше листьев, теперь тут солдаты.
Нет больше птиц и зверей тоже нет.
Кто ответит за это? Кто даст нам ответ?

За что же страдают дети людей?
По этому поводу много идей...
Ах экология, ах это, ах то...
Кто виноват? Скажите же, кто?
Вы виноваты, вы губите нас
Дети страдают только за вас!

Люди! На эти вопросы ответьте.
Что принесли вы этой планете?
Убили животное? Лес подожгли?
А может быть, нефть раздобыть вы смогли?
Иссохли озёра, нет жизни в лесах.
Никто не поёт нам теперь в небесах.
Вы променяли природу на деньги
И потеряли счастье навеки.
К кому обратитесь вы в годы ненастья?
Квартире? Машине? Страшное счастье!
Вы одиноки! Лживы, грубы!
Вы недостойны хорошей судьбы!
Что говорит нам Природа-Царица?
Убийца! Убийца, убийца, убийца...

*Ирина Асадуллина
школа № 155, 6 класс*

ПЕСЕНКА О ВЕРБЛЮДИКЕ

Стоит на дороге верблюдик.
А мимо проходят люди.
Не плюёт на людей верблюдик,
А плюют на верблюдика люди.
А верблюдик стоит и молчит,
Ничего им не говорит.
А верблюдика очень обидно.
А людям это не видно.
Но скоро в обиде верблюдик
Подойдёт к плохим этим людям.
И скажет им наш верблюдик:
«Не стыдно? Вы — умные люди!
При чём тут невинный верблюдик?
Плеваться нельзя умным людям!
А значит, вы — глупые люди!»
Сказал так в обиде верблюдик,
И тогда извинились люди:
«Прости нас, хороший верблюдик!
Мы очень плохие люди!»
Пока плюются люди,
Обижаться будут верблюдики.

*Алёна Кузьменко
школа № 40, 13 лет, 7 класс*

КТО ЖЕ Я?

Сердце разрывается в клочья,
Не могу ни моргать, ни сидеть.
И никто не может помочь,
«Кто же я?» — ответьте вы мне.

Никто, никогда, нигде
Не сможет утешить меня.
Но не надо думать о беде,
Не могу понять, кто же я?

Этот вопрос непонятный
И странный, может быть, даже.

Но ответить на него обязательно надо,
А как же иначе?

Трудно понять саму себя,
Порою даже невозможно.
Но надо запомнить навсегда,
Что уважать других тоже нужно.

Литература. Культура. Имена.

* * *

1 июня 130 лет со дня рождения английского поэта **Джона Мейсфилда** (1878–1967). В 1902 году он выпустил первый сборник стихов «Морские баллады», куда вошло его самое знаменитое стихотворение «Морская лихорадка». Восемь лет Мейсфилд выступал как независимый журналист, романист, драматург, поэт и литературный критик. В 1911 году он создал первую поэму «Вечное милосердие», которая принесла ему широкую известность. Поэму «Лис Ренар» нередко называют его лучшей повестью в стихах. В 1935 году Мейсфилда наградили орденом «За заслуги». Перу Мейсфилда принадлежат несколько романов, в т.ч. «Капитан Маргарет» (1908), «Сардинец Харкер» (1924), пресы в стихах, очерки, жизнеописания, критическая и автобиографическая проза.

* * *

2 июня 85 лет со дня рождения поэтессы, лауреата Нобелевской премии **Виславы Шимборски**. Первые ее стихи публиковались в краковских газетах в 1945 году, а первые два сборника стихов появились в 1952 и 1954 годах. Ее стихи публиковались в «Иностранной литературе», «Новом мире», в антологии «Польские поэты» (1978 г). Большинство стихотворений поэтессы — короткие философские трактаты и эмоционально окрашенные размышления. Это глубоко драматическая лирика, преисполненная иронии и гротеска. Произведения В. Шимборски переведены на 36 языков, ее книги вышли в 18 странах мира. Поэтесса удостоена премий Гете (1991), имени Гердера (1995) и польского ПЕН-клу-

ба (1996). Шимборска — почетный доктор университета Познани.

* * *



5 июня 110 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга **Федерико Гарсиа Лорки** (1898–1936). В 1917 году — выходит первая публикация (эссе к столетию Соррилли), а в 1918 — первая книга, в 1921 — первый сборник стихов. В 1931–1933 годах — возглавил передвижной студенческий театр «Ла Баррака», ставивший пьесы испанских классиков. Лорка обогатил традиционные формы достижениями современной поэзии. Среди произведений Федерико Гарсиа Лорки — стихи, поэмы, драмы, пьесы для кукольного театра: «Злые чары бабочки», «Чудесная башмачница», «Дом Бернарды Альбы». В 1936 году был расстрелян фашистами.

* * *



6 июня 105 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР **Арама Хачатуряна** (1903–1978). Визитная карточка Арама Хачатуряна — знаменитый «Танец с саблями», благодаря которому во многих странах мира за композитором утвердилось прозвище «мистер Танец с саблями». Мировую известность получили концерты Хачатуряна для фортепьяно, скрипки и виолончели с оркестром, балет «Гаянэ» и «Спартак». Он автор трех симфоний, музыки к драме «Маскарад» М. Ю. Лермон-

наши друзья

това. Долгое время был профессором Московской консерватории.

* * *

7 июня 160 лет со дня рождения французского живописца **Поля Гогена** (1848–1903). Гоген — один из главных представителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю «модерн», использовал синтетические обобщения и упрощения цвета и линий. В декоративных, эмоционально насыщенных по цвету, статичных по композиции плоскостных полотнах, главным образом на темы быта и легенд народов Океании, создал поэтический мир гармонии человека и природы («Брод», «А, ты ревнуешь?»). Гоген оставил литературное наследие, которое, помимо писем и дневников, включает «Ноа Ноа» (Благоухание) (исследование таитянской культуры и мифов) и мемуары «До и После». Гоген писал также критические статьи в периодические издания и основал на Таити сатирический журнал.

* * *



9 июня 165 лет со дня рождения австрийской писательницы, участницы пацифистского движения **Берты фон Зутнер** (1843–1914). В 1876 году Берта переезжает в Париж и становится экономкой и личным секретарем у Альфреда Нобеля. Следующие девять лет Зутнер провела в России, на Кавказе, где давала частные уроки языка и музыки. Автор романов «Плохой человек», «Светская жизнь», «Долой оружие!». В 1905 году получила Нобелевскую премию мира.

* * *



10 июня 95 лет со дня рождения композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР **Тихона Хренникова**

(1913–2007). Тихон Николаевич — лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Внес значительный вклад в развитие современной музыки. Автор опер: «В бурю», «Мать», «Доротея», «Золотой теленок», «Голый король», оперетты «Сто чертей и одна девушка», концертов для скрипки, фортепиано с оркестром. Он был первым секретарем Союза композиторов СССР, членом Комитета вначале по Сталинским, потом — по Государственным премиям. В последние годы он возглавлял оргкомитет Международного конкурса имени П.И. Чайковского, был председателем Конкурса молодых композиторов России.

* * *



12 июня 100 лет со дня рождения артистки балета, народной артистки СССР **Марины Семеновы**. Первые уроки танцев юная Марина Семенова получила в танцевальном кружке, а в десятилетнем возрасте поступила в хореографическое училище, став ученицей М. Ф. Романовой — матери легендарной Улановой. В 1925–1930 годах танцевала в Ленинградском театре оперы и балета, с 1930 года — в Большом театре. С 1960 года — педагог ГИТИСа.

* * *



14 июня 110 лет со дня рождения певца, неподражаемого исполнителя русских и цыганских песен **Петра Лещенко**. С самого раннего детства у Петра обнаружилось незаурядные музыкальные способности. Начиная карьеру с танцев, затем в 1930 году начал сольную карьеру. Исполнял знаменитые песни: «От Бессарабии до Риги», «Веселись, душа», «Мальчишка», «Татьяна», «Марфуша», «Кавказ», «Блины», «Моя Марусечка», «Две гитары»,



«Татьяна», «Чубчик». Много гастролировал по миру. Был арестован и умер в тюрьме.

* * *



15 июня 165 лет со дня рождения норвежского композитора, пианиста, дирижера **Эдварда Грига** (1843—1907). Григ — крупнейший представитель национальной композиторской школы, ярко претворивший в своих сочинениях норвежский музыкальный фольклор. Автор двух сюит из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», сонат для скрипки с фортепьяно и виолончели с фортепьяно, концертов для фортепьяно с оркестром, сонаты и «Лирических песен» для фортепьяно, вокальных сочинений (около 150 романсов и песен). В произведениях Грига воплощены образы северной природы, картины народной жизни.

* * *



16 июня 80 лет со дня рождения американского писателя **Роберта Шекли** (1928—2005). Роберт Шекли — общепризнанный мастер юмористических и сатирических фантастических произведений: повестей «Обмен Разумов», «Билет на планету Транай», рассказов «Страна-птица», «Призрак V», романа «Абсолютное оружие». Всего Шекли опубликовал около 20 романов и столько же сборников рассказов.

* * *



22 июня 110 лет со дня рождения немецкого писателя **Эриха Марии Ремарка** (1898—1970). Антифашизм и пацифизм, социальная критика с абстрактно-гуманистической позиции и стремление «потерянного поколения», разочаровавшегося в буржуазных ценностях, найти опору в дружбе, фронтовом товариществе или любви запечатлены в романах «Три товарища», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать». Роман «На Западном фронте без перемен» с 1929 года во всем мире выдержал 43 издания, был переведен на 36 языков. В 1930 году в Голливуде сняли по нему фильм, получивший премию «Оскар».

* * *

25 июня 105 лет со дня рождения английского писателя и публициста **Джорджа Оруэлла** (настоящее имя Эрик Блэр) (1903—1950). В 1936 г. Оруэлл уехал в Испанию, где, будучи военным корреспондентом ВВС, вступил в революционную борьбу против фашистов, получил серьезное ранение в горло и вернулся в Англию. Там и начинают появляться его лучшие книги, среди которых роман «1984». Помимо него писатель публикует романы, статьи, газетные заметки, рецензии (и до сих пор Джордж Оруэлл считается одним из лучших публицистов и рецензентов XX века). Его собрание сочинений состоит из 20 томов, в Великобритании он включен в школьную программу.

Подготовила Анна Ливич

Календарь*

*Праздничные и памятные даты Республики Башкортостан
на 2008 год*

ИЮНЬ

1 июня Международный день защиты детей

День открытия 1-го Всемирного Културлая башкир (1995)

90 лет со дня подписания Декрета СНК России о создании централизованной архивной службы России (1918)

85 лет со дня рождения Аверьянова Ивана Андреевича, инженера, генерал-полковника, участника Великой Отечественной войны (1923–2000)

10 лет со дня утверждения орденов «За заслуги перед Республикой Башкортостан», «Салавата Юлаева», «Дружбы народов» (1998)

2 июня 135 лет со дня рождения Елгаштиной Марии Николаевны, живописца, графика, художника театра, основателя и главного художественного руководителя Башкирского республиканского театра кукол в 1932–1955 гг., народного художника БАСССР, члена Союза художников СССР; заслуженного деятеля искусств БАСССР (1873–1966)

3 июня 100 лет со дня рождения Парамонова Константина Ефимовича, Героя Советского Союза (1908–1943)

75 лет со дня создания терминологической комиссии по башкирскому языку (1933)

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды

40 лет со дня открытия Уфимского государственного института искусств на базе организованного в 1961 г. Уфимского филиала Московского государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, ныне — ФГО ВПО «Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова» (1968)

6 июня Пушкинский день России

7 июня 25 лет со дня создания Башкирского научно-исследовательского и проектно-технологического Института

животноводства и кормопроизводства (1983)

8 июня День социального работника
День работников текстильной и легкой промышленности

85 лет Тухватуллину Якубу Зайнуллиовичу, Герою Социалистического Труда (1923)

9 июня 85 лет Яхину Файзылгайну Фаткулбаяновичу, Герою Социалистического Труда (1923)

50 лет со дня ввода в строй маслосыркомбината в г. Белорецке (1958)

10 июня 120 лет со дня рождения Туйкина Фазыла Каримовича, поэта, драматурга, сотрудника редакций газет «Фекер» («Мысль»), журналов «Шура» («Совет») и «Магариф» («Просвещение») (1888–1938)

70 лет со дня ввода в эксплуатацию Уфимской ТЭЦ-1 (1938)

60 лет Шариповой Зайтуне Яхиевне, писательнице, литературоведу, доктору филологических наук, заслуженному работнику науки РБ (1948)

11 июня 50 лет со дня организации Горпищекомбината, ныне — ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» (1958)

12 июня День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации

День г. Уфы — столицы Республики Башкортостан

День подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Курской областью (1998)

100 лет со дня рождения Галимова Валиахмета Гирфанутдиновича, актера, режиссера, драматурга, художественного руководителя и главного режиссера Башкирского академического театра драмы в 1942–1948, 1956–1971 гг., народного артиста БАСССР, заслуженного артиста РСФСР, БАСССР (1908–1994)

14 июня День работника миграционной службы

День работников печати и информации Республики Башкортостан

14–15 июня День открытия II Всемирного Курултая башкир (2002)

15 июня День медицинского работника

85 лет со дня рождения Ахметгалина Хакимьяна Рахимовича, Героя Советского Союза (1923–1944)

75 лет Аюповой Зиларе Гайсиновне, танцовщице, солистке Башкирского государственного ансамбля народного танца в 1955–1975 гг., заслуженной артистке БАСССР (1933)

16 июня 85 лет со дня рождения Рамазанова Гилемдара Зигандаровича, поэта, литературоведа, научного сотрудника ИИЯЛ БФ АН СССР в 1958–1989 гг., доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки БАСССР, лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (1923–1993)

17 июня 90 лет со дня рождения Огарина Ивана Степановича, геофизика, тектониста, заведующего лабораторией геофизики Института геологии УНЦ РАН в 1957–1984 гг., доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАСССР (1918–1988)

18 июня 70 лет Зайнетдинову Рашиту Сайфутдиновичу, художнику, лауреату Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (1938)

21 июня День работников культуры Республики Башкортостан

95 лет со дня рождения Шайхутдинова Гимая Фасхутдиновича, Героя Советского Союза (1913–1952)

22 июня День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941)

60 лет со дня создания треста «Башкируголь», ныне – ОАО «Угольная компания «Башкируголь» (1948)

23 июня 90 лет со дня рождения Черкасова Владимира Ивановича, Героя Советского Союза (1918–1943)

25 июня 115 лет со дня рождения Рясненна Арво Мартти Октавиануса, финского лингвиста-тюрколога, почетного председателя Постоянной международной алтаистической конференции, члена Урало-Алтайского общества, участ-

ника научных экспедиций по изучению тюркских языков народов Поволжья в 1915–1917 гг. (1893–1976)

100 лет со дня рождения Рязанова Мухамета Султановича, инженера-электрика, управляющего «Башкирэнерго» в 1957–1960, 1963–1971 гг., заслуженного деятеля науки и техники БАСССР (1908–1971)

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

70 лет со дня первого избрания Верховного Совета БАСССР, с 1990 г. – Верховный Совет БССР, с 1992 г. – Верховный Совет РБ, с 1995 г. – Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан (1938)

27 июня День молодежи

28 июня День изобретателя и рационализатора

29 июня 105 лет со дня рождения Бадера Отто Николаевича, археолога, доктора исторических наук, профессора, руководителя Южно-Уральской и Нижне-Камской археологических экспедиций, исследовавшего на территории Башкортостана памятники палеолита – раннего железного века в 1960–1970-е гг., исследователя пещеры Шульган-Таш (Каповая) (1903–1979)

30 июня 140 лет со дня рождения Мефодия (Красноперов Михаил Платонович), религиозного и общественного деятеля, архимандрита (1868–1921)

* * *

В июне исполняется:

345 лет со времени первого упоминания о городе Бирске (1663)

120 лет рабочему поселку Тукан Белорецкого района (1888)

60 лет с начала строительства комбината № 18 Главного управления искусственного жидкого топлива, ныне – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (1948).

* Календарь любезно предоставлен редакции журнала «Бельские просторы» Управлением по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан.